ЕФИМ ПЕРМИТИН

ЕФИМ ПЕРМИТИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

МОСКВА „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА" 1980

ЕФИМ ПЕРМИТИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ ТРЕТИЙ

ЖИЗНЬ АЛЕКСЕЯ РОКОТОВА
трилогия

Книга третья

«ПОЭМА О ЛЕСАХ»

МОСКВА „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА" 1980

Оформлеиие художника
Е. ГОЛЬДИНА

$П\frac{70302\text{-}145}{028(01)\text{-}80}$ подписное

КНИГА ТРЕТЬЯ

ПОЭМА О ЛЕСАХ

Часть первая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Счастье — это ожидаиие счастья» — слова Аниочки, сказанные ею в свадебиую иочь, неотступно преследовали Алексея Рокотова.

Освещеииые луиой, загадочио мерцающие ее глаза, ее полураскрытые губы, шепчущие слова любви, вставали перед ним.

И, как всегда в такнх случаях, обжнгало запоздалое сожаление, что не сделал для иее чего-то иеобычно-радостного, ие сказал каких-то теплых, проникновениых слов, которые скрасилн бы ее короткую, полную жертвенной любви жнзиь.

Мысль, что он уже инкогда не увидит ее, была противоестествениа. Алексею казалось порою, что Анночка и не умерла совсем, а лишь куда-то уехала и что достаточно ему написать ей взволиоваииое письмо, она верится к нему, и ои скажет ей все ие высказаииое раиьше. Убедит, докажет, что иет и ие может быть другой жеищины, которую он полюбнл бы, как ее.

Легко воспламеияющееся его воображение украшало, преувелнчнвало то, что было потеряио навеки.

Не раз Алексей ловил себя на желаини иажать гашетку прнставленного к грудн ружья.

Застрелившнеся в Барнауле прапорщнк Короткевич и Шурочка Озогнна казалнсь ему мудрецамн: «Все преходяще, все зыбко в этом мире — стоит ли жить?»

Ои ие зиал еще тогда, что в его годы и счастье и горе воспрнимаются с особенной глубииой н силой. Что человека иаряду с мечтой о иеобыкновеииой любвн, о героическнх подвнгах нередко по пятам преследует прнзрак смерти.

Отец не разрешал матерн «лезть в душу» сыиа:

— Дай срок самому переболеть: жнзиь-то, оиа и шире и больше. Сейчас у иего иа сердце сплошиой мрак, а раз так, то н в вёдро — дождь. И иикакимн советами тут не поможешь...

Так думал простодушный столяр.

Но мать думала иначе:

— Боюсь я, как бы нам с тобой локтей кусать не пришлось — учитель его Пал Петрович и сам уехал, и Карунного к себе перетянул: Алексей остался один как перст. Его даже ни охота, ни рыбалка не завлекают. Одно теперь лекарство — женщина, новая семья. Мужчина без жены, что гусь без воды. Верочку бы...— затаенно вымолвила она и, подумав, с горечью добавила: — Горда! Ее и связанной сейчас к нему не подтащишь...

По тому, как она смотрела на мужа и тяжело вздыхала, столяр понял, что жена недоговорила всех своих опасений.

— Ну что ты молчишь, как пень бесчувственный? — вдруг накинулась она на мужа, чего никогда до этого не позволяла себе.

— А что я тебе скажу? Что? — столяр по самый обух вогнал лезвие топора в чурбак и, гневно сверкнув глазами, вышагнул из-под навеса к жене.

Но и гнев мужа не остановил ее.

— А если от одиночного сокрушенья он в пьянство, в распутство ударится, тогда Верочка совсем... А уж куда бы лучше сноха.

— В пьянство, в распутство! Ну, это ты, Ариша, уже через край хватила.

— И вовсе не через край. Парень видный, с положением, и вдруг — вдовец! Совсем ты, как погляжу я на тебя, большой ребенок. Не знаешь ты баб — волчиц голодных, ненасытных... Тут такие утешительницы найдутся, так затянут в грязное свое болото, что и в рукавицах его оттуда не вытянешь... Да знаешь ли ты, что нашу сестру хлебом не корми, а утешить молодого человека в горенесчастье за святое дело почитается... Слыхала я от Фешатки, кто на него зарится... Боюсь, не закогтила бы его преподобная Тиночка Шибельская, опять она из Семипалатного к отцу приехала. Красива, сатаница, до умопомрачительности. И что самое страшное — кровя у ней горячие, от матери-француженки. Нюра у ее родителей в горничных два года жила и насмотрелась, как она еще пятнадцатилетней девчонкой самовиднейших офицеров, чиновников перебирала. А сколько из-за ее перестрелялись, поотравились? За малый срок — трижды замуж выходила и трижды развелась. Отбою у ней от мущин нет.

И, сказывают, каждого из них она на зуб попробует и отшвырнет. Такая, упаси бог, оседлает — не скоро вывернется. А ты «дай срок, не вмешивайся»!

— Ну, нашего Алексея не враз оседлаешь — сбросит. А потом и так рассудить: дело его молодое, а в молодости кто из нас только и делал, что богу молился? Да и коли млад человек недобесится — на старости с ума сойдет. Не люблю я прежде смерти в могилу лезть. Все мы горазды советы давать. Хватит! — уже раздраженно закончил спор столяр.

С отъездом из Усть-Утесовска Павла Петровича Бахеева-Бажова и Каруниного Алексей и вправду остался один на один со своей тоской.

Верно и то, что сестренка его Фешенька случайно подслушала разговор известной не только в Усть-Утесовске, но и в Семипалатинске красавицы Тины Шибельской с сумасбродной молодой вдовой — дочерью горного инженера.

В перерыве между действиями Фешенька сидела в фойе театра и с жадным любопытством рассматривала богатые по тем временам туалеты двух подруг, о чем-то оживленно разговаривающих рядом с нею. Неожиданно она услышала имя своего брата и насторожилась.

— Он меня точно гранатой взорвал...

— Ну, Тинка, уж тут-то у тебя ровнешенько ничего не выйдет! Во-первых, Алексей Рокотов из непроходимо-старомодных однолюбов...

— Знаем мы этих однолюбов! Держу пари на дюжину плиток шоколада, что через неделю он будет мой! — тряхнув головой, отвечала Шибельская.— Верь моей интуиции. Это же кентавр! Такого каждая из нас ищет всю жизнь. Я сама возьму его! Почему не мы берем мужчин, а только они нас?

— Да тише! Тише, Тиночка! — просила жадно слушавшая и сама явно возбужденная от этого разговора молодая вдова.

Но остановить Шибельскую было невозможно: каждое ее увлечение всегда было внезапным и потрясало ее действительно, как взрыв.

— Испытал ли он настоящую страсть с глупыми клушками, да еще в законном бра-а-аке? — презрительно протянула она.

Разгоревшееся лнцо ее с огромными темио-карими глазами было прекрасио. Высокая, в узком черном шелковом платье, подчеркивающем каждый изгиб ее фигуры, с гордо посажеиной головой иа породнстой нежной шее, с вьющимися, тщательно причесаиными искристыми чериыми волосами, оиа казалась Фешеиьке воплощением пьяиящей, греховной красоты. Недаром местные «ннтеллектуалы» сравиивали ее с тогдашией королевой экрана — Верой Холодной.

С нх легкой руки в Усть-Утесовске были не только своя Вера Холодная, ио и свой Шаляпни — собориый певчий Сеиечка Сук и даже свой Пагаиини — фельдшер Петр Молодцов, лнхо нгравший на скрипке.

Усть-утесовскне «интеллектуалы»!..

Эту замкнутую, малочислениую касту когда-то очеиь обеспечениых людей Алексей зиал лишь поиаслышке.

Слетевшиеся из разных коицов Росснн и Сибири в глухую, далекую провннцню еще задолго до революцни, онн были совершенио недоступны ему.

Большую часть их привлеклн сюда «фартовые» золотые прниски. Тут были и прочно осевшие в привольном, жнвописном краю, давно отбывшие ссылку и разбогатевшие, растерявшне прежние идеалы бывшие народники, чниовиая верхушка, адвокаты, гориые нижеиеры и предпрнимчивые прожектеры, кормившнеся от щедрот торгового люда, извлекавшие деиьги, казалось, из самого благословеииого алтайского воздуха.

Объедияяли нх сословные и духовиые интересы. Местом почти ежедиевиых, особеино знмою, сборищ было Дворяиское собраиие с дорогим рестораном.

Тои в кругу «интеллектуалов» задавали жеиы золотопромышлеииков и горных нижеиеров, как иа подбор — красавнцы. Нигде Алексею ни до, ии после ие приходнлось встречать таких краснвых женщни, как в родном Усть-Утесовске, и нмеино в узком этом кругу: золото, как магиит, притягнвало и красавиц в такую глушь.

Жили «интеллектуалы» весело, легко. Правда, как и во всяких других слоях тогдашиего общества, среди них нзредка встречалнсь довольио самобытные натуры — просветители, увлекавшнеся культурным садоводством и пчеловодством, образцовым сельским хозяйством (конечно, при иаемиой рабочей силе), ио эти были исключением,

а правилом — люди «высокого интеллекта», денно и нощно заботившиеся об услаждении души и особенно тела.

Породистые английские лошади, породистые красивые женщины, зеленые карточные столы, знобящий шорох передвигаемого золота, шумные ужины, флирт...

Но все это, казалось бы, прочно устоявшееся благоденствие смел докатившийся и сюда Октябрь.

Увял букет усть-утесовских «интеллектуалов». Притихли предприимчивые дельцы: «Какое может быть «дело», когда деньги на мильены, а то и на вес — мешками — считаются. Мильен — дело хитрое: сегодня он рубль, завтра — копейка».

Пообносились, потускнели красавицы. Лишились богато обставленного, уютного Дворянского собрания с заезжими концертантами — пришлось довольствоваться любительскими постановками в обшарпанном Народном доме. Но и там первое время держались они особняком.

— Чумные, черные годы, кто их переживет — может, и поживет еще. Конечно, не прытко, не так, как раньше, а наподобие рыбы, вынутой из воды и водворенной в садок: дохнуть не дохнет и жить не живет,— изощрялся доморощенный острослов, заядлый книгочей, пимокат Паисий Фруним.

— Вот вы, Николай Николаевич,— говаривал он отцу Алексея,— от этих хамлов — извиняюсь покорно, ведь и ваш сынок тоже комиссарит,— чуть ли не святого подвижничества ожидаете. Народишку они золотые горы сулят. Но ведь известно: сулить легче, чем дать. Только, поверьте мне, на даровых легких харчах они сначала оклемаются, а потом, как только раздобреют, вся ихняя скорбь об народе, вся жаль зарастет кабаньим калганным салом, которое даже не всякая пуля пробивает. Ведь природность же это: раз до вольного дорвался — жри до отвала!

— Поживем — увидим, Паисий Паисьевич. Только я думаю, что не все они — кабаны и не о себе только у них забота. Среди них умных и честных голов немало,— уклончиво отвечал столяр, не любивший краснобая Фрунина.— И не по одному своему сыну, а и по товарищам его сужу, что несешь ты на них, Паисий Паисьевич, за то, что они артель организовали и через то подрезали крылья пимокатням твоим.

— А вот и нет, Николай Николаич! — яростно вскидывался Фрунин.— Не горюю, а радуюсь я: если они еще так со своей продразверсткой да с контрибуциями годочек-другой похозяинуют, помяни мое слово — зашатаются стены Кремля.

Паисий Фрунин говорил то же самое, о чем кричали заграничные меньшевики.

Положение у Советской власти и впрямь было трагическим.

«...Жертвы, которые вынесли за это время рабочий класс и крестьянство, были, можно сказать, сверхъестественными»,— со свойственной ему прямотой отметил Ленин [1].

И вдруг нэп!

— Николаич! Нико-о-о-лаич! — ликовал Фрунин.— А ведь правы-то вы, а не я. У Ленина-то голова оказалась государственного мачтаба. Главное, главное, Николаич,— червонец! Это же совсем другое дело! Деньги — крылья, лети с ними куда хочешь!.. Уж теперь-то крестьянин развернется ай да ну!..

Быстро освоившееся с продналогом зажиточное алтайское крестьянство вновь наполнило дворы скотом, амбары и погреба — хлебом, медом, маслом.

Еще глухая ночь и далеко до первых признаков зари, а по улицам спящего городка уже скрипели тяжело нагруженные всякой снедью возы, спешащие из пригородных деревень на базар.

Дуга к дуге занимали хлебные, мясные, овощные ряды: «Матушкой-стариной запахло — выбирай кому что надо!»

Каждую пятницу и субботу — торжище, что твоя ярмарка! И кого только нет тут, и чем только не торгуют!

Казалось, из всех щелей и нор ушедшего мира выползли непонятно как уцелевшие двуногие чудовища. Смрадный, липкий воздух, как болотный туман, навис над этим кипящим, галдящим многолюдством. Звонкие удары ладони о ладонь цыган, крики избиваемого воришки, пьяный ор...

Какие-то неизвестные дотоле, подвижные, как ртуть,

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 43, с. 150.

люди с бойкимн, бегающими глазами из-под полы предлагалн заграничные прннадлежностн дамского туалета.

— Мадам, обратнте вннманне на вензель — из царицыного гардероба! И аккурат — на вашу фнгуру!

— Ой лн?!

— Умереть, не сходя с места!

— И умрешь, но хвостом внльнешь. Не слушайте его, дамочка. А вот у меня туфельки действнтельно для прынцессиных ножек... ненадеваны!

И как же воспрянулн усть-утесовскне «нителлектуалы»! Как преобразнлнсь, особенно молодые женщнны, нстосковавшиеся по нарядам, по праздной, беспечной жнзнн!

Снова первые места кресел в театре занималнсь «интеллектуаламн», но теперь онн уже не сторонннлнсь ни подозрнтельно юркнх мужчнн в дорогнх, но дурно сшитых костюмах, нн крнклнвых, безвкусно вырядившнхся нх жен; менялись времена — менялнсь нравы. И снова первой средн первых была Валентнна, илн, как ее звали в Усть-Утесовске, Тнна Шнбельская,— едннственная дочь бывшего прнсяжного поверенного — высокого, прямого старнка — н веселой южанкн, но не «француженкн», а нтальянкн, воспнтывавшейся н долгое время жившей в Парнже.

До последннх своих дней старуха Шнбельская сохраннла следы былой красоты. Старея, она мучнтельно пережнвала трагедню неуклонного увядання н страха перед надвнгающейся смертью.

— Для женщнн старость страшней тюрьмы,— скорбно острила она.

Племяннница матерн Алексея — Нюра, служившая в горннчных у Шибельскнх, рассказывала, что последнюю неделю старуха даже боялась спать в кроватн, а полулежала в гостнной, в большом кресле.

— Пытаюсь отсндеться,— шутнла она.

Несмотря на невыносимые страдання, прощаясь с дочерью — гнмназнсткой семипалатннской гнмназнн, она, превозмогая боль, сказала ей последнее напутствне:

— Радостная пора красивой женщнны коротка. Им льстят в семнадцать, а покидают их в трндцать — трндцать пять лет. Сумей прожить каждый час этой короткой жнзнн, Тиночка, счастлнво, весело, как умелн это делать я и твоя бабка, иначе потом горько жалеть будешь... Жи-

вн сердцем. Часто любовь для женщииы — мука н страдание, но она же и самое сладостное нз всех наслаждений жизни...

Уставшая старуха надолго замолчала.

— Будь верна только любвн, А если ее нет — верность жеищииы в браке противоестественна. И я и твоя бабка взяли полиою мерой, что нам положено. А теперь поцелуй меия и позови отца н Нюру.

Шибельский и горичная обрядили старуху н перенесли иа постель. Потом помоглн ей навести последний грнм.

— Смерть столь иеопрятна, а мертвых так отвратительио гримируют, что уж лучше я сама понаблюдаю, какой я предстаиу перед «высшим светом»,— не уннмалась старуха.— От смертн, как от рекрутчнны, не отбояришься, ио все же попробую дезертнровать.— И подобне улыбки промелькиуло по нзможденному, нарумяненному ее лицу.— Прощайте, Нюра. И уходите, уходите же! — властно, как всегда, приказала Шибельская.

Прнняв уснленную дозу морфня, она «дезертировала» в ту же иочь.

Опасеиия матерн Алексея былн не напрасны — он «увяз в Тиие».

И произошло это много быстрее недельного срока, установленного самой Шибельской. Она была права, когда говорнла, что Алексея грызет тоска по любимой женщиие, что сейчас он ие иаходит себе покоя н готов на все, чтоб избавиться от мук.

В особняк Шибельскнх, стоящий на одной из главных улиц Усть-Утесовска, привез Алексея послушный капризам Тииы увоеирук Стрембицкий.

— Сгнгизмуид Сигизмундович — образоваииейший и снмпатнчиейший человек,— сказал он Алексею.— О дочери иичего не скажу — сам увидишь. Не умолчу лишь, что бескорыстна, умиа, талаитлнвая музыкаитша, а поет, как Варя Паниииа. Нельзя же, братец ты мой, нзводиться, как изводишься ты!

Алексей сдался.

Был один из тех благодатных, тнхнх, теплых для Южиого Алтая вечеров, когда от цветущей черемухн, исходящей одуряюще терпким ароматом, кружится голова, когда немолчный переплеск волн порожистой горной Ульбы

и басовито ревущего на ближних перекатах Иртыша напоминает органную музыку Баха.

В доме Шибельских гостей встретили высокий, барски выхоленный старик в летней чесучовой паре и молодая тоненькая женщина в черном шелковом платье. Она стояла с опущенными глазами, прижавшись к отцу, и показалась Алексею хрупкой застенчивой девушкой. Хозяин что-то говорил, чему-то улыбался. Ему что-то отвечал и чему-то тоже улыбался Стрембицкий. Алексей решительно ничего не слышал, он смотрел на красивую молодую женщину, о которой ходило столько скандальных легенд. И молчал...

Он знал за собою слабость — неумение непринужденно войти в незнакомый дом даже при обычной обстановке. А тут и этот старик, и женщина, которую ему не приходилось еще встречать (в Усть-Утесовск она приехала из Семипалатинска месяц назад).

Молчала и Тина. Потом она чуть приподняла голову и медленно, точно просыпающийся с ясной улыбкой ребенок, приоткрыла глаза. Алексей взглянул в их глубину и... Позже, вспоминая случившееся с ним в этот вечер, он или действительно припомнил, или же придумал потом, что будто бы в тот же миг мысленно произнес фразу Гоголя из сцены встречи Андрия с панночкой: «И погиб казак!»

Они прошли в гостиную, где у рояля стояла толстая, румяная, рыжеволосая подруга Тины. Старик Шибельский ушел к себе.

— Садитесь сюда, Алексей Николаевич,— указав на кресло, сказала Тина и, неуловимо-быстрым движением подобрав платье, опустилась на вертящийся табурет у рояля.

— Вы любите музыку?

— Смотря по тому, какую,— ответил Алексей.

— Глинку, например?

— О, конечно!..

Она сыграла несколько пьес, из которых Алексей узнал только прелюдию к «Жизни за царя».

Потом вполголоса спела знакомый ему романс. Голос у нее действительно был похож на голос известной в те времена цыганской певицы: низкий, волнующий.

Больше всего поразило Алексея, что, вопреки скандальным рассказам о ней, Тина держалась очень просто и скромно. Без всякого жеманства, с неподдельным чув-

ством, она вся погрузилась в музыку. И только прекрасное, тонкое ее лицо порою вдруг мертвенно бледнело и потом снова медленно наливалось горячей кровью.

Около полуночи рыжеволосая подруга Тины и Стрембицкий незаметно ушли, и они остались вдвоем.

Алексей любил красивых женщин, но и боялся их. Он был из тех мужчин, которые не умеют первыми подойти к женщине. Наверное, он так бы и просидел всю ночь в своем кресле, покуда она не выпроводила бы его. Но тут произошло такое, о чем Алексей вспоминал впоследствии с каким-то темным ужасом и жарким, сладостным восторгом. Он никогда не предполагал такой обнаженной чувственности в женщине. И как это ни странно, чувственность Тины не только не отвращала его, простого, целомудренного человека, давно составившего себе твердые нравственные представления об отношениях мужчины и женщины, но влекла к ней и опьяняла.

Алексей, оказывается, еще совсем не знал ни женщин, ни самого себя. Так думал он, вслушиваясь в какие-то безумные, пронзавшие его насквозь слова, которые она шептала ему и каких он никогда не слыхал от женщины. У нее был свой кодекс любви, продиктованный южной кровью, в котором чувственность не только не считалась стыдной, но возводилась в добродетель.

Должно быть, давно уже наступило утро, от глухих штор в спальне было полутемно. В дверь тихонько постучали, но Тина только крепче прижалась к Алексею.

— Лежи, это отец,— шепнула она.— Он скоро уйдет... Я не отпущу тебя!

— Тинуся, горячий кофе ждет! — голосом, в котором звучало обожание, сообщил старик.

Этим горячим кофе Шибельский точно плеснул Алексею в лицо. «Он знает, что я здесь,— моя фуражка в передней...»

Но и шевельнувшееся чувство стыда, и мысли о работе в увоенкомате и о родителях бесследно пропали, лишь только старик отошел от двери и они вновь остались вдвоем.

Тина Шибельская никогда ни от кого не таила своих увлечений.

И порою Алексею казалось, что он на виду всего городка играет главную роль в постыдной пьесе. Его все ви-

дят, решительно все понимают и осуждают, а он не только бессилеи сам опустить заиавес, ио и не желает, чтобы это сделал за иего кто-то другой.

Днем Алексея отвлекала работа в увоенкомате и различные поручеиия родителей, пытавшихся всеми средствами оторвать сыиа от приворожившей его «бесстыжей ведьмы». Но иаступал вечер — ои или пропадал на всю ночь у Шибельских, или же запрягал Костю и, выполняя каприз Тииы, катал ее по улицам города.

Вся сияющая, как бы озареиная торжеством любви, Тина тщательио одевалась для прогулки с ним. Примеривала то одну, то другую шляпку.

— Ну, а эта как?

— Неплохо.

— Ты так равнодушен! А ведь я для одного тебя стараюсь.

— Тогда не надо никаких шляпок, накинь мой любимый шарф.

— Я все забываю, что ты у меия пролетарий.

И огнеиио-красиый газовый шарф, накинутый на плечи Тины, как флаг появлялся в самых неожидаиных местах городка.

Фаитазия ее ие знала граииц. Чего только ие придумывала Тииа! Не щадя себя, оиа умела любить легко и весело, щедро одаряя любимого своей беззаботиой радостью. Того же требовала и от Алексея:

— В любви, Алешенька, мера за меру. Тут ие обмаиешь ни на одии золотиик! Кажется, Бальзак сказал, что любовь — едииственная страсть, которая оплачивается той же моиетой, какую оиа сама чеканит.

И Алексей ие только не отказывал Тине ии в чем, но каждый ее каприз для него стал закоиом, и выполнял ои его с восторгом. Ему казалось, что они оставят друг друга только тогда, когда у него и у нее иссякнет последияя капля крови.

Одиажды брат Аидрей, глядя ему в глаза, сказал:

— Сколько же можио, Алексей? У тебя одни глаза да нос остались. Так и загнуться — дважды два. Побереги себя и постыдись людей!

Алексей промолчал. Ночь снова провел у Тииы. Но пропущенные утром мимо ушей слова брата в минуты пресыщения припомнились ему. Где-то в тайииках души Алексея шевельнулось отвращение и к Тине, и к самому

себе — послушному ее рабу: «Мечтал учиться, работать, горы свернуть, а увяз в первой же луже».

Алексей затеял спор с Тиной, из которого победительницей вышла она.

— Я люблю жизнь,— сказала Тина.— Следую, не могу не следовать великому, вечному инстинкту любви и преклоняюсь пред ним. И я не хочу, не могу делить по расписанию, по унциям и драхмам брачное ложе с каким-нибудь слизняком, узаконенным церковью или, как теперь, загсом: брак по расчету, без страсти — могила любви, узаконенная проституция. Женщины, продающие себя из нужды, вызывают жалость. Продающиеся ради богатства, легкой, сытой жизни — отвращение. Священна лишь взаимная любовь — страсть! И я ненавижу ложь! Не хочу притворяться святошей.

Она задумалась и долго молчала. Потом сказала:

— Я с ужасом думаю, что мне уже двадцать три, что я уже прожила лучшую половину своей жизни, а еще только-только распробовала, чем пахнет жизнь... Знаешь, кто был моим первым любовником?

— Не знаю и знать не хочу!

— А я требую, чтоб ты знал обо мне все, все! Ну, не требую, а прошу.

— Не хочу, не хочу знать истории всех твоих пошлых романов!

И все же она рассказала Алексею о своих увлечениях:

— Это был отъявленный негодяй, но красивый, сильный, как Давид, артист Омского театра. Мне было пятнадцать лет, когда я увидела его в «Евгении Онегине» и влюбилась без памяти. Он жил в лучшей гостинице Семипалатинска и в свободные вечера картинно рисовался на балконе. А я, замирая, боясь и взглянуть на него, пробегала мимо. Он, конечно, учуял, подстерег, затащил в номер.

— Перестань! Умоляю тебя, перестань!..

— Он был на тридцать лет старше меня... А первого моего мужа, гвардейского поручика Трокина, убили за карточным столом. Он был шулер, пьяница и ревнивец. Как он истязал меня! Второй был помощником отца, адвокат Янковский, отличный тенор. Он пленил меня голосом. Но оказался ничтожнейшей, мелкой душонкой. Лгун, копеечник, холодный и скользкий, как налим.

— Тина, я уйду!

— Нет, не уйдешь! Все это говорю я к тому, чтоб ты понял мою мысль: могла ли я, притворяясь, обманывая, как делают многие женщины, нести бремя подобных браков?..

> Не в состоянье страсть ужиться с браком,
> Хоть он идти бы должен рядом с ней.
> Безнравственность весь мир одела мраком;
> Любовь, как только с нею Гименей,
> Теряет вкус, лишаясь аромата:
> Как кислый уксус был вином когда-то...

Откуда это?

— Не помню...

— Из байроновского Дон-Жуана. У арабов есть верная пословица: «Брак как осажденная крепость: кто вне ее — жаждет войти, а те, которые внутри,— выйти». Стендаль утверждает, что половина, и притом прекраснейшая половина, жизни остается сокрытой для людей, не любивших со страстью. Любить по-настоящему, мой дорогой Алешенька, это все время отдавать любимому самую ценную, золотую нить из пряжи нашего сердца! Между прочим, тот же Стендаль в замечательной своей книге «О любви» ничего не написал о браке. Почему? Он находил, что юридические права мужа на жену — сплошное издевательство над любовью. Счастья, радости в любви человек всегда должен добиваться сам. Только деревянной душе достаточно свинячьего спокойствия и безопасности, чтобы чувствовать себя благополучным и счастливым по договору, скрепленному подписью и казенной печатью. Забывают об этом ханжи-моралисты. А любовь — это, как у нас с тобой, неудержимое влечение одного к другому, когда не любить так же невозможно, как невозможно не дышать. Если же нет этого, преступно тянуть лямку до гробовой доски!

— А дети? А любовь-дружба? А общие интересы? — выкрикнул Алексей и тут же подумал, что для Тины с ее душевным складом, как и для других, подобных ей женщин,— это не аргументы.

И действительно, она звонко расхохоталась, подошла к нему и, глядя ему в глаза, сказала:

— Добавь еще: «А что скажет свет? Что скажет княгиня Марья Алексевна?» Но помни, Алешенька,— вдруг серьезно добавила она: — Как только я почувствую, что

ты начнешь тяготиться моей любовью, целовать меня, как сестру или как икону, я тотчас же порву!

Нет, Алексей не смог да и не стремился победить Тину в споре.

И все же споры, нередко кончавшиеся даже ссорами, все чаще и чаще возникали у них. И начинались они по самому неожиданному поводу. Но примирения были всегда такими же бурными, как и ссоры: они лишь подстегивали их страсть.

Тина была незлопамятна и добра. Алексей тоже не мог долго сердиться на нее — его покоряли не только всесокрушающая власть страсти, но и подкупающая правдивость Тины, и какая-то красивая щедрость: с легким сердцем она могла отдать толстой рыжеволосой своей подруге и все содержимое кошелька, и любую «тряпку», как презрительно Тина называла наряды. И особенно — трогательная забота о нем.

— Если бы ты знал, какую радость доставляет мне кормить тебя! Ты почему-то мне всегда кажешься маленьким.

— Это просыпается в тебе материнский инстинкт. А какая бы прекрасная мать получилась из тебя!

— Боже меня сохрани! Я бы скорее лишила себя жизни, чем согласилась ходить беременной и рожать!.. Представь меня с эдаким округлением.— И, выкинув перед собою красивые, гибкие руки, Тина с таким ужасом посмотрела на Алексея, что он не мог удержаться от смеха.— А все-таки, Алеша, я заверну для тебя парочку бутербродов с ветчиной. Мне кажется, ты плохо поел за обедом.

— Так значит, ты не любишь детей?

— Что ты, очень, очень люблю! Но... только чужих! Да ты бы, мой милый, первый отвернулся от меня — эдакой. Знаю я вас, мужчин, сколь вам нравятся беременные жены.

Алексей невольно вспомнил и себя и Анну в период ее беременности. Замолчал, посуровел. Перед его глазами встали Анна и его мать, с просветленными лицами разговаривавшие о свивальниках и распашонках для ожидаемого ребенка.

Тина подошла к Алексею, взяла его лицо обеими руками и, близко притянув к своему лицу, не поцеловала, а с полминуты подержав, выпустила:

— Может быть, мы не поедем сегодня в горы, Алеша?

— Что ты, почему?

Его потрясала способность Тины читать его мысли по совершенно неуловимым признакам.

Вот и сейчас робким, извиняющимся голосом она предложила:

— Хочешь, я поиграю тебе твоего любимого Глинку?..

— Да нет же, поедем! — Алексей решительно поднялся.

Ушатом холодной воды на разгоряченную голову Алексея изливались упреки родителей.

Случилось это в памятный субботний вечер, в канун открытия летнего охотничьего сезона, когда поголовно все усть-утесовские стрелки выезжают в луга и горы.

Родители Алексея возлагали большие надежды на этот вечер: «Уж сегодня-то он ночует у охотничьего костра, а не у нее!..» Но Алексей, позабыв об охоте, запряг Костю в пролетку и собрался ехать к Шибельской.

Дом, в котором царили родительская строгость и уважительность детей, точно качнулся от незримого подземного толчка.

Отец вышел из-под своего навеса и укоризненно заговорил:

— Я все надеялся, сынок, что ты сам поймешь, в какой трясине увяз по самые уши. Выходит, ошибся я.

Сын стоял перед отцом навытяжку.

— Видел я твою... Красива. И даже очень! Но под стать ли она тебе? Будет ли она доброй женой, матерью твоих детей? Полюбовница она, может быть, и горячая, но не жена. А с полюбовницами не большую жизнь, а только ночь делят: для коротких радостей твоя красавица. Таких женщин только золотопромышленникам, у которых по пуду, а то и по два золота в день намывали, по всему государству ихние холуи разыскивали. И содержали они их для форцу. Ну, а полюбовницы в свой черед услаждали их за такое богачество... Так ведь это же не семья, чистейший блуд! А ведь жизнь, сынок, не в блуде состоит. Да и все цветы в поле не вырвешь, всех красавиц не перелюбишь.

Алексей молчал. Он понимал, что отец судит о Тине по ее виду да по городским сплетням. Разве он зиает, какая она душевная? «Я на его месте, наверио, тоже наговорил бы своему сыиу».

— Сказывают, оиа артистка, иу а артисты завсегда легко жили — иа перекладиых ездили. И никогда у них ии кола, ии двора, никаких забот об семье, об домашности. Молчишь? Ну молчи — думай. До сих пор голова у тебя варила неплохо. Раз запряг — езжай! Больше я тебе ничего не скажу.

По-иному поступила мать. Сурово глядя сыну в глаза, оиа резко сказала, точио со всего размаха обухом по голове трахнула:

— Был ты, Алешеиька, человек, а теперь стал табунный управский бык! И больше ты никто!

Алексей стегиул Костю вожжой, и коиь выиес его за ворота.

«Табуиный управский бык!» — звучали в его ушах оскорбительиые слова матери. Взмылив коня, Алексей через иесколько часов, не заезжая к Тиие, повериул домой.

Да и вериувшись, может быть, ие выдержал бы искуса, если бы иа помощь ему снова не пришла мать и случай: к воротам их дома в охотничьем облаченье подъехал сосед Матвей Коиоплев — пригласить Алексея иа открытие охоты.

Мать выбежала к Коиоплеву:

— Матвеюшка! Ради создателя, уговори, увези Алешеиьку! Пропадает пареиь. Стыд сказать, грех промолчать — выпила сатаница из иего всю кровушку.

Матвей Матвеевич увез Алексея в горы и пробыл с иим иа охоте до утра понедельиика.

Трехдиевиая разлука показалась Тине вечиостью. Стрембицкий приехал к Рокотовым, спросил об Алексее. «От нее!» — безошибочно угадала мать.

— На охоту залился, а когда верится, не знаем... Да вы проходите, Вадим Рудольфович, я вас чайком угощу...

— Не до чая мие, Ирина Тимофеевиа...

Стрембицкий безнадежио любил Тииу. Забыв о ревиости, готов был на все уиижеиия: ои мучился ее мукою.

Тииа прогнала его в горы: «Разыщи и привези! Без иего не являйся!»

В горах Стрембицкий пробыл до вечера, ио Алексея не иашел.

Все время Тиия представлялась Стрембицкому мучительно ожидающей своего возлюбленного.

Ои зиал немало женщин, но другой такой, как Тина, для него не было иа свете. Ее острый ум, прямота, безграничная доброта покорили его. Стрембицкий ие мог забыть первой встречи с Тиной. Как-то поздио вечером иесся ои сломя голову иа паре увоеикоматских вороных по одной из улиц Усть-Утесовска. Навстречу ему, прямо под ноги лошадей, с раскииутыми руками бросилась жен щииа.

В шаге от безумной, перепачкаиной в грязи иезнакомки Стрембицкий с трудом осадил разгоряченых жеребцов.

— Помо-о-гите! Ради бога, помо-о-гите! — крикиула она и кинулась куда-то в сторону.

Только тогда он увндел захлебывающегося в грязи человека, вытащить которого безуспешио пыталась Тниа.

Страдающего падучей болезнью безродиого нищего старика Стрембицкий и Тииа отвезли в больницу и не раз навещали его там.

С того вечера ои и полюбил ее. Тронутая беззаветной его предаиностью, Тииа разрешила ему любить себя.

И вдруг иа его пути появился Алексей Рокотов!

Это была совсем другая Тииа. Новая ли прическа с локоиом, упавшим на ее ясиый лоб, иеобычио углубила, опечалила выражеиие всегда светлого, радостного ее лица. Или пережитое за эти дии так расширило зрачки ее темных глаз, до краев наполнив их болью и скорбной сосредоточеииостью, точио оиа силилась разрешить мучительиый неразрешимый вопрос.

Одета Тииа была в легонькую белую кофту с коротенькими рукавчиками, с большим вырезом, открывавшим плечи. Черная узкая юбочка охватывала ее бедра, как трико.

Алексей вошел в дом так тихо, что Тииа ие слышала его шагов. Оиа сидела у окиа, ждала его, а он смотрел

из-за портьеры и так волновался, что у него пересохло во рту.

Скрипнули ли половицы, или Тина почувствовала присутствие Алексея — она повернулась к нему с затуманенными, влажными от прихлынувшей радости глазами. Она кинулась к нему и, обессиленная, лишь молча гладила его лицо.

Всегда теплые, нежные пальцы Тины были холодны и дрожали. Алексей накрыл их своими большими горячими ладонями.

Он был убежден, что Тина измучит его упреками, может быть, даже слезами, но она только спросила:

— Удачна была охота, Алешенька?

— О-о-о! — заикнулся было Алексей, но она перебила его:

— По лицу вижу, что удачная. Ведь ты был счастлив? Тебе было весело, милый? Но ты хотя бы чуточку тосковал обо мне на охоте?

Тина спешила. И за этой ее спешкой, за гордым ее смирением Алексей чувствовал и осадок горечи, и осуждение, и всегдашнее желание подчинить его своей воле, а всякая попытка деспотизма вызывала у него инстинктивное сопротивление.

— Охота меня волнует не меньше, чем любовь. И я порою забываю самого себя, когда крадусь к зверю или подхожу к собаке на стойке! — уже закипая, ответил Алексей.

Но и эти обидные для нее слова Тина пропустила мимо ушей — так владела ею в эту минуту жажда любви.

До мельчайших подробностей вспоминал потом Алексей, восстанавливал все случившееся в этот вечер. Каждое слово, жест Тины слышал, видел, будто происходило это только что. И все повторял: «Такое не забудешь и через сто лет!»

— Какое это счастье — доставлять радость и себе и любимому!.. Ты мой самый, самый... Других таких больше нет на свете...— как в бреду, говорила она.— Я ненавижу этот мещанский городишко: каждому до тебя дело. Все завистливые, злые, как рассерженные осы... Радость, счастье другого им — нож в сердце... Ну кому я делаю зло?.. А ты знаешь, какой они распространили слух обо мне? — Склонившись к самому лицу Алексея, Тина с отвращением выговорила: — Будто бы я больна... Я за-

дыхаюсь в этой дыре. Если б не ты!..— Не сдерживаясь, она уже снова, все так же спеша, заговорила во весь голос: — Ведь ты же любишь меня? Скажи, любишь? По-настоящему?

Положив руки на плечи Алексея, Тина отодвинулась от него и пристально смотрела ему в глаза, пытаясь прочесть в них то, в чем она начала сомневаться.

— И дай, дай мне слово, что никогда больше не будешь так невнимателен ко мне!

Алексей помедлил с ответом какую-то долю секунды, и она порывисто оттолкнула его от себя.

— Нет, как ты мог? Как ты мог? Я так тебя ждала! Видит бог, я не хотела... Но я никак не могу совладать с собой! Меня столько мучили!

Да, Алексей не знал не только Тины, но не знал он и себя.

Ему непонятно было, как он мог так истолковать горькие, но справедливые упреки Тины?

Что вынудило его сказать ей тогда невысказанное в их спорах:

— Ты только и думаешь о наслаждениях любви. Тебе подавай вечный праздник, а для меня жизнь — это и работа и охота. Я не могу жить одними любовными утехами. И потом эти твои вечные рассуждения об истинно высокой любви. Какая уж там высокая! Давно ли ты была так же близка с этим, как ты называешь его, глупым усачом!

— Но ведь это же, когда у меня не было тебя, а он так рыдал, был такой жалкий. Я ему милостыньку подала. Это же без души, без сердца, Алешенька. Это как жаждущему стакан воды! — выкрикнула Тина.

— Ах уж мне эта подлая теория «стакана воды»! Да, да, подлая, ведущая к духовной и физической проституции! Ты просто раба своей развращенной фантазии!

Почему с такой непонятной озлобленностью вырвались у Алексея эти грубые, оскорбительные слова, он и сам не вдруг разобрался. Порою необъяснимы движения человеческого сердца, когда, любя, желая добра, мы причиняем любимому острую боль.

Вероятно, все это было следствием их прежних стычек, не высказанных ранее возражений, и ржавчина ссор незримо разъедала цепь, связывающую его с Тиной,

А может, виною всему были позорные слова матери?

Вернее всего, Алексей не любил Тину так, как любила его она. Радость любви — любить. Человек счастливее от страсти, которую испытывает сам, чем от той, которую внушает.

Тина напряженно смотрела на Алексея.

Внезапная бледность покрыла ее лицо, словно он ножом ударил ее в сердце.

Из глаз ее хлынули слезы, но она быстро смахнула их и, указывая на дверь, приглушенным голосом, почти шепотом сказала:

— Уходи! Сейчас же уходи! Я не могу видеть тебя!

Алексей плохо помнил, как оделся и как вышел.

Уже открывая дверь передней, он услышал крик Тины:

— Ве-е-ернись!

Но он не вернулся.

Алексей провел бессонную ночь. Крик Тины: «Вернись!», ее слова: «Меня столько мучили!» — преследовали его.

Бескровное лицо Тины, печать какой-то детской беззащитности перед злом жизни — все это оставило в душе Алексея такую горечь, что он несколько раз порывался пойти к ней и выпросить, вымолить прощенье. И все же не пошел. Не пошел и утром следующего дня.

Что-то, что было сильнее его страсти, сильнее жалости к Тине, удержало Алексея. Может быть, его чувства к Тине разбились о то, о чем говорил ему отец и что так же вечно, как и полонившая его любовь,— о полное несоответствие взглядов на жизнь, брак, семью?

В оправдание он не раз вспоминал ее решительный ответ на его вопрос:

— Почему бы нам не жить вместе? Ведь нельзя, не могу же я и дальше так! Пошла бы ты за меня замуж?

— Что ты, что ты, Алешенька! Это значит снова брак! Я так люблю тебя! Нет, нет и нет! Я не могу быть убийцей нашей любви... А потом, Алешенька, какая я жена, какая хозяйка: я даже яйца сварить не умею. А тебе не только супы потребуются, тебе подай и многодетную семью. В браке с тобой через полгода, год я, наверное, начала бы изменять тебе. А может быть, и ты тоже.

Ее честность, искренность, детская беспомощность в практической жизни всегда восхищали Алексея. Но го-

товность Тины ради любви лишить себя любви потрясла его тогда.

И все же он не выдержал — после работы поехал к Тине.

Еще утром в увоенкомате его удивил Стрембицкий: в каком-то необычном волиении, впопыхах он забежал в кабинет, где они работали всегда вместе, и, холодно кивнув Алексею, начал рыться в своем столе. Потом так же поспешно ушел к увоенкому, а через иесколько минут куда-то уехал.

В доме Шибельских Алексея встретил осуиувшийся, как после тяжелой болезии, Сигизмунд Сигизмундович.

— Тииуся уехала, а куда и с кем — ие сказала. С собой взяла только чемоданчик. Вам велела иизко кланяться. Так и сказала: «Поклоиись низко-низко».

Первой мыслью Алексея было: «Догиать!» Но куда оии уехали? Он понял, что она уехала со Стрембицким. «Снова подала милостыньку»,— горько улыбиулся он. Но с какой болью у иего сжалось сердце!

Алексей заспешил домой: хотелось лечь в постель, закрыть глаза, ничего не видеть, не слышать.

«Все царство любви полно трагических историй»,— когда-то прочел он у Монтеия. За свою короткую жизнь Алексей достаточно насмотрелся этих историй: судьба словно задалась целью с юных лет оглушать его трагедиями. С небольшими вариациями все они походили одна на другую.

Через неделю в Усть-Утесовске узнали, что Стрембицкий увез Тину в Зыряновск, в еще большую глушь, чем Усть-Утесовск. Как и чем они жили там, Алексей не знал. Не зиал ничего о жизии дочери и старик Шибельский, с которым Алексей стал встречаться чуть ли ие ежедневно. Они молча сидели, чутко прислушиваясь к щемящей тишине осиротевшего дома.

Иногда старик весь вечер говорил о покойной матери Тины — Марианне.

— Что это была за женщина! Вот уж воистину прекрасная душа в прекрасном теле.

И по тому, как он произнес эти слова, Алексей понял, что мать Тины была такая же, как и ее дочь.

— Непостнжим был характер Марнанны: он был весь соткан из сплошных противоречий. Но неизменными были ее доброта, искренность, правдивость, жажда любвн.

Она говорила: «Лгут, только скрывая гадкие поступкн. Любовь же всегда достойиа божественного преклоиеиия».

Марнанна была сама чувствениость, сама нежность, вечный соблазн для мужчии. Я ни минуты не мог не думать о ней...

Старик замолчал, задумался.

— Жнть мие с ней было не всегда легко. Но меня не жалели, а завидовали мие. Я отличио понимал мужчнн н гордился нх завистью. Каждый день она была иензведанно-иовой. Тот, кто не любил такую жеищину, как Марианиа, не познал всех радостей любвн.

Ко мне, тогда еще нищему студенту Сорбонны, она пришла в одном платье от секретаря аргентинского посольства.

«В моей ли власти мон поступки? В них больше слабости сердца, чем злой воли»,— говорнла она.

Марианиа обожала музыку, прекрасно играла, пела и очеиь любила стихн. Оиа ие раз приводила мне строки аиглийского поэта:

А женщнна с рассудком часто в ссоре,
Она лншь сердцу щедро платнт дань.
Кто прихотям ее укажет грань?

Как же было не прощать все ее сумасбродства? Она звала меия Сузи.

Другой такой жнзнелюбки, я думаю, и на свете не было. Представьте, Алексей Николаевич, Марианиа с серьезиым лнцом утверждала: «Даже жнзнь можно продлить желаньем жить, но умнрающую любовь ннкакнми силами продлнть иельзя. Новая любовь всегда насмерть убивает старую».

Возможно, говоря о своей жене, старнк пытался помочь Алексею глубже понять н оценить характер Тнны.

Так коротали онн вечера, ожндая какой-нибудь весточки от Тины. И через десять дней весть прншла. Согнутый этой вестью, Шибельский пришел к Алексею в увоеикомат. Старнк был без шляпы,— очевндно, забыл надеть ее. Прн первом же взгляде на него у Алексея похолодело сердце.

— Вот! — сказал старик и протянул телеграмму:

«Вашу дочь нашли убитой в горах. Райпрокурор Пологаев».

В тот же день Шибельский уехал на похороны дочери.

Через несколько дней стали известны подробности трагедии: на ближайшей к Зыряновскому руднику горе выстрелом из нагана в сердце Тину застрелил Стрембицкий, после чего явился к прокурору.

Трагический факт немыслим без причины, но что произошло между ними, никто не знал: Стрембицкий отказался дать какие-либо объяснения о причинах, побудивших его к убийству.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Нэп и червонец породили радужные надежды не только у спекулянтов и зажиточной части крестьянства: с каждым днем Страна Советов все больше и больше привлекала к себе внимание торгового капитала Европы.

Почти одновременное заключение торговых договоров с Англией, Турцией, Польшей не без основания называли тогда в определенных кругах медовым месяцем экономических сношений с Западом.

Как и отечественные дельцы, зарубежные капиталисты не разгадали истинного смысла новой экономической политики, провозглашенной Лениным. Многие из них утверждали, что нэп не что иное, как осторожное сползание большевиков к капитализму. Снять сливки с огромной страны, которая, как мировая сила, оказалась в центре исторического процесса, прибрать к рукам — вот о чем мечтали буржуазные политики того времени.

«Англичане хотят послать в Россию бритвы либо для того, чтобы перерезать нам горло, либо для того, чтобы сделать из нас джентльменов»,— не без иронии говорилось в журнале «Красная новь». Номер журнала с этой подчеркнутой во многих местах статьей и служебную записку из губкома от Павла Петровича Бахеева-Бажова привез Алексею из Семипалатинска Карунный, назначенный увоенруком вместо Стрембицкого.

В записке, как и всегда, Бахеев-Бажов был краток:

«Срочно расширяйте сферу деятельности городского

Союза охотнников-любителей за счет организацнн промысловиков горнотаежных районов. Прн разумном хозяйствованин Алтай — неисчерпаемый колодец «мягкого золота».

Пушнина необходима для торговли с заграннцей, развнтня отечественной промышленностн.

Военкому Капустнну дано указание о вашей демобнлнзации из рядов Красной Армни.

Убежден, справнтесь и с этой чрезвычайно важной работой».

— И опять Сергей Васильевнч с благостной вестью! Шинель с плеч, на мирное положение. Ах, Андрюша, Андрюша, а он все утверждал, что бога нет!..— Мать тяжело вздохнула, перекрестилась.

Брат Андрей как-то незаметно, тихо ушел нз жизни: угас за работой в горкомхозе. И всю свою материнскую любовь мать перенесла на Алексея.

— Опять мне ночи не спать! — говорила она.— И Андрей каждый час был, как на фронте, и ты хватнл всячины по самое не́куда. А теперь с охотннчьим союзом в глухнх таежных местах, с пушниной, с соболями, где лнхой человек нз-за каждого пня может... Да ты не хмурься: роднтельскне страхи за своих детей спознаешь, когда сам отцом станешь. А сейчас бы, раз ушел из Красной Армии, н о своем гнезде...

— Ну пошла наша курнца на чужом дворе болтуны выснживать! — сердился отец.— И чего ты, Арнша, право... Человек не успел еще от такого горя оклематься, а ты уж о новой женитьбе.

— Да я что? Я ничего. Не скрою, конечно, внучонка потетешкать охота.

— Словно бы не шинель, а стальную кольчугу снял! Нет, видно, не рожден я военным. А вот Карунный до гробовой доскн шинель носить готов. Спаснбо Павлу Петровичу — обрадовал старика. Уверен, не хуже Стрембицкого поведет он свое дело...— Алексей возбужденно ходил по комнате, разговаривал сам с собой вслух: — Я же на всю осень и на добрую половину зимы — в горы, в тайгу! По деревням, по заимкам... В уезде-то не менее двух тысяч промысловнков наберется. А на радостях маханука я на Крутую речку! Как-то там мои сурки, барсуки пожнвают?

Перед глазами Алексея предстало с детства любимое крутореченское ущелье с говорливой, набитой хариусами речкой, с горами, заросшими смешанным лесом, с ожиревшими увальнями сурками на солнцепеке, с лисьими и барсучьими норами по тенистым оврагам... Весенние токовища бархатно-синих тетеревов, заливающих долину волнующим бульбуканьем...

«Надо не иметь сердца, чтоб не любить все это! Да и можно ли не любить родную природу? Как и единственная на земле, в муках породившая нас женщина, она будет стоять перед нашими глазами в последний смертный час. И отныне тебе, Алексей, вверяется охрана ее богатств: «При разумном хозяйствовании Алтай — неисчерпаемый колодец «мягкого золота»...»

Это был желанный день освобождения: вольная его душа рвалась в природу. И вот дождался: весь жар своего сердца он готов был отдать новой работе.

Он понимал: безвозвратно минула целая полоса его жизни, начинается новая. «Юность — золотая пора. Молодость — светлая сестра юности. И даны они человеку на краткий миг — только лишь для того, чтобы, когда промелькнут, как розовый сон, вспоминать, тосковать о них, что прошли и никогда, никогда не вернутся».

Словно в тумане оглядел Алексей свою спаленку. Стол, заваленный книгами, лист бумаги, только что исписанный размашистым почерком, невесть откуда всплывшими словами о юности... А в «святом углу», у византийски темного лика Николая-угодника теплилась лампада, зажженная руками матери. И такое от лампады лилось благостное сияние, что пронизывало его всего, вместе со светом, льющимся из глаз повенчанных с ним в сокровенном духе трех разных женщин, приросших к его сердцу.

Алексей разделся, лег в постель, закрыл глаза и снова открыл их, а те же дорогие лица вновь выплыли из волшебной тишины... Возможно, весь этот бред наяву был вызван чрезмерным возбуждением Алексея, только что сбросившего военную шинель?

Возможно, и ущелье Крутой речки, пригрезившееся так явственно, и грусть по безвозвратно минувшей ранней молодости, и лица любимых женщин, встретившихся ему в эту пору, потому так переплелись, что перед ним открывалось главное дело его жизни, как думал он тогда,— дело, в которое он должен уйти с головой, уволившись из

Красной Армии не в запас, а на новый фронт хозяйственного возрождения страны...

Сниий же лампадный свет разливался все сильней и снльней. И в нем, подобно светлякам, искрились милые глаза, слышались запомнившиеся на всю жизнь слова:

«Самое пьяное вино — вино молодости, вино любвн».

«Счастье — это ожидание счастья».

«Меня столько мучили! Верни-и-ись!»

Долго пролежал он, не смея пошевелить нн рукой, нн ногой. И когда заснул, не помнил.

Еще не обронила с крыльев багровые перья заря, Алексей уже подъезжал к Крутой.

Горная тропа над Иртышом — древняя, чуть ли не со времен Ермака, утоптанная пешими и коннымн — кремень кремнем. Внизу река под пологом столь плотного тумана, словно, как в детской сказке, течет она молоком меж кисельных берегов в счастливое, не ведающее нн горя, ни забот царство.

Влево — по логам, по косогорам, уросшим волчевником, боярышником да черемушником, обожженными первыми утренниками,— щедро рассыпано червонное золото: отпировав, кустарники поспешно сбрасывали парчовые свои одежды до нового вешнего праздника. И над всей этой грустновато-осенней ранью катился по небу тонкий, словно наполовину истаявший верешок ущербной луны...

Росно. Прохладно. Воздух так крепко настоян на увядших травах, на листопаде, что не дышать им, а кусать его хочется...

Конь шел скорой ходой, покачивая в седле, как в люльке.

Перед всадником плыли дальние громады гор, а ближние бугры, зыблясь, бежали встречь, точно морские волны, и Костя бесстрашно нес Алексея по их гребням. Широко раскрытыми глазами Алексей жадно смотрел, точно навек вбирал в себя красоту родной земли.

Все отодвинулось, словно и не было ни безвозвратной утраты светлой первой любви, ни любовной чадной отравы, полонившей его и тоже промелькнувшей в его жизни.

Давно не испытывал Алексей такого волнения. Слив-

шийся с конем воедино, он, казалось, ощущал ритмическое биение и своего и лошадиного сердца.

И умытые росой кустарники, и кремнистая горная тропа тоже, казалось, уместились в сердце Алексея — так оно расширилось в это тихое утро свидания с Крутой, речкой милого его детства, первых рыболовных и охотничьих радостей.

Крутая уже совсем близко — только извершить последний увал. Уже слышен ее шум, и Костя, точно угадывая нетерпение седока, прибавил ходу, а из-за петушиного гребня дальней горы, словно приветствуя Алексея, всплыло солнце.

— Здравствуй, Крутая! — во всю силу легких выкрикнул он и остановил коня.

Если бы чудесное Крутореченское ущелье провалилось в преисподнюю, со всеми солнцепечными его увалами, логами и отвершками, с отвесными утесами, унизанными ширококронными рыжими соснами и оливково-темными иглоперыми пихтами на его вершине, с голубыми осинниками, сахарно-белыми березами и непродорным, в руку толщиной, талом в среднем течении,— и тогда Алексей не был бы так поражен, как тем, что открылось его глазам с высокой гривы у спуска в Крутореченскую падь. Подобное он видел только на фронте, когда после длительной бомбардировки по недавно еще кипучему, с садами и парками, с фонтанами и памятниками, с театрами и магазинами небольшому пограничному городку, пропыленные и оглушенные, входили они в него, обращенного в руины...

Лишь чудом уцелевшее обезглавленное дерево с ободранной корою, с единственной сучковатой веткою стояло на окраине, точно нищий в лохмотьях, протянувший за подаянием руку.

Не глядя в глаза друг другу, проходили они по тому, что еще недавно было красивым пограничным городком...

Алексей не помнит, как он слез с коня и как, почему-то сняв шапку, точно на кладбище, стал медленно спускаться к мертвому ущелью.

Сожженное дотла, вырубленное под корень, зияющее, точно шрамами, желтыми глинистыми разрытыми, взорванными динамитом лисьими, барсучьими и сурочьими норами, ущелье и впрямь походило на кладбище.

Когда-то зеленые увалы и заросшие лесом прибрежные скалы, наполненные таинственной звериной и птичьей жизнью, теперь с обнаженными пнями и облысевшими валунами напоминали могильные надгробия.

Ограбленная, раздетая, Крутая речка показалась Алексею такой жалкой в своей наготе, что у него сжалось сердце. Всегда живая, клокочущая, она словно умерла — уныло остеклинившись, стояла среди обугленных пней, в траурно-черных, скрученных пáлом кустарниках.

Совсем еще недавно здесь вольно и беззаботно паслись, резвились свидетели его детства сурки, а табунки куропаток, потревоженные лисами, с пронзительным чиржиканьем стремительно перелетали с места на место.

Тошно было Алексею смотреть на колесные следы передков[1], на которых вывозили к Иртышу выжженный, срубленный лес, приречный жердовник и тал. Глубокими колеями исполосовали они девственные луга.

Даже утесы, обросшие когда-то кудрявым мохом и цветными лишайниками, после пожара чернели гигантскими головнями. Казалось, и сейчас еще курились, сочились они черною кровью, точно волы с перерезанным горлом. Ни птичьего щебета, ни куропачьего чиржиканья, ни сурочьего высвиста. Обширную колонию, не менее как за сто лет расселившуюся по бугристому солнцепеку, с ее мудрыми старичками сурками, с жирными хлопотливыми сурчихами, с резвыми, забавными сурчатами вымели под метлу.

И как только припомнились Алексею эти слова, тотчас же встал перед ним и лиходей — разноглазый, тощий, как хвощ, мужичонка в рваной хорьковой шапке — Ника Пупок, прозвищем Волчья Пасть, с его кодексом хищника: «Своего не упущу, и уж где на птицу, на зверя, на рыбу нападу — по-хозяйски вымету под метлу: после меня, как говорится, ни птичьего пера, ни звериной шерстины, ни рыбьей чешуи». Всепожирающий огонь, топор и пила уложили зеленое ущелье в гигантский черный гроб.

Алексею представилось, как ничком и навзничь, в беспорядке, точно на поле брани, лежали порубленные деревья. Как, охваченные огнем от корня до вершины, уми-

[1] Двухколесные телеги.

ралн они. Как, обезумев, метались настигаемые палом зверн н птнцы...

— Ну, погодн же! Этого мы тебе не простим!

Алексей опустнлся на обугленный, черный пень. И долго сидел задумавшнсь.

«Но однн ли Ника Пупок? Да и попробуй докажи теперь, что это именно он! И одно ли это ущелье обращено и каждодневно обращается в мертвое кладбнще?

А безжалостно вырубаемые коицесснонерами наши северные заградннтельные леса! А сведенные на нет знаменнтые Петровскне корабельные рощи! А мнллноны гектаров ежегодно гнбнущей от пожаров дальневосточной, алтайской, снбнрской тайги! А чудовнщные перерубы даже в водоохранных зонах! И не где-ннбудь, а чуть лн не рядом с Москвой, Петроградом, у нстоков Днепра, Западной Двины н пртоков Волгн!..»

Горькие это былн раздумья о судьбах русской природы.

Отпущенный конь пасся на излуке Крутой, на том самом месте, где когда-то стоял нх знаменитый «внгвам», от которого н следа не осталось.

«До чего же доведут тебя, богатейшая моя земля, разнокалнберные «Пупкн» за трн-четыре десятнлетня, если мы, не откладывая ни на минуту, ие начием святой вселенской борьбы с нимн, платя суровой карой за разбой в прнроде? Да, да, суровой карой! Но еще более действенным, чем кара, грозным обличнтельным словом, всесветным набатным зовом, направленным к человеческому разуму!.. И кто, кто, оскаля зубы, осмелится посмеяться над нашей любовью к родной земле? Кто не проникнется сыновней нашей болью?»

Это былн не только горестные минуты в жизни Алексея. Он был уверен, что теперь-то обрел смысл своей жизни. И отлично знает, что н как ему иадо делать, чтоб прожнть жнзнь без стыда перед собой н народом. «Самое страшное, еслн у человека нет нн твердой почвы под ногами, ни компаса, указывающего ему верный путь».

Домой он вернулся к полудню того же дня, хотя и собнрался пробыть на Крутой всю субботу и воскресенье.

Не заезжая на родной двор, Алексей направнл коня в городской Союз охотников и пробыл там до глубокой ночн.

— Время не терпит: таежники скоро уйдут на промысел. Сегодня посидим подольше, завтра соберемся пораньше, а в ночь разъедемся. Уезд велик — необходимо сделать все возможное и даже невозможное! — Несмотря на усталость, Алексей улыбнулся так заразительно, что даже темноликий, больной туберкулезом бухгалтер, он же и секретарь, Мирон Запрягаев не сдержал улыбки.

В жалкой саманной комнатушке, предоставленной под контору городского Союза охотников, было накурено. Но сидевшие за столом с картой обширного, впору иной губернии, Усть-Утесовского уезда четыре члена правления словно и не замечали духоты, так их увлек план организации промысловиков, предложенный Алексеем.

Председатель — круглолицый, невозмутимо спокойный помувоенкома, единственный в правлении коммунист Гриша Саронов, начинающий охотник, прибывший в Усть-Утесовск с одной из частей Красной Армии. Всю организационную работу взвалил на себя Алексей. Коммерческую — бывший кооператор, полуинвалид, с высохшей рукой, Михаил Прусов. С этими-то фанатиками охотничьего дела и свела судьба Алексея, которого устьутесовцы считали душою союза и всегда единогласно избирали и переизбирали в правление: Алексей пленял людей своей энергией и неиссякаемым оптимизмом.

Теперь он взялся за осуществление идеи Павла Петровича Бажова, и все как-то сразу уверовали, что и это далеко не легкое, но открывавшее большие хозяйственные перспективы дело будет осуществлено, раз за него принялся Алексей Рокотов.

И действительно, подробный план организации уездного Союза охотников был разработан за два заседания. Алексей направлялся в дальние горнотаежные районы. В ближайшие к городу — степные деревни — кооператор Прусов. Вести подготовку к первому уездному съезду остались председатель и бухгалтер.

Замысел был дерзкий. Но и само тогдашнее время было временем больших дерзаний — утром Советской власти. Временем организации первых профессиональных союзов и сельскохозяйственных коммун. Не беда, что в этих первых коммунах еще царила страшная нищета, что коммунары жили на одной картошке, а приобретение новых штанов жениху и платья невесте горячо обсуждалось

на общем собрании коммуны, все же это была светлая новина — незабываемое романтическое время. И глубоко запечатлелось оно Алексею в эту его длительную поездку в гущу народа.

Возможно, что и личные, скрываемые даже от самого себя, причины толкали тогда его на такой нелегкий труд: увязнуть с головой в работе — забыться! И Алексей не щадил себя.

— Вкладывайся в дело со всей душой, сын,— напутствовал его отец,— тогда и устали не заметишь. И через «не могу» моги, когда грянет даже и неподсильное испытание, а в жизни и такое может быть, чтоб ты его и встретил и одолел, как настоящий мужчина.

Говорят, в старину были такие чудаки — год на одной ноге на пеньке простаивали. А кому от того польза была?

И все же, если разобраться, сильные были люди. Теперь побольше бы таких, да на полезное народу дело направить!

Алексей понимал, что живет в исключительное время, когда впервые трудовому человеку с его пробудившимися устремлениями нужна не только вся его страна, но и весь мир, что о романтических этих днях в веках будут складываться легенды...

Вот почему каждый вновь созданный коллектив охотников-промысловиков при его пылком воображении казался ему еще одним кирпичом в фундаменте нового мира...

Горы, тайга, взыгравшие после осенних дождей ручьи и речки. Деревни одна от одной на тридцать и сорок алтайских, немеряных верст.

Дрожки Алексей бросил и по бездорожью пробирался верхом на Косте. Промокший, продрогший — сразу же шел в сельсовет и объявлял сбор охотников.

— Да ты бы пообсушился, пообогрелся, в баньке бы попарился, а уж потом...

— Не к теще на блины приехал — не до баньки! Промысловики и так наполовину уже в тайге.

И снова доклад в переполненной людьми душной избе. Снова мужицки замысловатые прения (таежник скуп на каждую копейку из своего кармана). Обсуждение кандидатур, выборы руководителей охотничьего коллектива, сбор пушнины в счет членских взносов. И так изо дня в день.

Легла раиияя, снежная зима, Алексей же не «осоюзил» и половины таежных охотников. «Жив не буду, а к рождеству оргаиизую всех: в яиваре съезд!»

Это была «воробьиная» иочь — так балагур-печник дядя Миша называл ночь страха, в которую нной раз даже и молодые люди седеют.

— Староверы, племяш, народ потаенный. Живут за рублеными саженными заборами. Каждый двор — крепость. Без божьего слова шагу ие ступнут. Кресты кладут ото лба до пупка, а убить ииаковерца и за грех не считают. В таком разе, говорят они, «даже и начетчику нечего каяться: убил — лишняя тварь по земле не ползает, не застрамляет ее, матушку». Так что в тех местах, племяш, ухо держи востро,— напутствовал Алексея дядя Миша.

Гришка Саронов, забежавший проводить друга, услыхал слова печиика, вынул из кармана браунинг и подал Алексею:

— Возьми — пригодится!

Алексей сунул браунинг в карман.

Поездка близилась к коицу. Алексей забрался в такую глухомань, о которой только слышал рассказы соболевавшего в этих местах неукротимого землепроходца дяди Миши.

Всякое повидал за три месяца разъездов Алексей, но «воробьиная» ночь осталась иезабываемой.

В Маралушке, таежной раскольничьей деревне, он закончил работу в полдень — соболятники вышли из тайги с первого промысла: «Снег оглубел — собаке не нога [1]. Ну и к бабам, к хозяйству, иа рождественскую гульбу — спокои веку так заведено у нас».

И оргаиизационное собрание, выборы, сбор члеиских взиосов прошли быстро: маралушкиицы действительио рвались к бабам, к медовухе, ие миогословили.

«Успею и в Чащевитку! — решил Алексей.— Деиь теплый, ясный, а до иее, сказывают, не более двадцати верст».

— Ты, дружок, отдохиул, к иочи потихоньку доедем, а утречком проведем последиее собраиие и оглоблями к

[1] Не может ходить — вязнет.

дому! — запрягая Костю в сани, довольный удачей, говорил Алексей.

Как ни соблазнял его и банькой и медовухой вновь избранный председатель Маралушкинского охотничьего коллектива, ночевать Алексей не остался.

— Не сплутали бы: дороги-то у нас — птицам летать. Да н не запуржило бы: воробьи чуть не с утра под застрехн жмутся...

Но и эти слова председателя не остановилн Алексея. Надев барсучью доху, ие пробиваемую ни в лютый мороз, нн в проливной осенний дождь (вода с густой серебряной остн скатывалась, как с гуся), Алексей еще раз расспросил про дорогу, про все ее отворотки и попрощался с хозяином.

Сознаиие, что работа почти закоичеиа, н закончена неплохо, что в санях лежит мешок с шкурками белок, собранными в счет членских взносов, и двумя десятками собольих шкурок, прииятых в обмен на оружие для крупиих коллективов, подбадривало Алексея. Ои уже видел довольные лнца правленцев, рассматривающнх привалившее в нх нищий городской союз богатство, мечтающих о новом помещении для конторы, склада, о магазине оружия н огнеприпасов. Хорошо думается в пути под приглушенный стук копыт надежного коня, сндя в теплой дохе на мешке «мягкого золота».

Вначале дорога шла просекой в строевом пихтаче, потом выбежала на покосную гриву с приземистыми, заиесенными сиегом стогами сеиа со множеством отвороткв к иим, к пасекам, расположеиным по ее опушкам. И лишь только вырвался Алексей нз черного пихтового тоннеля, в левую его щеку дохнул колкий сиверко, завернул иа сторону гриву н хвост Кости. Конь зиобко перестрнг ушами и без понуждения прибавил ходу.

Алексей с тревогой взглянул на иебо: «А ведь, пожалуй, правильно наворожили воробьи. Не вернуться ли?» И хотя горизоит угрожающе сузился, он не повернул: «До вечера далеко: проскочу!» Сани, как на волнах, качались на ухабах выбитой корытом, ио довольно широкой, неплохо наезженной дороги. И эта добрая дорога, с клочками сена на обочннах, а кое-где и с вешкамн из еловых лапок, окончательно успокоила Алексея.

...Пурга налетела мгновенио и с такой ураганной силой, что ослепленный ею Костя с рысн перешел на шаг,

а корытистое полотно дороги сразу же забило снегом вровень с краями.

«Ой, вернись!» — словно нашептывал кто-то в уши Алексею, но он все ехал и ехал: уж таков был у него характер — в моменты опасности лезть напролом.

Костя, словно подсказывая хозяину разумное решение, остановился и начал осторожно поворачивать сани, но Алексей сердито рванул вожжи, и конь, с трудом одолевая напор пурги, покорно побрел вперед.

Волчий вой и разбойный свист бури нарастали с каждой секундой. Белая тьма теперь уже так сгустилась, что Алексей видел только оголовки саней.

«Не буду ни править, ни неволить Костю; в такую пургу его легко сбить с дороги — пускай следит сам».

Алексей повернулся по ветру, подложил в изголовье мешок с пушниной и лег: он верил, что конь привезет его к человеческому жилью. И лишь только укрылся с головой, вой бури словно бы стих. А конь все так же рывками брел и брел сквозь белую ревущую стену. И по тому, как дергались сани, Алексей понял, что снегу уже нанесло в полубок лошади, что Костя с трудом проламывается сквозь свежие сугробы.

Сказалась ли усталость за все эти месяцы или движение саней по глубокому рыхлому снегу укачало Алексея, но он заснул и проснулся только, когда конь остановился. Алексей с трудом приподнялся: на него настрогало сугроб снега вровень с оголовками саней. Но лишь приподнялся он над санями, ураган подхватил его на белые свои крылья и не повалил только потому, что Алексей ухватился за оглоблю.

Вдоль оглобли пробрался к голове лошади и ногой попробовал дорогу впереди: «Не у обрыва ли остановился Костя?» Нога, обутая в валенок, наткнулась на что-то твердое. Алексей сделал еще шаг и уперся в забор: «Слава богу, добрался-таки до жилья!»

Забитая снегом и без того тяжелая барсучья доха разломила плечи. В голове шумело не то от воя и свиста бури, не то от радостного волнения. Только теперь Алексей осознал, как близко и он, и дрожащий, облепленный толстым слоем снега Костя были от края снежной могилы.

«За какой-нибудь час занесло бы вровень с дугой. И обнаружили бы нас только весною...»

Несмотря на теплую доху и валенки, его самого тоже била крупная дрожь. «В тепло! Скорей в тепло!» — шептал Алексей, продолжая ощупывать бревна забора. Рука его натолкнулась на обтесанный столб и чуть дальше — на дощатое полотнище.

«Ворота!» Алексей забарабанил в них руками и ногами.

— Открой-о-ой-те!

Но, как ни стучал, как ни кричал, никто не отзывался: рев пурги заглушил и стук и крики.

«Надо искать окно». Продвигаясь и влево и вправо от ворот, Алексей наконец нащупал угол избы, а чуть подальше занесенное снегом окно. Окоченевшими пальцами он застучал в раму. Вскоре в избе появился свет. Алексей побрел к коню, а через минуту-другую услышал грубый о́крик: «Кто там?» И одновременно увидел, как в крытых воротах волчьим зрачком замерцал огонек фонаря. Путаясь в полах дохи, Алексей завел коня на глухой, крытый двор мимо выхваченного из мглы светом фонаря огромного черного мужика. Мужик закрыл ворота на засов, молча взял Алексея за руку здоровенной своей лапищей, подвел к крыльцу избы, осветил фонарем дверь в сенях и сказал каким-то грозным утробным басом:

— Иди грейся, сам все управлю...

В передней комнате просторной пятистенной избы, потрескивая, горел жировик. В красном углу, на полке стояли медные складни икон и медные восьмиконечные раскольничьи кресты, лежали толстые книги в кожаных переплетах.

Добрую половину избы занимала русская печь с раскрашенным опечком. От нее несло жаром. Расписанная крупными, яркими, такими же как на опечке, цветами дверь во вторую комнату была закрыта. Но чуткое ухо Алексея уловило за нею какой-то подозрительный шорох и непонятный дробных стук — будто насаживали топор на топорище.

Алексей снял доху, положил на широкую струганую лавку, протянувшуюся от стены до стены, и сел. Только теперь он вспомнил о мешке с пушниной, оставшемся в санях. «Что он там долго?» — думал Алексей. Прошло с полчаса, а мужик все не возвращался. Шорох за

дверью и стук рукоятки топора о половицы не прекращался.

«Куда меня занесло?»

С мороза, в тепле, усталость с новой силой навалилась на Алексея. Постелив доху, он прилег. Правая рука его сжимала в кармане браунинг. «Дешево не дамся!» Алексей прислушивался к стукам в смежной комнате, к вою бури за стенами избы, ждал возвращения мужика. Вспоминались таежные истории с кровавыми развязками.

И все-таки жар от печки, усталость от нервного напряжения сморили: Алексей задремал. И, как недавно в санях, опять не помнил, сколько проспал. Проснулся от приглушенного разговора. Затаил дыхание.

— В самый раз! Благослови, господи!

Алексей сел, сунул руку в карман. Жировик был потушен. В темноте явственно услышал крадущиеся, как показалось ему, шаги уже не одного, а двух человек. Один из них чем-то тупо стучал по полу.

Алексей перевел предохранитель браунинга.

Он был теперь каменно-спокоен, как всегда перед выстрелом по крупному зверю. Осторожно ступая на половицы, два человека прошли мимо него, открыли заскрипевшую, примороженную дверь в сени и ушли.

Алексей продолжал сидеть на лавке. «Никто не видел, как я приехал,— думал он.— Следы замело... Деревня на берегу реки... Никогда не узнают, куда пропал человек с мешком беличьих и собольих шкурок...»

Ему казалось, он сидит так целую вечность.

«А может, они по своему какому делу?» Сунув браунинг в карман, Алексей снова лег.

Нависшая опасность расслабляет, утомляет до полного отупения. Говорят, приговоренные к смертной казни последнюю свою ночь спят особенно крепко. Не оборов усталости, Алексей мертвецки крепко уснул.

Утро после отбушевавшей пурги было такое тихое, белое, так сверкали, искрясь под солнцем, снега, что глазам было больно смотреть и на горы, величественным венцом обложившие раскольничью деревню, и на свежие наструги сахарных сугробов на широкой холстине реки под крутояром.

Стыдно было Алексею смотреть в глаза своих хозяев, приютивших его ночью.

Старику, бородатому одноногому Ксенофонту Батуеву было за восемь десятков, но выглядел он неизносимо крепким мужиком средних лет. Волосы на голове и в бороде у него были еще глянцево-черные, и лишь у висков их чуть намылила седина. Рот был полон зубов. Обветренное лицо почти без морщин освещали много повидавшие на своем веку умные, добрые глаза.

— Господь да надежный конь спасли тебя, сынок,— сказал он Алексею.— В такой буранище в деревне, меж дворов, люди плутают и замерзают. Целые обозы гибнут. А ты один вон откуда добрался. Как отдохнул-то, сынок?

— Спасибо, дедушка, отоспался, как дома,— покраснев, солгал Алексей. Особенно неловко было ему смотреть в глаза «огромному черному мужику», который, открыв ворота, впустил его в дом, а потом, оставшись на дворе, распряг Костю. По-хозяйски выдержав коня на выстойке, он накормил, напоил его и, укрыв попоной, поставил к яслям в конюшню. Мешок с пушниной подвесил в амбаре на перекладине, чтоб не погрызли шкурок мыши.

«Огромный черный мужик» оказался совсем еще молодым восемнадцатилетним парнем. Звали его Силантий. Он был очень высок, почти на полторы головы выше Алексея, широкоплеч, тонок в талии. Все в нем было крупно, но пропорционально-красиво. На высокий белый лоб волной падали густые иссиня-черные волосы. Над твердыми, властными губами резался первый ус. Большие, как и у деда, карие, почти черные глаза парня тоже сверкали умом и добротой.

С первых же его слов Алексей проникся к Силантию не только доверием, но и теплым, дружеским чувством. Силантий напоминал ему большого ребенка с детски бесхитростным сердцем и в то же время бесстрашного богатыря, способного на любой подвиг.

Они еще только перекинулись несколькими словами, обычными при первом знакомстве, а разбираемый любопытством Алексей, зная, что Силантий не соврет, спросил его:

— Куда вы ходили с дедом ночью?

— В кузницу, медвежий браслет ковали...

— Какой такой браслет?

— Пойдем, покажу; ты поди еще и не видывал зверовой-то ловушки-самоковки...

Силантий раскрыл ворота сарая и указал Алексею на угол, в котором лежала груда железа.

— Вон он. Погоди, вынесу его на свет и насторожу.

Легко, точно игрушку, парень вынес двухпудовый капкан на двор.

— Теперь смотри — учись, как настораживать эту чуду.

Силантий явно гордился и капканом, какой он сковал со своим одноногим дедом, и уменьем обращаться с ним.

— Без невольки [1] не сжать пружин и не насторожить душу,— негромко, как бы про себя, выговорил он.

Силантий довольно долго провозился с ловушкой. Жилы на покрасневшем лбу парня вздулись. При помощи рычажка он сжал пружины и насторожил дужку. Медвежий браслет с раскрытой, точно оскаленной зубатой пастью — на толстых, шириною в ладонь, дугах его были выбиты полувершковые зубья — выглядел так устрашающе, что у Алексея по спине пробежала дрожь.

— А сейчас гляди!

Силантий взял стяжок толщиною в оглоблю и дотронулся им до насторожки. Капкан, точно живой, подпрыгнул и со звоном захлопнул челюсти. В руках парня остался словно топором отсеченный обрубок. Алексей восхищенно ахнул:

— Вот это браслет! Да ведь из него не только медведю, а и слону не вырваться!

— В такую страхилу дедынька Ксенофон заместо медведя сам попал. Уцелел, но отрезал ногу.

— Сам отрезал?!

— А кто же в тайге? Конечно, сам. Видел, сколь чувствительна у ловушки душа: ногтем ее задень — сразу же сработает, и уж клыкастые дуги будут держать медведя до скончания века.

— Какая душа? Дужка?

— Не дужка, а душка-а. По-нашему же — капканья душа,— поправил его Силантий.— Потому, что это заглавная часть в капкане, все равно что душа у человека. Вынь ее из ловушки — и будет одно мертвое железо...

«Медвежий браслет», «капканья душа», «будет держать до скончания века». Эти выражения вонзились в сознание Алексея.

---

[1] Палка-рычаг.

Силантий Батуев помог Алексею увидеть и понять самобытный, суровый уклад жизни чащевитян.

— Может, и справедливо говорил тебе твой дядя Миша про раскольников, что убить иноверца им ничего не стоит. Только...— Силантий помолчал,— только, Алексейша, и раскольники разные бывают.

— Я и сам теперь вижу, что разные,— глядя в большие ясные глаза Силантия, улыбнулся Алексей. Он с удовольствием смотрел на него: рослый, широкоплечий парень низко, по самым крестцам, перепоясывал зипун домотканой опояской, отчего казался еще выше, сильней, молодцеватей. Нравилась Алексею и манера Силантия говорить: раздумчиво, не спеша, он словно взвешивал каждое слово.

— Конечно, если бы тебя с твоей пушниной да в такую ночь завез конь к Абросиму Пеганову или к Евлахе Тощему...— Силантий снова помолчал несколько секунд и докончил: — Не знаю, довелось ли бы нам с тобой и в горячей баньке попариться, и в тайгу попромышлять сходить.

— Как — в баньке попариться? И почему в тайгу? А собрание? Я тороплюсь домой.

— Торопись не торопись, а раньше как через четыре, а то и пять дней охотников ни на какое собранье не вызовешь. Да и не пригодны будут они.

— Почему не пригодны?

— С вечера еще загуляли. Медовухи у всех наварено, хоть купайся. И нажарено, напарено, как на свадьбы. Сыстари так уж заведено у нас: вышли с промысла — гуляют, почитай, целую рождественскую неделю. Ну а мы с дедынькой не гуляем, и я тебе тем временем тайгу нашу покажу. Вижу, охотник ты, как и я, заркий. Может, и соболишку-другого погоняем. А уж горы, уж тайга у нас! Ну да сам увидишь.

Алексей подумал и согласился.

В тайге, в вершине безымянного ключа, где у Батуевых была родовая промысловая избушка, они прожили вдвоем всю «пьяную» рождественскую неделю. Силантий с самозабвенным азартом и охотился, и брался за самые трудные дела. Подняться на головокружительный крутик в белках только для того, чтобы обследовать, есть ли на кедровом стланике шишка, обежать многоверстную падь, чтоб разведать, остановился или ушел дальше потрево-

женный ним «проходной» соболь, когда они после целого дня лазания по горной тайге подходили уже к становью, для него словно бы и не составляло труда. Казалось, избыток энергии не давал покоя парню, и он не знал, куда и на что израсходовать ее.

Алексей представлял себе погибшего на охоте от пятидесятого медведя отца Силантия — Авдея Батуева, его одноногого восьмидесятилетнего деда Ксенофонта, нашедшего силы самому отрезать себе ногу, его предков, за тысячи километров забегавших в эту трущобную глушь, и думал: «Неимоверные трудности, выпавшие на их долю,— лучшая школа, выковывающая людей, подобных Силантию».

Молодой раскольник тоже надолго запечатлелся в памяти Алексея.

Запечатлелся и облик раскольничьей Чащевитки. Каждый дом, как древний кремль, обнесен бревенчатыми стенами с тяжелыми узорно-резными, ярко раскрашенными воротами. Крестовые дома и пятистенные избы срублены из вековечной лиственницы: и сто и двести лет простоят без износу. Большинство изб с окнами во двор, чтоб улица не соблазняла, не вводила в грех: «Девка еще и пухом не обросла, а тут тебе искусы всякие». Окна маленькие, высоко от земли, какие прорубали в допетровской Руси.

Мужики — один одного бородатей, и бороды «столь густы,— смеясь сказал Алексею Силантий,— залетит воробушек и пропал, не найдет, бедный, вылету».

«Под стать мужикам и бабы наши — рослые, грудастые, в воз запряги — повезет».

— Жизнь, сын мой, высокая гора: вначале подъем, а потом — неизбежный спуск. У тебя сейчас крутой подъем — лезь смело. Только ногу ставь твердо, чтобы не оскользнуться. Дело вы затеяли большое, а раз впрягся — вези, покуда терпят гужи.

В поворотные моменты жизни своих детей отец говорил серьезно, как обычно говорят много пережившие на своем веку люди, не с маху, не легкодумно. Учившийся всего лишь одну зиму, он многое понимал, умел и мог.

И сейчас, когда сын, готовясь к докладу на первом

уездном съезде охотников, поделился с отцом мыслями о целях и задачах союза, отец поддержал его.

— В жизни всегда так: хотя и трудновато в корню, но вези, не жалеючи сил, а уж дело вывезет и самого тебя.

И странно, из всего сказанного отцом именно эти последние слова гвоздем засели в мозгу Алексея.

И потом, уже много лет спустя, всякий раз перед зачином нового дела они неожиданно звучали в его ушах. И сам отец — широкогрудый, с крупными жилистыми руками русский умелец — всегда вставал перед Алексеем и ободряюще смотрел на него большими добрыми глазами, в которых светились всенародное терпение и мудрость.

Что дело затеяно большое, с особенной остротой Алексей почувствовал в зале бывшего Дворянского собрания, куда собрались на свой съезд делегаты промысловики-звероловы. Важность этого дела правленцы поняли, когда с мешками пушнины еще только начали съезжаться представители таежных промысловых коллективов: меха были собраны и в счет членских взносов с вновь вступающих, и в обмен на оружие, огнеприпасы, на товары. Жалкий магазинчик и такая же кладовушка городского Союза охотников-любителей в первые же дни были забиты шкурками белки, горностая, хорька, колонка, шкурами медведей, волков, рысей, лис, росомах и особо хранимыми, завернутыми в темный коленкор, чтобы не выцвели, связками алтайских соболей.

Лица правленцев сияли. Им уже грезилось и новое здание в центре города с магазином, благоустроенным пушным складом, с хранилищем огнеприпасов. На доклад Алексея возлагались большие надежды. По сути, это был не просто доклад, а и развернутая программа деятельности первого в губернии уездного Охотничье-промыслового союза, с ярко выраженной тенденцией: не только брать у природы, как искони делали все, решительно все заготовители пушнины, но и восполнять богатства тайги.

— Сразу же убеди делегатов,— говорили правленцы Алексею,— что продолжать рубить сук, на котором сидишь, нельзя. Пора немедленно браться за воспитание охотника-хозяина — охранителя, а не расхитителя даров природы.

С этим наказом Алексей и вышел на знакомый ему помост сцены.

У Алексея был четкий план доклада, разбитый на три раздела: «Охота и ее значение в жизни человека», «Краткий исторический очерк отечественной охоты» и «Цели и задачи Усть-Утесовского уездного промыслового союза охотников». Доклад был иллюстрирован выписками из книг советских охотоведов.

Такое время было тогда: не только съезды, но и обычные собрания стремились насытить общеобразовательными и профессиональными знаниями.

Взглянув в зал, Алексей ощутил невольный холодок в сердце: «Точно перед атакой!»

Зал был переполнен. Первые ряды заслуженно отвели звероловам-промысловикам. Это были задубелые, точно облитые полудою, бородатые лесовики, люди с орлинозорким зрением. Еще недавно они неутомимо гонялись за соболями. В одиночку поднимали из берлог медведей. С одноствольной шомполкой выслеживали рысей и волков. В жестокие морозы нередко спали у немудрых нодъюшек [1], а иногда и прямо в той же берлоге, из которой только что приняли на рогатину или на нож мохнатого хозяина. И какой же дорогой ценой — нередко ценою жизни — доставался им хлеб! Почти каждый из них годился бы в герои увлекательных приключенческих книг, интересных не авторским вымыслом, а той порою невероятной таежной охотничьей правдой, которой жили они с малых лет до старости...

Задние ряды и проходы впритирку заняли городские и пригородные охотники-любители. Хорошо знакомые Алексею экспансивные говоруны, созерцательно-мечтательные молчуны, отчаянные хвастуны, первоклассные, многоопытные стрелки, вечные неудачники-мазилы, но все одинаково одержимые неодолимым «дианиным» недугом, безрассудно толкающим их в любую черто-непогодь в горы, в луга и на озера, когда обывателя — осыпь золотом — даже и за порог не выгонишь. И старики, и молодежь, малограмотные и совсем неграмотные кузнецы и хлебопашцы, окончившие университеты адвокаты и инженеры — все пришли на первый уездный свой съезд, как на праздник.

---

[1] Зимний охотничий костер из цельных бревен.

Глядя на собравшихся в зале, Алексей невольно вспоминал слова Тургенева:

«...Русские люди с незапамятных времен любили охоту. Это подтверждают наши песни, наши сказания, все предания наши. Да и где же и охотиться, как не у нас: кажется, есть где и есть по чем... Вообще, охота свойственна русскому человеку: дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдет он бродить, в одних лаптишках, по болотам да по лесам, с утра до вечера. И не думайте, чтобы он стрелял из него одних уток: с этим же ружьем пойдет он караулить медведя на «овсах», вобьет в дуло не пулю, а самодельный кой-как сколоченный жеребий — и убьет медведя; а не убьет, так даст медведю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровеет, опять пойдет на того же медведя с тем же ружьем. Правда, случится иногда, что медведь его опять поломает; но ведь русским же человеком сложена пословица, что зверя бояться — в лес не ходить».

Перед ним были на редкость разные люди.

И всех этих разных людей надо было сплотить, зажечь, направить их помыслы на бережное отношение к родной природе. И именно сейчас, когда наша пушнина играет такую решающую роль в товарообмене с заграницей. Когда к ней, как справедливо писал один из известных охотоведов Москвы, «протягиваются со всех сторон хищнические руки, прикрытые разными вывесками и лозунгами; руки, желающие взять как можно больше без всякого интереса к сохранению основных запасов охотничьих богатств страны».

— Охота! — начал Алексей.— Слово, в котором, как утверждал поэт Мей, «слышится родимый разгул, родимое молодечество и удаль... Веет от него темным бором, безграничным полем, широкой волей, широким раздольем...»

Еще не так давно, до революции, ее считали пустой барской забавой. Теперь бар нет, но и сейчас находятся люди, которые понимают охоту как «атавистический предрассудок» и «феодальный пережиток». Бесполезно спорить с ними: они ханжески вопят о кровожадности охотников и в то же время с превеликим аппетитом лакомятся рябчиками и куропатками. Да и где им понять ту поистине животворную силу, которая таится в

охоте, сохраняя охотникам до седин молодость души и тела.

Для первых обитателей иашей планеты, как справедливо свидетельствуют историки, охота была единствеиным средством к существованию. Оиа разбудила спящий гений человека. Благодаря охоте человек получил первые понятия о жизни природы. Охота выковала бесстрашие и ловкость мужествеииого вoииа, толкиула пытливый ум человека в науку и искусство.

Историк Геродот утверждает, что воспитаиие у древних персов состояло в том, что молодежь приучали ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду.

Не могу удержаться от желания привести поистиие поэтическое высказываиие об охоте и охотниках одного из величайших натуралистов мира — Брема.

Алексей отпил глоток воды и стал читать:

— «Я знаком с удовольствиями жизии охотника, потому что охотился во многих страиах, целые месяцы без остаиовки предавался этому делу и могу сказать, что такое охота и жизиь охотиика.

Но как облечь в слова то, что охватывает и покоряет мужское сердце и будет производить это действие до тех пор, пока будут биться мужские сердца?..

...Оиа... открывает ему ужасы и великолепие пустыии и возвышает ему сердце, между тем как другие сердца трепещут; она освещает ему сказочный мрак девствениого леса и сиаряжает его в бой со львами. Оиа делает еще более: учит его и стремится сделать из него человека, благородного телом и духом... она учит его голодать, терпеть жажду и лишения, быть сиосливым и довольиым, отгоияет от иего заботы, разглаживает чело и делает сердце свободиым и великим, твердым и мужествеиным. Ибо, когда дело косиется серьезной охоты, когда придет иужда защищать отечество от ярости врагов, спасать жеиу и детей, тогда охотиик почувствует, как Тель, что его оружие, которым научила его владеть охота, может служить к лучшей цели, чем убиеиие иевинных животиых: он идет иа поле битвы и сумеет воспользоваться вериым ружьем. А когда благородное дело окончится, он опять возвращается в лес, в ием смолкает мелкая суетность человека...

...Годы убеляют его голову, ио щеки цветут даже в старости: сердце его остается вечио юным в зеленом лесу,

Вот что я называю настоящей жизнью охотника, вот что значит для него охота».

По залу прокатился гул одобрения.

— Заканчивая раздел о том, что такое охота, я не могу не отметить, что не случайно же великие люди человечества, и в первую очередь Владимир Ильич Ленин, с радостью отдавали часы своего досуга именно охоте.

А исполин нашей литературы Лев Толстой, а поэты охоты Тургенев, Некрасов, Аксаков и страстный рыболов (рыбная ловля — тоже охота) Чехов!.. А композиторы — Вебер и Рахманинов, художники — Левитан и Степанов!..

И как же обогатила красками и звуками этих гениев охота!.. Сколько тончайших наблюдений над людьми, над жизнью природы подарила им она!

И вы, сидящие здесь, товарищи охотники, в большинстве своем тоже натуралисты. И ваши наблюдения могут пригодиться науке. «Постоянное общение с природой и занятие одним и тем же любимым делом настолько изощряют у охотников наблюдательность, что в этом отношении с вами не сравнится никакой специалист-зоолог хотя бы и с прекрасной теоретической подготовкой, но имеющий мало полевого опыта»,— справедливо пишет один из крупнейших современных охотоведов — профессор Дмитрий Константинович Соловьев.

Алексей окинул глазами слушателей и по лицам их понял, что они горды своей причастностью к славному племени охотников.

— Я не могу, хотя бы бегло, не коснуться истории охоты. Сделать это нужно для того, чтобы всем стала ясной картина катастрофического падения охотничьего промысла, а отсюда и необходимость разумного регулирования охоты.

Уже с восемнадцатого века охотничьи богатства, которые казались неистощимыми, стали быстро убывать. Истребили соболя, исчезли лоси, туры, зубры, сохранившиеся лишь под строгой охраной в Беловежской пуще. В Крыму на грани полного истребления оказались олени, турачи, каменная куропатка. Бездумно, безжалостно вырубались вековые дремучие леса, распахивались ковыльные целинные степи. Но не только лесорубы, пахари, неотступно наступающая цивилизация, а и сами охотники способствовали сокращению зверя, падению промысла:

охота в недозволенные сроки и недозволенными способами, отстрел самок лосей и маралов, загаивание по насту, сбор яиц, пускание палов во время гнездования птицы. Нарушенное равновесие между приходом и расходом немедленно отозвалось падением охотничьего промысла...

— Запас зверя и птицы за время революции значительно увеличился,— говорил далее Алексей,— и это увеличение необходимо использовать не хищнически, а по-хозяйски.

Но по-хозяйски ли целыми стадами загонять лосей по насту? Безжалостно истреблять коз во время перекочевок на переправах через реки, когда зачастую охотник не в силах вывезти из тайги даже и десятой части мяса и пользуется только шкурами животных?..

А во что обходится халатность промысловиков, оставляющих по окончании промысла тысячи настороженных ловушек, в которые звери и птицы попадают всю весну и лето? А лесные пожары, возникающие от не потушенных костров праздно шатающимися, неумелыми, выросшими на асфальте горожанами, испепеляющие миллионы гектаров тайги, обращающие ее в пустыню!..

Конечно, для правильного ведения охотничьего хозяйства необходимы и суровые законы, карающие за нарушение их. Но даже самый беспощадный закон не предотвратит падения промысла, если сами охотники не будут кровно заинтересованы в охране полезных животных.

Пропаганду разумного хозяйственного подхода к своим природным богатствам необходимо начинать немедленно.

И не только среди взрослого населения, но и в начальных школах, в пединститутах и университетах.

Необходимо немедленно переходить от безучетного пользования «божьими» дарами к новому порядку, как этого требуют наши ученые-охотоведы,— дичь должна стать объектом хозяйственных забот организованных в союзы охотников.

И не пора ли привлечь к действенной охране нашей фауны полумиллионную армию квалифицированных работников леса и лесной стражи, повседневно находящихся в лесу? Не пора ли материально заинтересовать лесников в поимке браконьеров?

Только организованный в союзы, неустанно воспитываемый, любящий родную природу, морально и мате-

риально заинтересованный в сбережении птицы и зверя охотник совместно с такими же заинтересованными охотниками-промысловиками и лесниками смогут остановить массовое браконьерство, проводить культурно-хозяйственные мероприятия в наших еще и до сего времени величайших в мире охотничьих угодьях.

Никакие чиновники, посаженные руководить охотничьим хозяйством, не наведут порядка в большом, сложном и важном для Советского государства деле охоты, если этого не сделаем мы сами!

Зрячие, не желающие видеть,— дважды слепцы! Не понимать, не видеть этого нельзя!

Как и с чего будем начинать мы наше большое, важное дело, я буду говорить в третьем разделе моего доклада.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда и при каких обстоятельствах Алексею пришла в голову мысль об издании в захолустном Усть-Утесовске первого не только в Сибири, но и в Советском Союзе охотничьего журнала, он никому не рассказывал.

Весь день Алексей был задумчив, томился без какой-либо причины, а вечером заседлал Костю и поскакал в горы. На вершине пристанской сопки, у подножия которой раскинулся город, спешился. Наплывал тихий мартовский вечер. Кругом еще сверкали белизною, синели, лиловели в закатный час захрясшие, обдутые зимними ветрами снега. И здесь-то, на высокой пристанской сопке, Алексей почувствовал первое дыхание весны.

В ее волнующем душу охотника дыхании были и тонкий аромат фиалкового корня, и суховатая горклость оттаивающей на солнцепеках прошлогодней травы, и какой-то особенный, свойственный только этой поре года, пронзительный запах прижженного солнечными лучами снега и просыпающейся под ним земли.

Подобное Алексей улавливал и в прежние годы, но с такой полной, глубокой отчетливостью во всем своем существе он ощутил это впервые в жизни. Должно быть, то же самое по-своему, по-лошадиному, уловил и Костя. Конь повернул голову навстречу ветровой струе и, широко раздув малиновые ноздри, жадно втягивал потоки животворного воздуха.

Словно нежиой детской ладошкой волшебиица прикоснулась к лицу Алексея и раз и другой. Щеки его жарко запылали, как пылает закатное солнце в тихие предвесеиние вечера.

Алексей любил такие закаты с янтариыми, чуть холодноватыми иад засиежеиимн хребтами гор косматыми лучами. С детства ои безуспешио пытался ие мигая смотреть иа солице: этому его учила сказочиица бабка: «Переможешь, взгляиешь — миогого добьешься в жизни; смотрят же орлы иа солице!»

И в тот вечер Алексей тоже напряг всю свою силу, но виовь, как и всегда, в глазах у него замелькали радужные солица, куда бы ои ии взглянул — вверх ли, на небо, илн под иогн. Ои как бы ослеп на время, не видя ии иеба, ии стоящего перед ним коия, ни лежащего виизу родиого города. Лишь багровые да оранжевые пятиа плясали в его зрачках. И все же, упрямо тряхиув головой, ои снова уставился иа солице и заставил себя ие мигая смотреть иа иего ие меиее миуты. И, о чудо! Алексей победил свою слабость: смотрел иа солнце и уже не испытывал ни рези в глазах, ни багрового наваждения...

Солице село, а Алексей все стоял, глубоко задумавшись... И вдруг вскочил в седло и погиал Костю в город...

Яркая мысль, как солице: сиачала ослепляет, потом глаза человека неожиданно прозревают, и, увидев ее во всем блеске, ои уже не в силах единолично обладать ею — стремится поделиться с близкими ему людьми...

Остановил он коия у дома председателя Гриши Саронова.

То был знамеиательный в летописях захолустного городка вечер: вечер зарождения мысли об изданни первого в Советском Союзе охотничьего журнала.

Со времени уездного съезда прошло два года напряженной оргаиизационной, торговой и охотничье-хозяйствениой деятельности усть-утесовского союза. Союз окреп, создали сеть заказников на водоплавающую и боровую дичь, а в промысловых райоиах и на пушного зверя.

Охраиу заказиников возложили на созиательных охотииков, лесиую стражу, милицию, волостные и сельские Советы.

Но милиция и сельские Советы за редким исключением не принимали никакого участия в борьбе с нарушителями. Протоколы на браконьеров не рассматривались в судах.

— Нужно разрушить всеобщее убеждение в неиаказуемости виновных. Необходимо провести показательный процесс над браконьерами,— заявил Алексей председателю исполкома, который, к счастью, оказался охотником.

Помог случай: преступника, омертвившего Крутореченскую падь, удалось обнаружить. Им оказался Ника Пупок.

Одновременно с Пупком судили и другого браконьера — заульбинского рыбака Герасима Мухортова, пойманного на территории заказника за сбором утиных яиц. В лодке у Мухортова обнаружили и двадцать худых, еще не перелинявших зайцев, забитых им на заливном бужуринском лугу.

Общественным обвинителем охотсоюз выделил Алексея. И судья — страстный охотник, и общественный обвинитель провели первый показательный суд над браконьерами в переполненном зале Народного дома.

Виновников сурово наказали.

Прошло более полугода. Уже многие из охотников забыли о суде, но не забыл о нем Алексей.

Ему часто вспоминалось лицо немолодого рыбака в вытертом рыжем зипунишке, с насохшей на рукавах рыбьей чешуей. Казалось, только после речи общественного обвинителя рыбак осознал всю тяжесть своей вины перед природой: утиные яйца из гнезд выдирали, сукотных зайчих били по весенним разливам его отцы, деды, и никто их не судил за это...

И наглый хищник Пупок, и старательный, многосемейный рыбак Мухортов учились в школе, но ни того, ни другого школа не научила любить и беречь родную природу. Не научили их этому и родители, наказывавшие за не поднятую с пола крошку хлеба, но хвалившие детей за притащенные домой в картузах насиженные, негодные к употреблению утиные яйца.

Вспоминая осужденного рыбака, Алексей почему-то всегда чувствовал себя в чем-то виноватым перед такими, как Мухортов, людьми.

В день поездки в горы, утром Алексей встретил жену осужденного рыбака. Она со злобой посмотрела на него

и отвернулась. Сердце Алексея пронзила острая жалость к несчастиой женщине: «Наказали ие столько Мухортова, сколько ни в чем не повиииую его семью. Он будет сыт казеииым хлебом, жеиа и дети — голодать».

Созиаиие своей причастности к этому делу ие давало покоя Алексею. И в правлеиии и дома Алексей часто был задумчив, хмур. Ои считал себя пожизиеино предаииым охотничьей страсти и иеразрывио связаииому с иею делу охраиы родиой природы. Убеждеи был, что его долг — пробуждать в людях любовь к ией. «Обратив в пустыню леса, обезрыбив реки, темиый слепой человек сам себя покарает,— думал ои.— А ты вздыхаешь только...»

Наполиеииая жизнью, свистом и щелком птиц, милая, памятиая с детства Крутеречеиская падь, тысячи живописиых урочищ Алтая и Сибири представились ему искорежеиными огием, оголеиными пилой и топором. Гииющие трупы деревьев, мертвое безмолвие иепригодиых ии для земледелия, ии для скотоводства пустыиь, возиикших зачастую ие по необходимости, а по недомыслию, по злой воле человека...

Перед его глазами встала трехсотлетияя сосиа, гордо возиесшая зелеиый шатер крои ы над крутояром. Чего только ие повидала оиа! Какие грозы и урагаиы ие проиосились иад иею!

И с каким же древиим смертиым криком, с какой последией смертиой дрожью повалилась оиа, все ускоряя и ускоряя движеиие! С каким надсадиым треском рвались последиие артерии могучих ее корией! В зелеиом вихре искромсаииой хвои рухиула оиа с утеса.

Так и возиикла в тот вечер раиией весиы мысль об издаиии охотиичьего журиала, о иеобходимости перевоспитаиия больших и малых мухортовых: «Хотя бы задержать, иа малое время приостаиовить от иемииуемой гибели то, что, погубив, уже ие восстаиовить. Никогда ие восстаиовить, сколько бы красивых слов ии говорили ради успокоеиия, оправдаиия иашей беспечиости, неоплатиой вииы перед потомками...»

...А возиикиув, мысль, точио искра в сухом хворосте, быстро разгорелась: даже иевозмутимо спокойиый Гриша Сароиов и коммерсаиты Прусов и Запрягаев увлеклись идеей издания своего охотиичьего журнала.

Нашлись и скептики. Член ревизионной комиссии врач Мукашов, глубокомысленно покачав красивой серебряной головой, изрек:

— Ни Москва, ни край, ни губсоюз о широком просвещении пока что не думают, накапливают средства. Вот когда сверху дорожку укажут, ну тогда еще...

Но неожиданно Мукашова резко осадил председатель:

— Конечно, жевать жеваное — зубов не требуется. И купец, обворовывавший охотника, накапливал капиталы, но в том ли смысл? Конечно, идти первыми в снежный уброд дело не легкое. А вы, Евгений Евгеньевич, в начале атаки не «ура», а «караул» закричали!

Алексей промолчал: чутье подсказало ему, что уже никаким Мукашовым не удастся помешать начатому делу.

— Дорогие товарищи! — как-то особенно торжественно заговорил Гриша Саронов на очередном заседании правления.— Не единым хлебом жив человек. Вопрос об издании охотничьего журнала считаю решенным! Всю подготовительную работу правление возлагает на Алексея Николаевича. Ему же поручается разработать подробную программу и внести предложение о наименовании журнала.

— «Охотник Алтая»! — выкрикнул Алексей.

Правленцы молчали: каждый из них представил себе на обложке звучное имя новорожденного их детища.

Алексей окинул взглядом присутствующих и увидел, что лица всех, в том числе и Мукашова, светились радостью.

«Иначе и быть не могло»,— подумал он.

С заседания не хотелось расходиться: всем виделся «Охотник Алтая», первое творческое прибежище; каждый уже считал себя постоянным его сотрудником, автором статей, стихов, рассказов. Никто не думал о том, что в Усть-Утесовске с его двенадцатью тысячами жителей в то время не было ни типографии, кроме брошенного бежавшим за границу купцом кустарного предприятия с двумя ручными печатными станками, что нет ни бумаги (даже губернская газета выходила на желтой оберточной), ни цинкографии, ни сносной краски. А из списка «постоянных сотрудников» до сего времени ни один не напечатал не только рассказа или стихотворения, но даже и заметки...

— Надо твердо верить в свои силы. Без веры и сарая не построить,— Алексей говорил это для Мукашова.— Смелость без ума опасна, но и ум без смелости — бесплоден... Понятно, первые шаги будут трудны. Лиха беда начать, а начнем — и к нам придут более опытные, чем мы, люди. Придут и помогут — дело же будет расти и крепнуть.

Разошлись поздно. Алексей долго бродил по спящим улицам. Над головой мерцали крупные алтайские звезды. В весенней черноте ночи они сияли особенно ярко: «Величие мира глубже познаешь в звездную ночь, а друзей лучше всего в такие часы, как сегодня: какой хороший подобрался народ! Прекрасен мир, но прекрасней всего человек с его неутолимой жаждой добра».

Фразы, возникавшие одна за другой, текли и текли. Алексею казалось, что в такую ночь, как сегодня, он смог бы писать стихи.

«Есть ли прочное счастье на земле? — думал он.— Давно ли мне казалось, что все, решительно все в мире бесцельно, что единственно ценно и важно только то, чего уже нет и никогда не повторится больше. Какой ненужной казалась жизнь! А сейчас? Прав отец, надо только уйти с головой в дело, чтоб жить. И я нашел это дело!» «А личное твое счастье, Алексей?» — словно кто-то шепнул ему в уши.

— Вера! Верочка!

Эти слова вырвались неожиданно. И только когда Алексей вслух произнес имя Веры, он впервые понял, что и у него есть на земле близкий, родной человек, который по-прежнему любит его и простит ему все.

В ночном сумраке Алексей отчетливо видел лицо Веры: ее любящие, верные глаза, дрогнувшие губы и у приустных ямок — две горькие складки не то от боли, не то от обиды...

«Она умная, добрая, она поймет и простит: ведь любить — это значит понять, а поняв, простить».

Он все ходил и ходил по улицам спящего городка и не чувствовал усталости: ведь, прижавшись к его плечу, ходила и, разделяя его радость, смотрела ему в глаза Верочка Стрешнева.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

В Охотсоюзе Алексей чувствовал себя на передовой линии жизни: и организаторская деятельность, и доклад на съезде, и показательный процесс над браконьерами — все, вплоть до тщательно продуманной программы «своего» журнала, оказалось ему по плечу. Но как подготовить и выпустить первый номер первого советского охотничьего журнала в Усть-Утесовске, ни он сам и никто из членов редакционной коллегии не знали. Дореволюционные охотничьи журналы издавались в столицах опытными людьми, печатались на отличной бумаге, с иллюстрациями первоклассных художников. А тут единственная на весь город и уезд кустарная типография, с грехом пополам печатавшая учрежденские анкеты и бланки на бумаге заказчиков! Ни одного литератора, ни художника, ни цинкографии!

Но раз надо, так надо! Прусов побежал к дружкам-кооператорам в губсоюз и уговорил их обменять пшеницу, полученную в счет членских взносов, на желтую оберточную бумагу.

— Что вам завертывать? Селедки? Мыло? Но где селедки? Где мыло? А нам она нужна для журнала. Понимаете, для журнала!

Пшеница была дороже бумаги — губсоюзовцы согласились. Работников типографии уговорили за набор и печать получать куропатками и зайцами, добытыми на охотничьих воскресниках. Осталось самое главное — материал для номера.

Чтоб подхлестнуть членов редакционной коллегии, Алексей взял на себя и передовую, и установочную статью «О задачах Усть-Утесовского уездного промыслово-охотничьего союза». И даже рассказ для литературного отдела.

В передовую, вылившуюся за один присест, Алексей вставил слова, сказанные им скептику Мукашову: «Мы знаем, что найдутся и маловеры, которые будут недоверчиво качать головами и иронически улыбаться. Таким мы скажем: «Смейтесь! Вы всю жизнь только и делали, что смеялись, оставаясь в стороне и умывая руки».

Возможно, мы в чем-то и ошибемся, но все же будем служить горячо любимому делу!..»

Справился и со статьей о задачах союза, включив в

нее мысли из своего доклада на съезде. А вот с рассказом застопорило: Алексею не хотелось повторять зады дореволюционных охотничьих журналов. «Только по-новому! К дьяволу замызганные штампы охотничьей беллетристики!» — думал он, не отдавая себе отчета в том, что следует велению времени. В столичных центрах зарождалась новая литература, звучали стихи и песни молодых поэтов, композиторов. Так ранней весной, когда кругом еще белеют снега, на обнаженных взгорьях появляются первые подснежники. И как же радуют они глаз!

В Москве гремели стихи Маяковского, яблоневым цветом расцветала поэзия Есенина. Проза еще только зарождалась. Вначале она шла с полей гражданской войны, чуть позже со всех концов страны. В Новосибирске появился толстый журнал.

До Усть-Утесовска центральные газеты и журналы докатывались в единичных экземплярах. Алексей просиживал все вечера в местной библиотеке, а дома тайно от всех «пробовал голос» в стихах и прозе. Писал и уничтожал: таким жалким казалось ему все, что выходило из-под его пера. Схватив томик Толстого, он — в который раз! — принимался за чтение любимых «Казаков».

И вновь садился к столу — пытался строить фразы по-толстовски, усложняя, удлиняя периоды, насыщая их, как ему казалось тогда, «глубоким» содержанием...

Однажды библиотекарша положила перед ним первый номер журнала в бледно-зеленой обложке. На ней красной краской церковнославянскими буквами было напечатано: «Сибирские огни».

Краевой литературный первенец открывался повестью «Четыре главы» неизвестной писательницы Лидии Сейфуллиной. Не выходя из библиотеки, Алексей проглотил повесть. И тут же решил: «Вот как надо писать!» За ночь он извел тетрадку бумаги, теперь уже пытаясь строить фразу из двух-трех слов.

Но «рубленая проза» в «Четырех главах» была только поиском талантливой писательницы. Уже во втором номере «Сибирских огней» Сейфуллина опубликовала рассказ «Правонарушители», в котором отбросила кажущуюся новизну формы. Главным в рассказе было его содержание.

Яркость типов, характеров, общественная значимость рассказа взволновали Алексея.

«Оказывается, она тоже ищет себя. И, кажется, в этом рассказе нашла свой стиль. Главное — новые люди и их судьбы... Ее сила в беспощадной жизненной правде»,— думал Алексей.

Современники Лидии Сейфуллиной в поисках «новой формы» шли более длительными и извилистыми путями. Многие из них в погоне за оригинальностью возводили нарочито-клочковатые конструкции произведений. Некоторые свои романы и повести начинали с конца. Иные строили их совершенно без сюжетов, тщательно затеняя основное, выпячивая детали, культивировали «стиль намеков».

Формалистические выверты, маскарадность словесных одежд утомляли, отпугивали читателя.

Всероссийский успех произведений Лидии Сейфуллиной о новых людях города и деревни, написанных выверенным, точным языком, с выразительными, подлинно народными диалогами, насыщенными острым социальным содержанием, был совершенно закономерен.

Полюбил творчество Сейфуллиной и Алексей.

Как все самоучки, он много думал над «тайной» успеха «Правонарушителей» и пришел к выводу: «Замок славы открывается ключом труда».

И снова брался за очередной рассказ, а закончив, снова уничтожал его.

Теперь же надо было написать рассказ так, чтобы напечатать его в «Охотнике Алтая»; последний срок сдачи рукописи — послезавтра. Крайняя нужда — лучший погонщик: «Не встану, покуда не напишу».

С холодком в сердце Алексей сел писать рассказ уже не ради тренировки, а для печати.

«Долой пошлую старину!»

Он перечитал множество рассказов в дореволюционных охотничьих журналах, в подавляющем большинстве которых бытовали набившие оскомину вульгарные описания того, как «поклонник благородной Дианы» из своего «верного «Лепажа» или «Зауера» красивым дуплетом срезал пару увертливых долгоносиков. Как затравили волка или лису, а по первой пороше тропили наделавшего множество сметок «голубого матерого русака», как под «чарующую песню» глухаря охотник подскакивал к нему и, выцелив «в неверном свете занимающейся зари бородатого красавца», сразил его...

«Все это отжило свой век вместе с помещичьей Россией.

Исследование поэтической души охотника, воспитаиие в нем навыков бережливости, любви к природе — вот что должно быть в современном охотничьем рассказе».

Замысел первого рассказа Алексей продумал до мельчайших подробностей. Он отчетливо видел героя своего будущего рассказа — от порыжелых солдатских сапог до крупной, коротко остриженной головы. И не только видел, а, как казалось ему, проник в его душу.

Особенно же ценным Алексей считал то, что это был не выдуманный им герой, а подлинный, живший в их городе, известный многим усть-утесовцам, одаренный незаурядной фантазией, вечный неудачник, вообразивший себя первоклассным охотником-волчатником — милиционер Николай Пименов. Неудачи своих охот он с лихвой восполнял пылким воображением. И сам верил в выдуманные свои приключения.

Что-то от классических Тартарена из Тараскона, Дон-Кихота и барона Мюнхаузена мирно сосуществовало в мятежной поэтической душе его героя. Ночи напролет, покатываясь от хохота, усть-утесовские охотники слушали фантастические приключения «растоковавшегося», не чуявшего под собой земли рассказчика. Простудившись на одной из весенних охот, Пименов умер год назад. С него и хотелось Алексею начать галерею портретов своих земляков, пожизненно одержимых необоримой страстью к охоте. «Памяти поэта-охотника» — озаглавил он свой рассказ. И рассказчик, и слушатели — охотники, окружившие Пименова, как живые, метались перед глазами незадачливого автора, но начать повествование Алексей не мог. Вернее, начинал много раз, но перечеркивал и рвал.

«В нашем городе жил милиционер Николай Пименов...»

— Вяло! Необходимо с первых же слов взять быка за рога.— Алексей просидел за столом уже несколько часов, но дальше названия дело не продвинулось ни на шаг. Мать дважды звала его ужинать.

— Мама,— приоткрыв дверь, сказал он,— ни ужинать, ни завтракать, ни обедать я не буду, пока не начну, а начав, не кончу!

— Это что за новости из Уланской волости?..— возразила мать, но Алексей захлопнул дверь.

И вновь начались муки — до головной боли, до сухости во рту. Прежде чем написать фразу, Алексей произносил ее вслух. «Я заседлал Костю и выехал на первую охоту на шиловские луга. У Сакенькиного лога мне повстречался Пименов. Весеннее солнце жадно допивало остатки снега в логах. Прогретый воздух струился и дрожал».

— Не то, совсем не то. Неужто я и впрямь бездарная немая душа?

Только близ полуночи Алексей счастливо, как показалось ему, нашел нужное начало. Вот оно: «Кажется, афиняне считали несчастным того, кто не видел статуи и храма бога Гермеса. Я же считаю несчастным охотника-устьутесовца, не знавшего Николая Алексеевича Пименова».

Дальше рассказ полился непрерывным потоком. Истории одна за другой ложились на бумагу. Алексей ничего не придумывал, он лишь пересказывал охотничьи одиссеи Пименова, стремясь одновременно передать выражение и вдохновение сверкающих глазок рассказчика, и лиц окружавших его слушателей.

Караулка на шиловских лугах — излюбленное пристанище усть-утесовских охотников в весеннюю непогоду. Хлесткий дождь за окном, мерцающий огонек керосиновой лампы, слушатели, по́котом раскинувшиеся на кошме, и в центре — Пименов... Все легло на бумагу.

Давно отсверкало утро. Семья позавтракала и разошлась. Мать заглянула в комнату, увидела сына за столом и поспешно захлопнула дверь. Алексей не слышал, не видел ничего.

Рассказ более полупечатного листа написался за один присест. Днем Алексей прочел его членам редакционной коллегии. Закончив чтение, оцепенел в ожидании приго́вора. Все молчали, как показалось Алексею, подозрительно долго.

— Хорошо! — первым сказал добряк Гриша Саронов. Одобрил рассказ и скептик Мукашов.

Алексей побежал в типографию.

Только много позже, перечитывая своего первенца, он увидел все его слабости. И неумеренный пафос начала, и характерные для новичка частые нарушения ритмичес-

кого строя фразы, и чрезмерные преувеличения охотничьих историй. И хотя в рассказе Алексей добросовестно следовал самой подлинной правде, он убедился, что жизненная правда выглядит менее достоверной, чем художественная правда искусства. Рассказ получился многословный, рыхлый. Не найдены были единственно точные слова, яркие, впечатляющие детали. «Нагромождение мрамора — еще не статуя. Нагромождение впечатлений — еще не мысль»,— много позже вычитал Алексей чужие умные слова, убийственно верно определяющие явно недоношенного своего первенца. «Замок славы открывался ключом труда». Но осмысленного, кропотливого труда над рассказом и не было.

«Первое произведение! Оно всегда бывает слишком обширно и запутано: автор вкладывает в него весь свой запас мыслей и чувств, бурлящих, словно вода возле шлюза, но зато оно нередко бывает и самым лучшим произведением писателя»,— прочел Алексей у кого-то из классиков. Нет, этот рассказ не был лучшим произведением Алексея. Однако и ночью, когда рассказ упоенно писался, и после напечатания, когда его хвалили невзыскательные усть-утесовские охотники, автор был горд и счастлив: «А. Рокотов» — стояло в конце рассказа. Алексей впервые увидел свое имя напечатанным на бумаге. О, тщеславие! Тщеславие!

В первом номере «Охотника Алтая» было все как полагается — даже приветствие «Нашему первенцу» в стихах, написанное слесарем оружейной мастерской. И еще один рассказ кооператора Прусова, и обстоятельная статья старика Борзятникова «С оружием обращайтесь осторожно», и «Заметка о качестве дробовых ружей» горного инженера Белоусова.

— Ну ей-богу же, вполне солидно! — ликовал Алексей.

На обложке условия подписки: «Плата за полгода дензнаками 1923 года, с заменой денег пушниной по рыночной стоимости и другими продуктами по союзному эквиваленту».

Без единого клише — тоненькая тетрадка несуразно большого формата. Шрифтов в типографии не хватало, и статьи набирались разными шрифтами.

Незабываемая была ночь появления первенца на свет, когда все члены редколлегии и авторы поочередно крути-

ли ручку допотопного станка и, отпечатав листы, сами сброшюровали их.

Приняв номер из рук заведующего типографией, прижав к груди, Алексей вместе с другими авторами выскочил из душного помещения на двор.

И стук разбитого станка, и скипидарно-острый, неистребимый, как запах цирковой конюшни, запах типографской краски, и бледно-голубоватый под луной снег на дворе запечатлелись в памяти Алексея, как первая любовь.

«Год издания первый» — красовалось на обложке «Охотника Алтая». Год радостей, тревог и обрушившейся, подобно грому, грянувшему с ясного неба, скорбной вести о смерти Ленина.

Случилось это в момент выпуска десятого номера. В типографию вбежал бледный, запыхавшийся наборщик и, перекрывая шум, крикнул:

— Товарищи! Умер Ленин!

Бодрый, жилистый, всегда веселый старик — метранпаж Михеич, державший на весу сверстанную первую полосу журнала, которую он собирался поставить в машину, выпустил ее из рук. С тяжелым грохотом набор рассыпался по полу.

В типографии нависла свинцовая тишина. Всегда присутствовавший при верстке номера Алексей, оглушенный вестью, сам не зная, как это у него вырвалось, протестующе выкрикнул:

— Неправда! Он — жив!

А потом в маленькой, обшарпанной, пропахшей краской типографии началась большая кутерьма: наборщики, печатники бросились к кассам и станкам. Тут же, на столе метранпажа, вместо рассыпанной Михеичем передовой статьи Алексей написал некролог.

— Набирай и заверстывай, Михеич!

Обведенный траурной рамкой, под заголовком: «НЕПРАВДА! ОН — ЖИВ!» — некролог был напечатан в «Охотнике Алтая».

Домой Алексей вернулся на рассвете: вместе с товарищами ему легче было переживать свалившееся неизбывное горе.

— Осиротела, окаменела Россия, Николаич! Как будем жить без Ленина? — прощаясь с ним, сказал, утирая слезы, старый метранпаж.

Но жить было нужно.

Первый номер «Охотника Алтая» вышел тиражом двести экземпляров. Тираж второго — удвоили. Вместо четырех авторов его заполнили уже семеро. И, если первый номер без клише выглядел слепым, второй был с иллюстрациями.

На обложке — токующий глухарь на фоне горноалтайского пейзажа. Клише вырезал на меди доброхот — слесарь-оружейник.

Появились рисунки и в тексте — зайцы, лисицы, соболя — заставки и концовки. Производство клише наладили тут же в типографии.

Журнал встретил всемерную поддержку в укоме, в уисполкоме, где было немало охотников.

Завоевание читателя за пределами Алтая шло медленно, но верно. Не забыть впечатления, которое произвела на всех первая коллективная подписка Рязанского губернского союза охотников сразу на двадцать три экземпляра.

Такое же ошеломляющее впечатление на членов редколлегии произвели теплые приветственные письма и присланные в журнал материалы светил охотоведения: профессора С. А. Бутурлина, Д. К. Соловьева, В. Я. Генерозова. И все безвозмездно: ни за статьи, ни за рассказы редакция не платила ни копейки.

«Мы не одни, нас поняли, нам обещают помощь!» — торжествовали Алексей и его друзья.

И вдруг надвинулась беда: дела Усть-Утесовского уездного союза неожиданно пошатнулись. Семипалатинский губсоюз охотников, куда обязали войти членом усть-утесовское объединение, прогорел на пушнозаготовках и погубил все уездные союзы.

В кассе редакции ни копейки. Запас бумаги — на один номер. Платные работники редакции (а их было всего двое) — секретарь, он же и корректор и экспедитор, старик Борзятников и редактор Алексей, он же и выпускающий, и агент по сбору объявлений,— отказались от зарплаты. Типографщиков уговорили работать в кредит до лучших дней.

А в лучшие днн верилн безграннчно. И онн наступили. Воплн о помощн единственному снбнрскому охотничьему журналу былн услышаны: барнаульцы, ойротцы и новонпколаевцы в начале 1925 года вошлн в сонздатели «Охотника Алтая». К названию журнала было добавлено «н Средней Сибнри».

Пядь за пядью «Охотник Алтая» завоевывал террнторню Сибкрая.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Даже самый умный человек замечает всегда последннм, что он ведет себя недостойным образом» — не раз вспомнналась впоследствнн Алексею фраза, невесть когда н откуда выхваченная цепкой его памятью.

— Каждый день ты делаешь крюк, чтоб мнмо ее окон пройтн, а не думаешь, каково Верочке...

— Откуда ты это знаешь, мама?

— В нашем городе мудрено не знать, сынок. Только нехорошо мучить девушку.

— Да я совсем и не хочу ее мучить!

— А что получается? Она никуда, кроме своей школы, глаз не кажет. И туда и оттуда норовнт лётом перелететь, чтобы не столкнуться с тобой на людях. Мало ты знаешь, сынок, нас — женщин-однолюбок. Верочка — такая. Она одного тебя будет любить всю жизнь...

Алексей ушел в редакцню. И, как всегда за последнее время, не доходя до конторы Охотсоюза, свернул в знакомый переулок, прошел мимо дома Верочкн Стрешневой. И, как всегда, почудндось ему, что штора на одном нз окон колыхнулась.

«Может, н правда нехорошо, но я не могу иначе».

Через Фешатку Алексей знал, что Вера читает каждый номер «Охотника Алтая». Понимал, что только она одна искренне может радоваться его удаче, сострадать его горю. Ему очень хотелось зайти просто, как заходил он к ней раньше, и сказать: «Здравствуй, Вера!» «Но как я посмотрю ей в глаза? Еслн бы только Анна». Алексей представил, как в оторопелом испуге широко раскроются большие милые ее глаза, как побледнеет ее лнцо.

Смелый во всем, Алексей был робок до немоты, когда думал о возможности встречн с Верой.

Горько мне, когда ты, опуская
Темные ресницы, замолчишь:
Любишь ты, сама того не зная,
И любовь застенчиво таишь...—

шептал он строки бунинского стихотворения. Напрягая всю волю, чтоб не обернуться и еще раз не посмотреть на ее окна, Алексей убыстрял шаги, словно спасаясь от самого себя.

Стояла отличная, любимая Алексеем пора ранней, сухой, паутинно-стеклянной осени, время устойчивых запахов свежего сена, дегтя, золотых спелых дынь на шумном усть-утесовском базаре. Пора робкого еще румянца осин, полноценной, взматеревшей птицы, пленительных охотничьих зорь в выкошенных печально-обезлюдевших пойменных лугах. Время появления первых стай зажиревшей северной утки на озерах, грустноватого переклика отлетных журавлей в высокой лазури неба.

В такие дни даже трудолюбу Алексею немыслимо было высидеть до вечера за правкою статей и заметок, и он, кивнув старику Борзятникову, шел седлать Костю.

— Хозяйствуйте тут без меня, Григорий Евграфович...

— Идите, идите, дорогой мой! Я знаю, каково в вашито годы, да в такую пору, которую год ждешь, пропустить первую подвижку северянок. Их сейчас, поди, полно уже и в Бужурах да и на Шиловом,— тяжело вздохнув, напутствовал Алексея бывший его учитель, когда-то неукротимый охотник, добрый, безнадежно отяжелевший старик.

Но и спеша на охоту, Алексей все-таки свернул в заветный переулок: казалось, лишив себя этой радости, он не будет полностью счастлив и на вечерней зорьке на излюбленном озерном перешейке в бужуринских лугах, и ночью у костра один на один со всей прелестью мира, с звездами над головой, с невнятными шорохами и писком зверушечьей мелкоты...

Не пройти мимо Вериных окон Алексей не мог и потому, что это была бы новая, уже ничем не оправдываемая измена Вере.

«Если Анночка была святая, всесокрушающая на своем пути первая любовь, а Лариса и Тина — только неодо-

лимый, темный дурман в крови, то теперь, когда все уже миновало,— Вера одна с ее душевной ясностью живет в моем сердце. Ну как же можно еще раз изменить ей?»

«Дальше так продолжаться не может! Я должен высказать ей все!»

Действенная натура Алексея не могла мириться с неопределенностью: «Любимое дело, родной город и в нем — чистая, любящая душа! А ты чувствуешь себя так, будто остался один на всем белом свете!»

Возможно, удачное начало журналистской деятельности, первые его рассказы, жажда поделиться радостью с близким существом повлияли на решимость Алексея. А может быть, мать, не устававшая твердить ему: «Верь мне, сын, лучше ее не найти — и жена, и хозяйка, и мать детям будет».

Всегда сдержанный отец, по своему обыкновению, иносказательно изрек:

— Говорят, первая жена от бога, вторая от людей, третья от беса. А иной раз, сынок, людям-то со стороны видней бывает.

Алексей понял намек отца.

Мысль, что он так и не найдет в себе мужества встретиться с Верой, пугала Алексея. И обострилась эта мысль именно после опубликования первого рассказа, когда в простоте душевной он вообразил себя не только журналистом, но и писателем: «Верочка — твоя судьба! Никаких метаний. Только она с ее неколебимой любовью, умом и нежностью обеспечит душевный покой, необходимый для творчества».

Алексей как-то вдруг сразу и, как казалось ему, глубоко поверил в писательское свое призвание. А поверив, стал готовить себя к «великому подвигу», каким он считал жизнь русского писателя, вышедшего из народа.

«Верочка безропотно встретит любые трудности. Ты уже перебесился, у тебя святое дело. Необходимо отсечь все лишнее и думать только о том, что может способствовать творчеству»,— размышлял он, не замечая, что в такого рода размышлениях немало эгоизма.

«Я не имею права мучить дальше ни ее, ни себя! Завтра же вечером скажу ей все!»

Алексей долго не мог заснуть от жуткой и сладостной мысли, что в субботу вечером увидит Верочку. Под утро она приснилась ему: он пахал свой заиртышский Черепановский участок, а она принесла ему завернутый в платок, еще дымящийся в миске обед. Они сели тут же на пахотине и стали есть из одной миски.

Алексей рассказал сон матери.

— И ты вместе с ней съел весь обед?

— Съел.

Мать зажгла лампаду перед иконой и истово помолилась. А когда вновь повернулась к сыну, глаза ее радостно блестели:

— Иди с богом! А я тебя, как Христова воскресения, ждать буду.

Восторженный, почти священный трепет переполнил душу Алексея. И слова матери, и зажженная лампада как-то по-русски — строго, высоко выглядели в этот осенний субботний вечер.

Вошел нарядный, в неизменной своей парадной паре отец, собравшийся в церковь.

Слышал ли он разговор жены с Алексеем или обо всем догадался по их лицам, только и он убежденно сказал:

— Не робей, девушки трусов не уважают! Да и кто их уважает? Иди смело!

Ни запрягать, ни седлать коня Алексей не стал: к Верочке он, как на подвиг, пошел пешком.

Над городом опускался вечер. Широко, в полгоризонта разливался багряный осенний закат.

С детства волнующе-благостный колокольный звон, сзывающий верующих в церковь, словно предуготовлял Алексея к новой радостной жизни. Он шел, готовый и покаяться, и искупить вину.

Шел уверенно, смело: что-то сильное, отцовское ощущал он в эти минуты в своей душе. Но, свернув в ее переулок, почувствовал знобкий холодок. С сильно бьющимся сердцем, с тем блаженным страхом, с которым мы всегда предвкушаем счастье, ступил на знакомое ему до последней ступеньки крыльцо.

На пороге сеней Алексей столкнулся с матерью Веры — Аграфеной Дмитриевной. Маленькая, одетая во все черное старушка шла в церковь. Она на мгновение замер-

ла, безмолвно глядя на него большими, как и у дочери, глазами: испуг и радость одновременно мелькнули во взгляде, но она отвела глаза, и когда снова взглянула на Алексея, в них были лишь гордость и холод оскорбленной матери. Алексей не нашелся, что сказать Аграфене Дмитриевне. Он только низко поклонился ей и, рывком открыв дверь, шагнул в дом.

Увидела ли Вера Алексея, когда он проходил двор, или почувствовала его приход, только она бросилась к двери и, побледневшая, с прижатыми к груди руками, обессиленно прислонилась к косяку.

У порога они и встретились. И тут же, за один взгляд, решилась их судьба.

Как и в доме у Алексея, в комнате Веры, зажженная руками ее матери, теплилась лампада. Синие блики трепетали на узкой, девичьей, застланной белоснежным покрывалом кровати, на небольшом письменном столе, на лаковой поверхности шкафа, закрывавшего вход в крошечную комнатку, в которой когда-то она укрывала Алексея от козыревцев.

Какими словами начался их разговор, Алексей не помнил, но ему врезалось в память, как спустя какое-то время Вера сказала ему:

— Я всегда верила, даже и тогда, когда ты венчался с Анной, что рано или поздно ты придешь ко мне... И вот — видишь...— горько и нежно, всем своим видом выражая, что она все, все простила ему, как-то детски доверчиво положила Вера смуглую маленькую ручку и голову на плечо Алексея. Потом просто, как все, что она делала, повернула голову Алексея к себе и, глядя ему в глаза расширенными глазами, не скрывая пылающего в них огня, закончила: — Ведь я все время ждала тебя.

— Алексей никогда ничем не занимался спустя рукава,— сказал отец матери,— а всегда со всем сердцем: нацелился — идет, не останавливается. Только остановись — и никогда не дойдешь до цели. Так и с домом. Женился — вей свое гнездо. И совьет...

— Домок сведет рыльце в комок: ведь не подсильно же, отец, одному все сразу.

— Он теперь не один — у него жена. А добрая хозяйка — дороже золота. И правильно, что спешат. Жизнь

коротка, и дня упускать не надо. Упустили — значит, глупцы, значит, не вышли из ребячьего возраста, когда время не ценится. А что им не под силу будет — я помогу. Сруб купили? Купили, перевезли, поставили. А рамы, двери я сделаю. Дядя Михайло печь складет.

— Ну разве что вы с Мишаткой поможете — тогда, пожалуй, к зиме и дым из своей трубы успеют пустить. Дай-то бы бог!

Алексей и Вера многое успели сделать за короткий срок.

Недалеко от родительского дома пустовал селитебный участок, на котором ребята со всего квартала копали червей для уженья рыбы. Его-то и отвел горкомхоз Алексею под сельбище. На участок молодые хозяева перевезли купленный ими сруб.

«Дом строить — ночей не спать». И верно, Алексей и Вера недосыпали ночей. К зиме они не только «пустили дым из своей трубы», но и насадили молодой сад.

— Тот не человек, говорили в старину, который не построил своего дома, не вырастил возле него дерева, не народил и не воспитал в нем добрых детей,— хитровато сощурившись, отец окинул пытливым взглядом заметно пополневшую невестку. Смуглое лицо Верочки, вспыхнув стыдливым румянцем, так похорошело, что свекор с минуту радостно смотрел на нее и только потом продолжил: — А у вас и за этим, вижу, дело не станет. И хорошо, очень хорошо, что во всем она у тебя, сынок, покорливая. Лучше в дырявой лодке по морю плыть, чем с неуступихой, строптивой женёнкой жить. Выпьемте-ка теперь за внука!

И счастливый, захмелевший столяр до донышка выпил новосельскую стопку за будущего внука.

Костя был уже запряжен, Алексей одет в дорогу, а Верочка все еще не теряла надежды.

— Мама, может быть, хоть вы отговорите Алешу ехать с соболями в Семипалатинск,— обратилась она за помощью к свекрови, пришедшей проводить сына.— Боюсь я остаться одна в доме! — Ей хотелось рассказать родителям Алексея о напугавших ее разбоях на тракте, об участившихся за последнее время бандитских налетах в городе, но она побоялась растревожить их и неловко

перевела разговор: — Сны плохие вижу... Будто заболела, будто раньше времени начались, и я одна в доме...

Большие, лучистые глаза ее увлажнились. Скрывая слезы, она прикрыла лицо смуглой ладошкой, отвернулась к стене.

— И вправду, что же это, Алексей, во всякую дыру тебя: в тайгу — ты, с пушниной в Семипалатный — ты! — сказала мать.— Один за весь мир не челобитчик! Да и на дворе крещенский морозяка — слюна на полету мерзнет. У тебя и журнал, статьи разные, доклады. Это выходит: кто везет — того и погоняют. А что же торгаши ваши Прусов, Запрягаев?

— Мама, и тот и другой инвалиды. Да у них и ни коня, ни воза, а у меня Костя. На нем я, как на ковре-самолете, дело пытаное — раз только и выкормлю в дороге. А что мороз, так у меня барсучья доха.

— Алешенька, Верочка волнуется, сны нехорошие видит, да, видно, и сердце у ней вещует. А волноваться ей сейчас, сам знаешь... И не хотела я говорить, а скажу: на трахту эту зиму уж будто не один разбойный случай был...

— Ну, замолола мельница! — рассердился отец.— Алексею не впервой. Раз посылают, значит, надо: жизнь на печке не просидишь. А на трусливого много собак. У него и такой конь, и винтовка — его голой рукой не возьмешь. Верочке же, чтоб не страшно было одной, в ночевщики я Силантьича попрошу. Он хоть и старик, но все же в доме живой человек будет. Одним словом, раньше смерти умирать нечего. Езжай со Христом!

Алексей надел тяжелую барсучью доху, смушкованную офицерскую папаху.

Большой, широкий, в высоких черных валенках, в дорожной зимней одежде, он выглядел богатырем. Отец обнял сына и, целуя, шепнул:

— Трехлинейку полной обоймой заряди и держи под боком.

Алексей молча кивнул ему.

— Кормить в Убинском к Луке Егорычу заезжай: двор у него глухой, крытый, что твой сундук,— намеренно громко сказал столяр сыну, уже шагнувшему к порогу.

— Алешенька, и все-таки я боюсь! Как никогда не боялась. Права мама, сердце мое, видно, что-то чует. По-

береги себя ради нашего сына,— выскочив в сени и припав к губам мужа, не сказала, а словно вдохнула Верочка ему прощальные слова в самую душу.

Городок засыпал, лишь кое-где окна домов желто светились, пятная на завалинках снег золотистыми бликами.

С пушниной в Семипалатинск в эту зиму Алексей ехал уже второй раз. Выезжал он всегда в ночь. И так, что никто, кроме самых близких ему людей, о его выезде не знал. В дальний путь Алексей любил ездить только ночью: днем коня выматывали встречные и попутные обозы. Из-за участившихся грабежей на тракте извозчики сбивались большими партиями и от перегона до перегона растянувшиеся иной раз чуть ли не на версту обозы «из дуги в дугу» тащились шагом и только днем.

Завидев идущий впереди себя обоз, Костя прибавил ходу. Сравнявшись с последней подводой, рывком сворачивал с дороги в снег и по целику, на махах, так, что в снежной пыли и седока рассмотреть было нельзя, обогнав вереницу подвод, вновь «падал» на дорогу и шел той же размашистой, ходкой рысью. Но подобные обгоны всегда выматывали Костю, потому Алексей и предпочитал ездить ночью, когда тракт был безлюден. Так ехал он и теперь. Вспоминал страхи Верочки, видел умоляющие ее глаза: «Не спит, конечно. И вряд ли все эти четыре ночи будет спать спокойно... Хватит, больше не поеду,— сейчас ей действительно волноваться нельзя».

В Семипалатинск и обратно — четыреста верст. На выносливом, резвом коне Алексей обычно ездил четверо суток: на двухсотверстном пути он кормил Костю и сам отдыхал всего лишь раз в казачьем поселке Убинском, у дружка отца — Луки Загайнова. И сейчас ехал хорошо знакомой ему степной левобережной дорогой, которая и короче и ровней правобережного почтового тракта. Было морозно и тихо. Большая, чуть кособокая, светила луна. Дорога взблескивала на раскатах, натертых подрезами саней. Запряженный в легонькие салазки, Костя шел, высоко неся голову и время от времени перестригивая ушами: его настораживали далеко видные лунной ночью темные, полузанесенные снегом кусты полыни, а возможно, он чуял свежие следы волков, рыщущих по степи в морозные ночи.

Мерно постукивали копыта лошади, салазки поматывало на настругах: укачивало и, как в поезде, ездока клонило ко сну. Запахнув полы дохи, Алексей задремал. Заряженная винтовка и мешок с пушниной лежали под правым боком: даже полусонный, он все время ощущал их. Костя хорошо знал дорогу и не мог сбиться с нее и в пургу. В пути Алексей не раз останавливал его, слезал с салазок, разминался сам, давал отдохнуть коню, протирал ему обындевелые на морозе ноздри.

На рассвете, когда в Убинском кое-где бабы уже затопили печи, Алексей прибыл к знакомому казаку Загайнову — на «передо́х».

Крайний с приезда хозяйственный двор Луки Загайнова был действительно как сундук. Саженные заборы, службы, по-сибирски срубленные под одну крышу, прочно замыкали его.

На условный стук Алексея в застывшее окно тяжелые полотнища ворот вскоре распахнулись и, запустив гостя, снова закрылись.

От барсучьей дохи плечи у Алексея разломило, глаза слипались после бессонной ночи. Бородатый казак, выскочивший в зипуне внапашку, наклонился к нему и негромко, хотя никого на дворе и не было, спросил:

— Опять с пушниной, Николаич?

— Опять, Лука Егорыч.

— Ну так иди и ложись в горнице. Я приберу все и коня выкормлю. Баба каурдак[1] сготовит, разбудит...

— Долго спать не давайте, Лука Егорыч, часика два-три, не больше. Под потемочками в городе надо быть...

— Спи без думушки, как у себя дома, как я у твоего батьки. Как-то он столярничает?

— Здоров, велел кланяться...

— Ну иди и спи вволюшку. На твоем орле раньше потемок будешь в Семипалатном. Столько пролетел, а он ровно бы и не приморился нисколько. Я казак, век прожил, немало коней перевидел, а за всю жизнь у меня только один такой Соловко был: не кормя из Убинского до Усть-Утесовска тоже за ночь отмахивал. И тоже с тела не перепадал. Как у твоего Гнедка — у него по четыре колодца в каждой ноздре было... Оторвет сотнягу верст, раздует храпку, пыхнет разок-другой — и все...

[1] Жареное мясо.

Алексей уже не слушал давно и хорошо известный ему рассказ Луки Егорыча о Соловке. Он ощупью прошел в сени, нашарил дверь и шагнул через порог в желанное избяное тепло...

Деньги за двадцать семь собольих шкурок, конфискованных по суду у злостных браконьеров, лучший в уезде таежный охотничье-промысловый коллектив решил частично использовать на выдачу премий общественным инспекторам, привлеченным к охране охотоугодий, а всю остальную сумму определил на организацию первого показательного заказника в одном из урочищ своего района.

Уже самый факт подобной инициативы, исходившей от охотников-промысловиков, Алексей рассматривал как отрадное явление и решил всесторонне осветить его в «Охотнике Алтая». Вот почему он сам взялся за реализацию конфискованных собольих шкурок, задавшись целью продать их в области немилосердно конкурирующим между собой пушнозаготовителям по наивысшей цене и соответственному стандарту при сортировке. Он отлично знал уловки жуликоватых приемщиков пушных контор, надувавших сдатчиков на пересортице.

В Семипалатинске Алексей остановился у земляка — устьутесовца Семенихина, работавшего агентом областной торговой биржи, хорошо осведомленного в ценах на пушнину.

Бывший торговец — владелец мануфактурного магазина — «первый образованный купец», как звали его тогда в Усть-Утесовске, решивший «торговать культурно», не обдирая покупателей непомерными наценками, быстро прогорел и, еще до революции переехав в Семипалатинск, пошел по служебной части. В годы анненковщины Семенихин был мобилизован и попал в нестроевую дружину, под командование Алексея, спасшего ему, да и не только ему, но и многим семипалатинским дружинникам жизнь, распустив их из казармы по домам в ночь восстания 5-го егерского полка.

Семенихин помог Алексею быстро и действительно с наибольшей выгодой для Союза охотников продать конфискованных соболей и оформить получение наличными довольно крупной суммы денег.

В складе, сдавая пушнину, Алексей почувствовал чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, он увидел приземистого, густобрового человека с жгучими черными глазами, одетого в дорогое драповое пальто с седым бобровым воротником и бобровую шапку. Щеголь был брит. На пальцах обеих рук у него сверкали массивные золотые кольца. «Актер, наверно,— только зачем он тут?»

Алексей окинул его взглядом с ног до головы. Незнакомец, дружески улыбнувшись, сказал:

— Любуюсь вашей дохой, впервые вижу так хорошо подобранных барсуков. Не барсуки, а чистое серебро. Только тяжеловата, наверное?..

— Мне не тяжела,— сухо ответил Алексей и опять занялся с приемщиком. А когда он снова обернулся, незнакомца уже не было. «В пушнине разбирается, столичный заготовитель, наверное»,— подумал Алексей.

Подобное же неприятное ощущение чьего-то пристального взгляда он почувствовал снова, когда у кассы пересчитывал объемистую пачку новеньких червонцев.

Алексей сдержал себя и продолжал не торопясь считать деньги. Потом вдруг быстро обернулся: рядом с собой он увидел не щеголеватого брюнета, а рыжего верзилу, с лиловым шрамом через всю левую щеку, одетого в дубленый бараний тулуп, подпоясанный вязаным, раскольничьим кушаком. На голове у него была большая, как воронье гнездо, овчинная папаха, на ногах узорчатые, дореволюционной ирбитской валки тугие поярковые валенки. Заросший лисьей рыжевенью бороды, верзила не отвел глаз, не скрылся, а только отошел к окну, постоял там немного и направился к выходу. Чувство тревоги уже не покидало Алексея и когда он возвращался на квартиру к Семенихину, и когда обедал у него.

После обеда Алексей, накинув стеганую куртку, которую в дорогу он всегда надевал под доху, повел Костю на Иртыш к проруби и, поднимаясь от реки, снова встретил рыжего верзилу: тот тоже вел в поводу вороного поджарого аргамака.

От неожиданности Алексей остановился. Остановился и рыжий. Изогнув шею, вороной жеребец потянулся к Косте, но Костя ощерил желтозубую пасть и угрожающе храпнул.

Алексей зло рванул Костю за повод и поспешил в переулок. При новой этой встрече с подозрительным верзи-

лой вблизи дома Семенихина у Алексея впервые мелькнула мысль: «А не следят ли за мной? И тот бритый, бровастый, и этот орангутанг... Говорят, от китайской границы чуть ли не до Омска разбойничья дружина орудует».

Выкормив коня овсом, Алексей сразу же начал собираться в путь. На дворе уже смеркалось.

— Алексей Николаевич, не пущу! Да разве можно,— забеспокоился Семенихин,— на ночь глядя?

Но Алексей, как говорил в таких случаях его отец, «закусил удила»:

— Не могу, Николай Александрович. И жена дома волнуется, и, сознаюсь, что-то шероховато на душе: будто следят за мной... Какие-то подозрительные типы...

— Тем более, дорогой мой. Тем более не пущу!

— Мне только из города вырваться, а там — лови ветра в поле! Я еще не встречал лошади, которая могла бы нагнать Костю,— больше убеждая себя, чем радушного хозяина, продолжал Алексей.

— Машенька, не отпускай Алексея Николаевича, ведь мы на вечер пельмени затеяли...

— Не могу! — решительно ответил Алексей хозяйке. Оделся, зарядил винтовку полной обоймой и, попрощавшись с радушными земляками, вышел запрягать коня.

«Скорей! Скорей!» — словно нашептывал ему кто-то в уши.

Очевидно, в душе Алексея жила унаследованная от предков — зверовых охотников — необоримая страсть к опасности. Еще мальчишкой, не задумываясь, прыгал он в Иртыш с обрывистого утеса, отважно пускаясь через реку, когда по ней ходили гривастые волны, скакал на лошади через рвы и колодины, а на германском фронте добровольно вызвался в разведку и почти каждую ночь бывал со своими смельчаками-сибиряками вблизи немецких окопов.

С детства Алексей питал презрение к страху. Щемящий холодок опасности обострял все его чувства, словно пьянил, будоражил в жилах кровь. И сейчас, лишь только въехал в узкий переулок, примыкавший к Иртышу, и, оглядевшись, еще не видя в наплывающих зимних сумер-

ках никого, Алексей ощутил этот знакомый ему холодок опасности: «Только бы за город, а там потягаемся...»

Теперь он уже твердо был убежден, что за ним следили с самого утра и следят, конечно, сейчас: инстинкт безошибочно подсказывал ему опасность, подстерегающую его за каждым углом.

Мороз, сдавший еще в полдень, к вечеру окончательно смяк. В тяжелой дохе Алексею стало жарко. Не останавливая коня, он сбросил доху под ноги, снял и рукавицы.

— Вот так-то свободней будет,— возбужденно вслух сказал Алексей на выезде из узкого переулка к окраинным домишкам.

Пошевелив Костю вожжой, он пустил его крупной рысью. Легонькие салазки словно по воздуху перелетели через ухабы разъезженной дороги. Убогие мазанки окраинных татар и казахов выросли неожиданно быстро: «Горловину проскочим, значит, проморгали они нас, Костенька!» Глухую окраину миновали благополучно. Дорога пошла под изволок и вскоре выбежала на луговину, кое-где заросшую ивняком, наполовину забитым снегом.

Выкатившаяся из-за горизонта теперь уже не кособокая, а почти круглая луна осеребрила засверкавшие мириадами искр снега.

К родному дому конь шел весело и на ходу как бы благодушно помахивал головой.

— Теперь, Костенька, кто — кого! — снова, не удержавшись, вслух сказал Алексей и точно от толчка в сердце оглянулся: на окраине, на гребне спуска к луговине, словно вычерченный тушью, показался высокий вороной аргамак, идущий по этой же дороге ходкой, размашистой рысью. Вороной жеребец преследователя (а что это тот рыжий верзила в тулупе, Алексей уже не сомневался) был запряжен в саночки-беговушки на узких полозьях, на каких обычно на ипподромах выезживают породистых рысаков.

Услышав нарастающий топот жеребца, Алексей понял, что накоротке породистый аргамак легко достанет Костю, и решил тотчас же «выяснить отношения». Оттянув затвор трехлинейки на боевой взвод, он поставил ее меж колен и перевел Костю на обычную дорожную рысь: «Пускай наскакивает!» Но топот жеребца не только не приблизился, а как будто совсем угас. Алексей снова

оглянулся и увидел, что преследователь, тоже сдержав своего аргамака, ехал дорожной рысью на том же расстоянии. «Значит, поджидает кого-то,— подумал Алексей.— Но откуда?» Он знал, что ни боковых, ни поперечных дорог на этом перегоне луговины нет.

Так, не сокращая расстояния, они ехали с полчаса. Полная луна обошлась, поднялась еще выше, стало светло, как днем. Дорога была пустынна, ночь тиха. Алексей снова выпустил Костю и поначалу далеко было оторвался от своего преследователя, но вскоре опять услышал нарастающий топот и даже услышал тяжелое дыхание запалившегося аргамака. Решив кончить играть в прятки, Алексей остановил Костю и спрыгнул с салазок. Но и преследователь тоже круто осадил своего жеребца. Алексей поправил сбрую, сел и поехал шагом. Тот тоже поехал шагом. «Значит, он приставлен конвоировать меня, чтобы я не повернул в город, значит, он гонит меня навстречу соучастникам...» И все-таки Алексей ни на мгновение не допускал мысли повернуть коня обратно в город: «Вперед, как можно скорей! Не взяли бы они меня в клещи. Теперь за Костей не угнаться этому верблюду. Уйду, а там видно будет».

Встав во весь рост, подавшись корпусом к крупу коня, Алексей пустил его «во все ноги».

Не оглядываясь, лишь потряхивая вожжами, точно помогая Косте развить самую немыслимую скорость, Алексей зорко смотрел вперед и по сторонам, будучи твердо убежден: опасность не сзади. Он чувствовал, что оторвался от своего преследователя.

Словно снежный вихрь подхватил коня и неудержимо нес его по накатанной дороге. Навстречу летели застывшие блюдца луговых озерок, как волны в прибой, зыбились прилизанные ветрами снежные наструги. Казалось, и дорога, и заснеженный луг с точно кружащимися на нем каруселью ракитами, стожками сена тоже сорвались и несутся в пугающую неизвестность.

Алексей окинул быстрым взглядом Костю. Распластавшись, став как будто бы вдвое ниже, с запотевшей, вытянутой, словно птица в полете, шеей, ритмически работая ногами, он с такой стремительностью пожирал пространство, что нельзя было представить себе силы, которая могла бы остановить его...

«Но что впереди? Что впереди?»

А луговая дорога уже взбежала на гриву, с которой начинался спуск к речонке и мостику на ней. Влево, в полукилометре от мостика, у кромки щетинистого ленточного бора — хутор, прозванный Половинка. От него до казачьего поселка Озерки ровно пятнадцать верст. С гребня гривы заснеженный хутор и лежащий вправо от него мостик видны были как на ладони.

Алексей смотрел только на мостик. Он уже забыл о далеко отставшем своем преследователе: чутье подсказывало ему, что его ждут и встретят не где-нибудь, а именно на этом узком, как игольное ушко, мостике. Но Алексей ошибся только в одном: ждали его не у мостика и не под мостиком, а на хуторе, и сигнал для встречи должен был зáгодя дать преследующий его конвоир.

И действительно, далеко за спиной Алексея раздались несколько выстрелов. И почти в тот же миг от хутора отъехали дровни с сидящими в них мужиками, одетыми в белые халаты. В руках одного из них взблеснули стволы ружья. В просторные дровни была запряжена тоже высокая и тоже породистая, но уже не вороная, а белая, как лебедь, лошадь.

Ехавшие к мостику, очевидно, не спешили. Правивший лошадью мужик, указав рукой в сторону Алексея, показавшегося на гриве, видимо, что-то сказал остальным. Они суматошно засуетились, зажестикулировали. Возница, вскочив на ноги и опоясав кнутом белую лошадь, погнал ее вскачь.

До мостика бандитам оставалось не более двухсот сажен, Алексею — не менее версты. «Не успею!» — полохнула, оледенив сердце, догадка.

Дальнейшее произошло в какие-то летучие мгновенья.

Алексей уже не раз убеждался, что словно бы даже и не его, а чья-то чужая молниеносная мысль руководила им в таких случаях. Проскакав еще с полминуты, он со всего хода осадил коня, спрыгнул с винтовкой на дорогу и, припав на колено, стал ловить на мушку скакавшую к мостику белую лошадь.

Прижмурив глаз, выцеливая идущую на махах лошадь, Алексей видел, как мушка прыгала вверх и вниз, чувствовал, как дрожали у него руки, как набатно билось сердце. Но усилием воли он притушил дыхание, укротил прыгающее сердце. «Стреляешь в медведя —

целься, как в рябчика»,— словно кто-то шепнул ему памятные с детства слова отца. Он чуть вынес мушку вперед корпуса скачущей лошади и раз за разом выстрелил дважды. Алексей был уверен, что не промахнулся: из винтовки он стрелял бегущих зайцев.

После первого выстрела высокая белая лошадь, как бы споткнувшись на бегу, стала медленно валиться на оглоблю. После второго — зарылась головой в обочину дороги. Попрыгавшие в снег, точно вихрем сорванные с дровней мужики бесследно пропали. Алексей вскочил в салазки и, послав коня к мостику, обойму за обоймой расстреливал по зарывшимся в снег где-то рядом с дровнями бандитам. Своими выстрелами он плотно прижал их к земле.

Только когда Костя миновал мостик, казалось перемахнув его за один скок, защелкали выстрелы. Цви-и-инь! Цви-и-инь! — пропели пули над головой Алексея. Но Костя, одолев приречный взлобок, все дальше и дальше уносил его от страшного хутора.

Все случившееся с Алексеем у хутора походило на бредовый сон.

В Убинский поселок к Загайнову Алексей словно на крыльях прилетел, так он гнал Костю.

Пережитая опасность, в азарте казавшаяся захватывающей, теперь, когда она миновала, выглядела до безрассудства дикой. Перед Алексеем неотступно стояло лицо жены, умоляющие ее глаза: «Побереги себя ради нашего сына...»

«Не напрасно она тревожилась...» И так захотелось поскорее очутиться дома.

В Убинском Алексей подробно написал о происшествии на тракте в областной уголовный розыск, описав приметы двух хорошо запечатлевшихся в его памяти бандитов.

— Утром, Лука Егорыч, незамедлительно переотправь: важно по горячим следам...

От сверхскоростного перегона и пережитого волнения Алексей страшно устал и уснул не раздеваясь. Но не проспал и трех часов — на рассвете выехал в Усть-Утесовск. На последнем перегоне разыгралась пурга, дорогу перемело.

И как ни спешил Алексей, а, тридцать верст не доехав до города, в казачьем поселке Донском пришлось покормить притомившегося коня.

К своему дому подъехал глухой ночью на целые сутки раньше, чем предполагал.

Дом спал. «Намучилась — отдыхает...»

Алексей бесшумно открыл «секретный запор» ворот, завел Костю, поставил его у крыльца, накрыл дохой и, как всегда после отлучки, решил по-хозяйски осмотреть двор. В коровнике поговорил с Буренкой, подкинул ей корма и только тогда вернулся к Косте.

Уставшая за три бессонные ночи Вера неожиданно проснулась и подошла к окну. То, что ей почудилось на дворе, так испугало ее, что она вскрикнула на весь дом и разбудила своего ночевщика, «безродного» подслеповатого старика Силантьича.

— Там!.. Там!..— указывая на окно, выходящее к крыльцу, прошептала она.

Сползший с постели старик припал к окну.

— Бандитьё! Убей бог, бандитье, Вера Васильевна!

Накануне в их квартале налетчики, взломав запор, ограбили рыботорговца Мездрина: загнали хозяев в подполье и вывезли на подводе все ценные вещи.

Как переплелось в головах испуганной Веры, не ожидавшей так скоро возвращения Алексея, и ее охранителя Силантьича, что стоявший у крыльца, накрытый чем-то — для маскировки — конь воровской, а разгуливавший на дворе человек — бандит, объяснить хотя и не так просто, но возможно: у страха и глаза и фантазия велики. «Храбрый» старик сорвал со стены двустволку, заряженную волчьей картечью, решив через форточку выстрелить сначала в коня, а если грабитель не побежит, то и в него. Он уже открыл форточку и, взведя курки, припал к ложе, но Вера, словно разом прозрев, повисла у него на плече:

— Это же... Алеша может быть!

Так у окна с открытой форточкой и застал Алексей плачущую жену и трясущегося от страха с двустволкой в руках старика Силантьича.

...Случай с Алексеем у хутора Половинка помог угрозыску раскрыть орудовавшую уже несколько месяцев на тракте бандитскую шайку, насчитывавшую более ста человек.

«Сиб-Чикаго», как громко называли тогда новониколаевцы молниеносно растущий краевой центр, встретил Алексея радушно: наконец-то в необъятном по территории крае, в богатеющем не по дням, а по часам городе будет свой охотничий журнал, возглавляемый зарекомендовавшим себя за эти годы с самой лучшей стороны энтузиастом охотничьего дела Алексеем Рокотовым.

За месяц до переезда редакции из Усть-Утесовска в краевой центр Алексей побывал в Новониколаевске, установил деловые связи с Сибкрайиздатом, с типографией, с охотничьим активом губернского союза.

После Усть-Утесовска большой, шумный, незнакомый город в этот первый его приезд показался ему неодолимой твердыней, но в решающие моменты жизни у Алексея не было ответа «невозможно, трудно», а лишь один — «надо!».

«Твердыню эту придется завоевывать по частям»,— подсказал ему разум.

В Губохотсоюзе Алексей договорился о клубном помещении, в редакции «Советской Сибири» добился опубликования заметки о вечере, посвященном сибирскому охотничьему журналу.

Доклад Алексея распахнул перед ним двери кабинета умного, крайне осмотрительного директора Сибкрайиздата — Михаила Михайловича Басова, сплотил вокруг будущего журнала группу влиятельных доброхотов.

«Упорядочение охоты, охрана богатейшей природы Сибири от неразумного, порою преступного отношения к ней — дело государственной важности. Журнал поможет выявить, объединить наши силы, научит действовать сообща» — такой была основная мысль доклада, который сделал Алексей в городском клубе.

И «твердыня» была покорена: нашлись помещение для редакции и квартира редактору в перенаселенном городе. Необходимые журналу бумага, типография и цинкография были обусловлены твердыми договорами.

...Михаил Михайлович Басов всего года на три старше Алексея, но он уже член крайкома, директор Сибкрайиздата. Басов — один из тех даровитых большевиков, которых старательно собирал тогда со всей Сибири

молодой, мужающий краевой центр. О нем Алексей слышал еще в Усть-Утесовске.

У Басова высокий белый лоб, светлые редкие волосы, красивое, с какой-то женственно-нежной кожей лицо, острые серые глаза. Над твердыми румяными губами — коротко подстриженные рыжие усы. Михаил Михайлович молча смотрел на Алексея. Рассматривая его, он постукивал пальцами левой руки по крышке рабочего стола, заваленного рукописями.

Просто ли Басов присматривался к новому редактору нового журнала или ждал, чтобы тот заговорил первый, но Алексей решил выдержать характер и тоже молчал.

— А знаете, Алексей Николаевич, как мы, читатели вашего журнала, новониколаевские охотники, вас прозвали? — вдруг заговорил Басов, дружественно улыбнувшись.— Преподобный страстотерпец и великомученик усть-утесовский Алексий. Вот я все и пытаюсь рассмотреть венчик над вашей головой, но, оказывается, при Советской власти и великомученики без венчиков...— Он засмеялся раскатистым жирным баском.— Кто-кто, а уж я-то по нашим «Огням» на собственной шкуре испытал, каково это в такой дыре журнал затеять и три года нести свой крест!

Говорят, вы даже свою зарплату на журнал отдавали, жили на заработок жены? Рассказывайте с самого начала: и про Усть-Утесовск, и про его охотничьи окрестности. Я слышал, там у вас рай для нашего брата. Я ведь тоже хотя и худенький, но охотник. И как вы решились бросить свой дом, а главное, любимые охотничьи места? Подробно рассказывайте: мне анкетных данных о моих работниках недостаточно!

Басов снова раскатисто засмеялся.

«Какой же в тебе, должно быть, запас жизненных силенок, если ты так хорошо смеешься на своей адской работе. А говорили, «сухарь, жмот»,— невольно любуясь Басовым, подумал Алексей. И рассказал ему о журнале и о своих родных местах.

— Редко еще где в нашей стране найдется такое счастливое сочетание флоры и фауны, как в благословенной усть-утесовской округе. Иртыш делит Алтай на левобережные ковыльные степи, уходящие на добрую тысячу километров к Балхашу, и правобережную горную тайгу — до далекой Монголии.

В степях и волки, и лисы, и ко́рсаки. Мигрирующая саджа, или копытка, дрофа и стрепет. В горах и горной тайге — зверь: от круторогого красавца тау-теке и марала — до медведя и соболя. А птицы! Серые куропатки осенью и зимой залетают нередко не только на окраинные огороды, но даже и на базарную площадь. На тетеревов еще совсем недавно мы охотились по окрестным логам, заросшим непродорным шиповником, черносмородинником и малинником...

Рассказывая о своих охотничьих палестинах, Алексей увлекся. Его громкий, взволнованный голос, сияющие глаза красноречиво подтверждали справедливость всего, что он говорил о богатстве родного края. И вдруг он замолчал, а потом продолжил свой рассказ, но уже без прежнего воодушевления.

— Но и наши благословенные просторы год от года начали оскудевать. И не столь от наступления на них городской и промышленной культуры, сколь от чудовищного бескультурья руководителей ряда ведомств, которым полагалось бы и думать и поступать совсем иначе. Я уже не говорю о браконьерстве. Газеты этими вопросами почти не занимаются, ну вот мы и отважились в своем журнале. А отважившись, пришлось тянуть, хотя порой и не легко было...

— «Велик тот, кто отдается своему призванию с пылом святого» — эти слова Виктора Гюго припомнились мне, Алексей Николаевич, еще когда я слушал ваш доклад в клубе,— сказал Басов.— А сознайтесь, скребли кошки на сердце, когда вы покидали свой дом и охотничьи угодья, рвали усть-утесовскую пуповину?

Алексей немало был наслышан о скупости в денежных делах Михаила Михайловича, о басовской сухости и не мог не улыбнуться его словам об «усть-утесовской пуповине».

— Конечно! Как говорит мой отец, родной куст дорог и зайцу... Однако век под кустом не просидишь! Дом я оставил старшему брату. Но, сознаюсь, до слез жалко и сейчас еще меня мучает совесть, что пришлось продать любимого коня Костю: здесь для него не нашлось бы даже и уголка на дворе.

Алексей рассказал, как на первые сбережения от учительского жалованья купил не ловленного на узду дика-

ря калмыка. Как выездил и так приручил его, что конь шел на свист. И как Костя дважды спас ему жизнь.

— Да что там идти на свист! — махнул рукой Алексей. И, все больше увлекаясь, стал рассказывать: — Вот бы знали, какая охотничья сноровка выработалась у него при гоне волков! И в степном Четвертинкине, где учительствовал я, и в Заиртышье распространены по первым порошам «гоны волков» на лошадях. И какие резвачи, а главное — сноровистые, ловкие охотничьи кони вырабатывались на этих охотах!

У каждого страстного волкогона, будь то линейный прииртышский казак или степной джигит-казах, имелась такая «легкая» лошадь, которую, кроме как под седло, не угнетали другой работой. И конечно же, это были отменные «крылатые», как их называют лошадники, скакуны, на которых не только волков и лис, но даже журавлей и дроф засекают нагайками при неожиданном напоре.

А мой Костя уже по строгой седловке, при виде батика угадывал сборы в отъезжее поле и словно преображался весь: хвост в отделе, глаза чуть ли не по кулаку и в них огоньки переблескивают, ноздри налились кровью. На месте стоять не может, рвет землю, переступает с копыта на копыто. А сам сжался в комок, «вроде бы перед тешшей», как говорят наши линейные казаки.

И удивительно: волчью тропу по пороше он всегда раньше меня увидит. А уж как взяли свежий след, бросай поводья — сам знает, что ему делать, а ты только держись в седле и готовься к приему зверя.

И за все мои го́ны ни разу не споткнулся, не заплясал перед неожиданным препятствием — не уронил меня.

Бывало, на размытом крутояре разъедется тремя ногами, изогнется змеей, проедет храпкой, по ско́лези и, каким-то чудом удержавшись на четвертой, выправится, ни на мгновенье не упуская из глаз волка.

А сколь же смел был он при подходах к зверю! Сколь тонко подводил к удару, наседая на волка обязательно с левой стороны!

Но что еще удивительней: словно вперед угадывая неожиданную скидку зверя в сторону, начинал он горбить, словно бы пружинить спину. Тогда, чтоб не вылететь из седла, будь готов к неожиданному во́льту...

Сам в азарте ни о чем не думаешь, кроме как достичь зверя: во всем надежда лишь на коня.

Волка степняки с лошади бьют суюлом — по-нашему, бáтиком-палицей с тяжелым корневым набалдашником. Ловкачи джигиты, перевидев зверя, бросаются за ним с укрючиной и, загнав, намертво захлестывают на всем скаку в петлю. Нет суюла, укрючины — отстегнет стремя и со стременем будет гнаться, покуда не убьет или, замучив коня, не передаст зверя другим гонщикам из первого попавшегося аула... Так уж заведено у скотоводов: волк — лютый враг.

Однажды гнали мы матерого лобача. Два казаха отстали от нас с Костей. Матерый машет из последних сил, язык вывалил на сторону чуть ли не на четверть.

Подвел Костя вплотную, низко, низко угнул голову.

Я ударил и промахнулся — чуть сам не вылетел из седла и не погубил Костю. А зверь присел, изготовившись впиться в горло лошади. Как упредил Костя волка? Вздыбив свечой, он растоптал его коваными копытами.

И этого коня я уступил для щегольского троечного выезда председателю горкомхоза! Все равно что самому близкому другу изменил. А они в первую же неделю с жару напоили его: он захудал, запаршивел, обезножел... И теперь мой Костенька в обозе бочки возит...

Не поверите, представлю его в роли обозной клячи — предателем себя чувствую...

— А вы бы попробовали о нем написать для журнала. Уверен, получился бы неплохой рассказ: в искусстве получается только то, что идет от жизни, подкатывает писателю под душу...

— Что вы, что вы, Михаил Михайлович, это ведь я по крайней нужде свои рассказики в «Охотнике Алтая» печатал, здесь мы настоящих писателей привлечем.

— Напрасно, напрасно. Уверен, этот рассказ получился бы у вас. Да и мы бы помогли...

Басов любил помогать молодым писателям Сибири. Сам сибиряк, один из зачинателей «Сибирских огней», он, как и многие тогда деятели Сибири, был одержим страстью создания «сибирской советской революционной литературы».

— Право, Алексей Николаевич, попробуйте...

— Сейчас мне не до рассказов, Михаил Михайлович.

В кабинет заглянула секретарша, но Басов все задавал и задавал вопросы Алексею — и о наиболее интересных сотрудниках «Охотника Алтая», которых необходимо сохранить, и о том, как же это никто не требовал авторского гонорара за свои статьи и рассказы.

— И Сергей Александрович Бутурлин, и профессор Соловьев без гонорара?

— И они.

— Значит, на голом энтузиазме работали?

— На энтузиазме.

— Сильна охотничья держава!

Потом Басов заговорил о содержании первого номера «Охотника и пушника Сибири», о художниках и писателях, которых необходимо привлечь в состав постоянных сотрудников. Большинство названных им имен было знакомо Алексею лишь по «Сибирским огням». И он прямодушно сознался:

— Слыхал я фамилии Зазубрина, Итина, Урманова, но ни разу еще не встречался ни с одним из живых писателей. Даже робость берет.

Басов засмеялся:

— А вы не робейте. Люди как люди. Одно только помните: человек вызывает к себе то или иное отношение в зависимости от того, как он сам держит себя с людьми. А теперь готовьте передовую. И завтра покажите ее мне. Договорились?..

Проводив Алексея до двери кабинета, Басов сказал:

— Костю вашего и мне жалко! Должно быть, оттого, что и я в душе тоже крестьянин: такой конь! А рассказ о нем вы все-таки напишите...

По лицу мужа Вера сразу поняла, что его буквально распирает от радости.

— Ну, как директор? Как принял? Да говори же скорей, Алешенька,— как Басов?

Алексея так опьянила мысль о близком соприкосновении с новым для него миром интересных людей, о возможности привлечь на страницы журнала настоящих писателей и художников, что он не в силах был связно высказать жене всего, что переполняло его, и продолжал только улыбаться.

— Да что же ты, на самом деле? Ну, каков он? Ска-

зывают, жила, за каждый пятак обеими руками держится. И будто строг очень!

— Возможно, и скуповат, и строг, но не самодур, не чинуша,— заговорил, наконец, Алексей.— Деловой, никаких проволочек, видно, не терпит. Уже обговорили первый номер. Теперь надо мне хорошую передовую написать, чтоб каждое слово было в цель.

— Ну вот видишь, Алешенька! А я так волновалась.

— И, понимаешь, прост. Я ему даже про Костю рассказал. А он: «Мне вашего коня тоже жалко. Должно быть, оттого, что и я в душе крестьянин...»

Как всегда в возбуждении, Алексей говорил, шагая из угла в угол по большой комнате новой своей квартиры, выделенной ему в том же здании, где помещались Крайохотсоюз и редакция журнала. Пока Алексея не было дома, Вера сама расставила в ней мебель. Алексей, казалось, не замечал ничего.

— У него в издательстве, кроме нашего, два толстых журнала: «Сибирские огни» и «Жизнь Сибири». Несколько тонких. А брошюр, книг! И он успевает сам просматривать все основные рукописи...

— Алешенька, тебе нравится, что обеденный стол я на кухню вынесла?..

— Утром приходит раньше всех, уходит последним...

— А что же ты не спросишь меня о Гордюше? Я им с мамой нашу спаленку определила, а мы с тобой тут, на диване и кушетке...

Алексей окинул взглядом комнату и виновато улыбнулся:

— Одна возилась? Ну и напрасно... Подождала бы меня...

— Что ты, могла ли я ждать? — воскликнула Вера и добавила: — Мы с мамой сегодня окончательно убедились, что Гордюша — вылитый ты. И лоб твой, и ручонки, и ухо. Особенно ухо...

— Пойдем к Гордюше,— сказал Алексей.

Наконец-то Вера почувствовала, что Алексей дома.

Передовую Алексей писал с полудня до полуночи. Раньше на нее он потратил бы два-три часа.

В статье ему хотелось сказать о задачах, стоящих перед журналом, охарактеризовать основные разделы. От-

тенить его роль как организатора молодой охотничьей кооперации. Особо, как пропагандиста разумных методов хозяйствования в охотничьих угодьях, защитника и охранителя природы от хищников всех мастей и оттенков. Словом, Алексею хотелось сказать в передовице о самом больном и главном. Главными же и больными в делах охоты и природы были почти все вопросы.

Статья получилась большая. Алексей дважды переписал ее на машинке. Окончательно отделав, прочел жене. Вера обычно довольно тонко подмечала слабости в писаниях мужа. И он, несмотря на то что вначале сердито ей возражал, многие из ее замечаний учитывал. Так было и теперь.

Ночью Алексей снова правил статью. Ему казалось, что от того, как он напишет передовую, зависит его дальнейшая судьба.

Басов давно уже работал, когда секретарша доложила ему о приходе Алексея.

— Просите! — громко сказал он. И столько радушия почудилось Алексею в звуках его сильного голоса!

Басов сидел над какой-то рукописью, немилосердно исчерканной им, с пометками на полях.

— А я вас давно поджидаю, Алексей Николаевич. И волнуюсь: первая передовая, по сути, компас нового журнала!

Алексей хотел было сам прочесть статью, но Басов взял ее у него из рук:

— Нет, батенька! У меня привычка читать самому: на слух не верю! Ваш брат авторы, особенно поэты, народ ушлый...— И сразу же углубился в чтение.

Алексей оцепенело сидел на стуле, следил за выражением его лица.

Басов, читая, хмурился. Алексей легко угадывал, что статья производит на директора не слишком благоприятное впечатление.

Прочитав статью, Басов откинулся на спинку стула, посмотрел на заметно побледневшего Алексея.

— Признаться, слабовато, Алексей Николаевич. Но я почему-то думал, что будет хуже. Ведь это ж далеко не просто — и такую разнообразную программу графически вычертить, и всего прочего коснуться предельно крат-

ко и ясно... А как известно — необъятного не объять. Но попытаться все же необходимо...— И, привычно склонившись над статьей, стал ее исправлять, безжалостно вычеркивать абзац за абзацем.

Алексей никак не предполагал, что фразы, над которыми он так долго и так тщательно работал, могли быть и корявыми, и даже совсем лишними: «Что исправлять, что выбрасывать в статье?»

— А вот это очень хорошо, Алексей Николаевич! — оторвавшись от исчерканной страницы, сильным своим басом изрек директор, и у Алексея посветлело на душе.— Вы написали то, о чем мы с вами вчера и не говорили совсем!

И он вслух прочел понравившийся ему абзац:

— «Зачастую охотнику невозможно, особенно в далеких окраинах, быть подписчиком газет. Поэтому редакция считает необходимым давать в своем журнале хотя бы страничку краткого обзора общественно-политических событий за каждый истекший месяц».

— Это хорошо, это правильно! — И Басов снова стал править статью.— А что же вы, дорогой мой великомученик и страстотерпец Алексий усть-утесовский, по скромности своей умолчали об «Охотнике Алтая»? Тут уж я вам добавлю, а вы извольте оставить в целости.

На полях статьи Басов написал новый абзац и прочел его вслух.

— «Необходимо отметить культурную и организационную работу журнала «Охотник Алтая», который, несмотря на тысячи мелких и крупных затруднений и полную материальную нищету уездного издательства, завоевал добрую славу среди охотничьих журналов Советского Союза. Ценя работу его сотрудников, редакция «Охотника и пушника Сибири» призывает их и в дальнейшем принимать активное участие в сибирском краевом журнале». Согласны?

— Согласен, но...

— Никаких «но»! — строго сказал Басов.

Он протянул Алексею статью, сокращенную чуть ли не вдвое.

— Пишете вы, мой дорогой, так же, как говорите: страстно. Горячи вы, Алексей Николаевич, отсюда у вас и захлёб и многословие. Обо всем-то вам хочется сказать. Учитесь сдержанности. Умудренный писатель выявляет

себя не столько через то, что он описывает, сколько через то, что опускает...

Слово должно быть кратким, точным, как перед казнью, когда уже на шею закинута, но еще не затянута петля. Вспомните выкрик Тараса Бульбы, уже привязанного ляхами к дубу: «К берегу! К берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все забирайте, чтобы не было погони!»

«Если в двенадцати фразах не можешь ясно выразить свою мысль — оставь ее»,— поучал древний мудрец Китая...

Басов говорил, внимательно наблюдая за раскрасневшимся, смущенным лицом Алексея. «Самолюбив — это хорошо: пойдет впрок»,— подумал он. И, не смягчая тона, продолжил:

— Не прибегайте к языковым красивостям, к словесному щегольству: три таких побрякушки я выбросил у вас. Избегайте, как правильно рекомендует Горький, неблагозвучных «вши, ши, ищущий, тычущаяся». Не пишите так, чтобы первый слог повторял последний слог соседнего: «верев-ка ка-чалась». Нехорошо звучит «ка-ка». И не огорчайтесь, что не сразу хорошо получилось: неудачи часто делают нас более опытными, чем наши успехи. Мы ведь сейчас все учимся! И, коль уж впал я в поучительный раж,— Басов улыбнулся,— мы ведь все любим больше учить, чем учиться... Запомните слова, которые когда-то мне сказал один мой профессор: «Все доступно человеку даже в самом трудном деле, если он этого страстно пожелает, до такой степени страстно, чтобы и самой жизни не жалко было для этого дела». А вам, я вижу, страсти не занимать... Вы, как горячий конь, из вожжей рветесь. Ну, с богом! — поднимаясь со стула, закончил он.— И помните: чем можем, всегда поможем.

Урок с правкой передовой статьи, казалось, умудрил Алексея как редактора больше, чем все годы самостоятельной его работы в «Охотнике Алтая».

Выправленный Басовым экземпляр статьи он изучил до знаков препинания и теперь уже не мог с прежним спокойствием написать не только статью, но даже и заметку для журнала. Отыскивал шипящие, неблагозвучные совпадения окончаний, безжалостно вычеркивал все,

что хоть сколько-нибудь казалось ему лишним. Добивался краткости: «как перед казнью». А написанные им ранее рассказы сравнивал с рассказами писателей-профессионалов и стыдился, что напечатал их.

Изменил Алексей и весь стиль своей жизни и работы. Как и Басов, стал приходить в редакцию раньше всех и уходить последним. «В новых условиях надо жить и работать по-новому».

А нового вокруг было много. Город, как и весь край, перестраивался заново, возникали заводы — первенцы восстановительного периода.

Новониколаевск, переименованный в Новосибирск, был, казалось, городом молодых, жизнелюбивых сибиряков. Сам дух его был молод: словно перед каждым его жителем, как перед юношей, вступающим в жизнь, раскрывались неведомые, заманчивые дали.

Возникший в годы расцвета российского капитализма на правом берегу Оби — этой сибирской Миссисипи, у железнодорожного моста, намеченного изыскателем Гариным-Михайловским, город рос даже не по дням и часам, а, как утверждали патриоты новосибирцы, по минутам. Из рыбацкого поселка, не отмеченного ни на одной карте, в невиданно короткий срок возник шумный торговый центр. Вскоре погоревший дотла, он за два года построился заново, расширяясь и богатея. «Город-юноша в гремящей прозодежде»,— назвал его один из писателей-сибиряков.

Когда Алексей приехал в Новосибирск, город на три четверти был еще деревянным, немощеным, лишь в центре с горбатыми булыжными мостовыми. Но уже быстро росли каменные громады многочисленных торговых, административных и общественных зданий, высились корпуса заводов.

По булыжнику центральных улиц еще дребезжали извозчичьи пролетки, громыхали телеги ломовиков, запряженные мохноногими битюгами, а у подъездов сибторгов, крайцентров, крайупров стояли блещущие лаком лимузины. И почти рядом, по излучинам мутных речонок Ельцовки и Каменки, в крутых глинистых ярах, тесня друг друга, стихийно росли «нахаловки». За одну ночь возникало жилье. К утру из земляной норы уже победно торчала труба со спасительным дымом, ограждающим самовольного застройщика от выселения. Притекающие со

всех концов страны новоселы распирали город, полный строительного азарта.

Жаркий грохот строек, шум многолюдных пыльных улиц безудержно растекающегося вширь города притушала, останавливала, словно бы вбирала в прохладные свои глубины Обь.

Торговые караваны Севморпути бороздили бескрайнюю водную артерию, уходя по ней к обширной Обской губе, к легендарному сибирскому городу-вольнице Мангазее.

В солнечные дни вслед за уходящими судами широкой тропой, словно стаи упругих рыб, выворачивались, сверкали волны. Ночами красные и белые фонари бакенов расстилали по воде парчовые отблески огней.

Сибкрайохотсоюз с Сибкрайземотделом и пушнозаготовительными организациями готовился к первому сибирскому охотпушному съезду и выставке.

Алексей с головой ушел в подготовительную работу.

Его вовлекли чуть ли не во все комиссии, связанные с созывом съезда и выставкой. Поручили сделать один из основных докладов на съезде: о взаимоотношениях охоткооперации с пушнозаготовителями.

На практике эти взаимоотношения были далеко не благополучны. В погоне за пушными хвостами конкурирующие заготовители шли на всё, чтоб обставить один другого, принимали недозрелую, добытую в запрещенные сроки (и даже злостными браконьерами) пушнину. Интересы охотничьего хозяйства, представляемые охоткооперацией, попирались без зазрения совести. Тезисы доклада получались у Алексея резкими. Их начали «обкатывать». Алексей упирался, нервничал. В то же время надо было срочно готовить и сдавать в печать специальные номера журнала. Дни казались короткими, приходилось прихватывать ночи. Разрываясь между заседаниями и посещением павильонов грандиозной по своему размаху пушной выставки, на которую впервые собирались приехать заграничные скупщики сибирской пушнины, Алексей понимал, что он тоже участвует в большом деле.

Он быстро обжился на новом месте, привык к «Сиб-Чикаго».

Особенно Алексей любил часы, когда затихал немолч-

ный городской шум, сваливал неистовый дневной зной, оседала строительная пыль и на уставшие плечи сибирской столицы с окраин, с реки опускался прохладный вечер.

В эти часы Алексея всегда, с детских лет, с незабываемых поездок в горы, «в ночное», неудержимо влекло в природу.

Ближе, доступней всего природа здесь ощущалась на берегу Оби. Алексей никогда не уставал наблюдать ежеминутно меняющиеся краски воды и неба, слушать переплеск волн. Левый — луговой берег Оби с поймами, болотами и мочажинами, по рассказам охотников, был набит дупелями, бекасами и гаршнепами. Правый, обрывистый, с гривой соснового бора, подступившего почти к самым окраинам города, славился тетеревиными и куропачьими выводками.

По реке сновали лодки предприимчивых «нахаловских» рыбаков, заселивших берега Оби. Алексей уже завязал с ними знакомство и любовался выловленными багряноперыми язями, колючими стерлядками, тяжелыми, как серебряные слитки, нельмами.

— Заводи лодочку, а уж тебе такие притоманные места покажем! На всех хватит, только не ленись: вон она какая — матушка! — говорили ему рыбаки.

Мутная, пухлая неповоротливая река в зеленых островах, с длинными языками промытых золотистых песков, с заливами и заросшими осокой и лозняком старицами манила Алексея. Невольно он сравнивал ленивую Обь с резвым, кипучим Иртышом, с его бесчисленными перекатами и тенистыми омутами у подножий скал, с крутящимися в них воронками, с шапками кремовой пены: «Обживусь, привыкну — и полюблю. Разве можно не полюбить такую богатыршу!»

Вечерами, на берегу Оби, Алексей с некоторых пор чаще всего почему-то вспоминал дорогие ему лица женщин, прошедших через его жизнь. И ярче всех других, порою это было до боли мучительно, хотя он и таил это даже от самого себя, вставал перед ним образ Тины Шибельской с ее почти религиозным преклонением перед свободной, не обремененной никакими обязательствами любовью.

Самоотверженная, безудержно-гордая Тина заслоняла образы Ларисы и даже — Анночки и Веры...

Она, как природа, неотторжимо вошла в него. Казалось, он никогда не насытится воспоминаниями о кратких часах их встреч, как не насытятся его глаза любованием гладью реки, грудь — волнующими запахами смолистого дыхания соснового бора. Непостижимы тайны человеческого сердца!

— Но хватит! Пора, пора! — И все же он медлил, не уходил.

Багровое солнце медленно опускалось за кромку Кудряшовского бора. Высокие зубчатые стены его, казалось, сторожили отлитое из червонного золота заколдованное царство. И преображенный закатным светом сосновый лес, и залитое жидким огнем плесо Оби, и длинный остров, словно огромный острогрудый корабль, разделивший реку надвое, возникали перед глазами Алексея, как из полузабытой сказки.

А вечер уже переходил в ночь. Уже причалили последние лодки рыбаков. Негромко переговариваясь, рыбаки расходились по береговым своим хижинам; в окнах замерцали огоньки. На реке стало совсем тихо. Только изредка всплескивала вышедшая на жировку рыба. Неудержимо наплывавшая ночь обостряла береговые запахи речной тины, просмоленных баркасов, пеньки.

В беспредельности неба зажглись и, отражаясь в реке, заколыхались, точно затонувшие в ее глуби, звезды.

И облик Тины, как яркая, навсегда угасшая звезда, вставал перед ним во всей своей пленительности.

Какая-то тайная власть этого навсегда ушедшего из его жизни образа довлела над сердцем Алексея: словно горячая любовь Тины обожгла ему сердце и оно все еще кровоточит.

«Положи руку, послушай, как бьется мое сердце,— снова вспомнились ему ее слова, произнесенные с какой-то целомудренной трогательной простотой, как умела говорить только она.— Ты только протянул палец, и я твоя. Жар твоего тела проникает в каждую пору моего. Какая женщина может желать от жизни большего? Ведь жизнь — это, прежде всего, любовь. Не качай головой, не спорь — только любовь. Это когда вот так: глаза — в глаза, грудь — в грудь... Когда теплота и жар одного — теплота и жар другого. Когда я с закрытыми глазами всем своим существом ощущаю твое тело. В этом и толь-

ко в этом святость и радость жизни! Это же, дорогой мой Алеша, самое-самое дорогое...»

А из-за кромки бора уже выплыла луна и призрачным своим светом посеребрила зыбкую ширь реки...

— Пора, пора к письменному столу!

Убыстряя шаг, Алексей шел домой...

Еще на пороге Вера по каким-то только ей ведомым признакам поняла состояние Алексея и, не расспрашивая его ни о чем, присела к накрытому столу: она чувствовала, что вот уже несколько дней он чем-то взволнован. «Но как ни проси — все равно не поделится».

Она старалась изо всех сил не показывать вида, что это волнует ее. Молча налила ему стакан крепкого чая, подвинула сливочник и склонилась над книгой.

Алексей не переносил, когда лезли в душу, но мучило его и деликатное молчание Веры. Не выдержав, он заговорил первый:

— Ты, Веруша, не обращай на меня внимания. Это...— он невольно покраснел,— бывает с каждым...

Вера подняла глаза от книги и пытливо посмотрела на Алексея своими лучистыми правдивыми глазами.

— Да я ведь ничего, Алешенька...— Но губы ее жалко дрогнули, глаза увлажнились. Однако она поборола себя и продолжила: — Устал ты. Тебе бы на охоту денька на два, на три вырваться. А ты и ночами все за столом...

— Как Гордюша?

Верочка умолкла и, пересилив обиду, внешне совершенно спокойно ответила:

— Мальчик наигрался, поел и спит. Пожалуй, лягу и я, а ты не думай, садись работай: я и при свете сплю как убитая.

Алексей сел за стол. Но начать работать не мог: перед глазами вновь возникла Тина. «Я такая несчастная! Меня столько мучили!» — повторяла она сказанные когда-то ему слова.

«Ах, зачем я не вернулся тогда? Вернись — и не была бы она теперь прахом...» Он считал себя виновником гибели Тины. Его терзали угрызения совести. И, как он ни убеждал себя, что иначе поступить тогда не мог, на душе у него было тяжело.

А то, над чем он работал по ночам, как и томительные

воспоминания о Тине Шибельской, Алексей готов был таить не только от людей, но если бы было можно, то и от самого себя: столь дерзки были его замыслы.

И снова рабочий день. Читка и правка рукописей, разговоры с авторами, телефонные звонки, вороха почты, фотографии, рисунки, а в конце редакционного дня заседания правления Крайохотсоюза с председательствующим — старым большевиком Куражным, ведущим заседание с торжественностью архиерейской службы в кафедральном соборе.

Плановики, снабженцы, заготовители, оргинструкторы обсуждали бесчисленные вопросы повестки. Сибирская охотничья кооперация развертывала огромную хозяйственно-организационную и культурно-просветительную деятельность.

Алексей и слушал, и сам выступал, но больше записывал в блокнот цифры и факты, чтоб использовать их в очередной журнальной статье.

Но кончалось и длинное заседание, он обедал, просматривал газеты и журналы (уже 18 охотничьих журналов издавалось в системе Всекохотсоюза), писал статьи, заметки, и не только для своего журнала: отец был прав, говоря матери, что Алексей в него — «тяглый». Как и он, его сын был способен, не уставая, работать чуть ли не по восемнадцать часов в сутки.

Неожиданно, как с того света, в редакцию к Алексею однажды явился старик Шибельский. За сравнительно короткий срок он так постарел и похудел, дряблость, желтизна лица так изменили его, что Алексей не сразу узнал отца Тины. Голова старика с гладким, как камень, черепом тряслась. Еще недавно живые глаза потухли и слезились. Сморщенная рука была тоже пергаментно-желта и холодна.

Алексей усадил Шибельского в кресло и, прикрыв дверь кабинета, сел рядом с ним. Старик молчал, низко опустив голову.

— Какими судьбами? Когда приехали? — спросил Алексей.

— С месяц как здесь: до этого жил в Зыряновске, вблизи могилы Тинусн. Врачи выдворили в Усть-Утесовск. Но и там все напоминало о ней... Устроился юрис-

консультом в Сибгосторге. Все собирался навестить вас, Алексей Николаевич, и вот наконец...

Голос старика был глух. Слова с каким-то надсадным хрипом вырывались из его горла. Он вынул из кармана листок почтовой бумаги, свернутый вчетверо, протянул Алексею.

— Возьмите, это она вам... Я нашел записку в книге Стендаля «О любви», когда собирался к переезду. Это последние слова Тинуси... Мне не хотелось их отдавать, но они — вам, вам...

Алексей взял записку, не развертывая, положил на стол и накрыл пресс-папье.

— Вот и все,— старик, тяжело опираясь на подлокотник кресла, поднялся.— Прощайте, пойду.

Алексей задержал полумертвую руку старика в своей. Ему казалось, что Шибельский не сказал всего, что собирался сказать. И чутье не обмануло его: старик подался всем корпусом к Алексею и тихо выговорил:

— Я знаю, что вы все еще любите, помните Тину. Ее нельзя не любить! — Он высвободил свою холодную, сморщенную руку из руки Алексея и пошел из кабинета.

Алексей так и не нашелся, что сказать старику, только осторожно обнял его и, подлаживаясь под мелкий, стариковский шаг, проводил до двери.

«Когда любят по-настоящему — идут на все. Мне кажется, что для тебя я была готова на все: исполнить для любимого даже самое невозможное — счастье»,— прочитал Алексей в записке Тины.

Приход Шибельского и записка Тины выбили Алексея из привычной трудовой жизни. Вера ничего не знала об этой встрече, но сердцем любящей женщины поняла, что Алексею необходима встряска. Как и его мать, всегда лечившая своих детей природой, прогоняя их на рыбную ловлю, Вера считала, что природа — лучшее лекарство для него, и она уговорила мужа бросить все и поехать на охоту.

На знаменитых «Кизыках», раскинувшихся более чем на тридцать километров, с их заросшей непролазными камышами, осокой и аиром непрерывной цепью озер, с их островами, заливами с множеством протоков и рукавов, со сложным лабиринтом узких канав, он чувствовал себя как в неизведанной стране.

Всю эту озерную глушь, густо заселенную разнооб-

разной водоплавающей дичью, окружал подступивший к самым берегам Кудряшовский бор с редкими пасеками и обомшело-древними «сидельцами» в них. Пробираясь с одного плеса на другой на утлом челне, ночуя у пылающего костра, Алексей притушил боль в сердце.

Привольные озера с золотистыми кувшинками и нежнейшими фосфорово-белыми лилиями, стены зыбкой малахитовой осоки, шумящих камышей с их потаенной жизнью, неожиданные вылеты тяжелых крякв, юрких, стремительных чирков, гулкие выстрелы и первобытный охотничий азарт. Лесные поляны с сочной дымчатой ежевикой, пахучей черной смородиной и рубиновыми гроздьями чуть кисловатой костяники на излюбленных жировках тетеревиных выводков, живой трепетный мир и звенящая тишина.

Алексей лежал на траве, широко раскинув руки, и бездумно смотрел в далекое небо.

В шуме ветра, родившегося где-то за тридевять земель, в покачивающихся кронах сосен был тот же безмятежный покой, что и в его душе. Ни одна горькая мысль, ни одно несбыточное желание не обременяло, не нарушало радости отдыха в тенистом бору у хрустального родника. Пахучая трава щекотала ему лицо. Рядом, обдавая прохладой, детски болтливо лепетал родничок, пробившийся из недр земли в оправе из зарослей горицвета и мяты, а вокруг, не остановимая ни на мгновенье, кипела жизнь — в траве, в кронах сосен, в струисто-дрожащем воздухе: только смотри и слушай.

Это были целительные дни и ночи: большое горячее чувство жизни нарастало, крепло, и Алексея уже неудержимо влекло в город, за письменный стол — к перу.

Мудрость природы наделила человека спасительной способностью забвения, без которой немыслима была бы жизнь матери, потерявшей первенца, отца, утратившего любимого своего сына: все зарастает «травой забвения». В душе остается лишь тихая грусть, да на лицо ляжет первая паутина морщин.

Кто скажет, когда, почему и как изменяется человек? Не объяснили бы этого тогда ни сам Алексей, ни Вера, но с охоты он вернулся другим: кончились его запоздалые сожаления и муки: не в прошлое, а в будущее смотрел он, навсегда покончив с тревожно-мятущимся периодом своей душевной жизни.

«Человек вызывает к себе то или иное отношение в зависимости от того, как он сам держит себя с людьми»,— не раз вспоминал Алексей слова Басова.

Алексею не надо было казаться кем-то: он всегда был самим собой.

Охотником? Так он и воистину был им — неукротимым, страстным, достигшим многого и в высококлассной стрельбе, и в знании повадок дичи. Как охотник, он был просто очень талантлив: с звериным чувством ориентировки в любую темень, в камышах, в лесу, с острым глазом и слухом, упорен и вынослив.

Друзья-охотники любили его за неиссякаемый оптимизм: в удачу Алексей верил до конца, до последнего выстрела самой незадачливой охоты и как пример рассказывал подлинный случай:

— Ранней весной пригласил я гостей и похвастал: «Угощу дичью!» Поехал на излюбленные места, но вечернюю и утреннюю зори простоял без выстрела: пролетная птица шла под облаками. Обежал озерки — ни вылета! Отправился домой «попом» и уже вблизи переправы через Иртыш увидел на просянище табун гуменников: «Дай, думаю, с подхода!» Спéшился, подошел из-за Кости на дальний выстрел и нолевкой одного сбил на подъеме, а второй, пролетев с километр, упал в старицу. Подобрал и его! Сдержал слово — накормил друзей гусятиной!

Никто так не ликовал при сборах в отъезжее поле, не смеялся столь заразительно в дороге и у охотничьего костра, как он.

Новые новосибирские его друзья — писатели Зазубрин и Урманов, директор Сибкрайиздата Басов, художник-карикатурист Ромочка, редактор экономического журнала «Жизнь Сибири» Лавров, в подавляющем большинстве охотники-дилетанты, быстро поняли и оценили охотничьи таланты Алексея.

Своего, художественного, в Новосибирске Алексей ничего еще не дал в журнал: он краснел за первые свои рассказы. И хотя, как большинство начинающих, твердо верил в свое дарование, вера эта выросла быстрее, чем росли его писательское тщеславие и талант. И то, что он не печатался в литературном отделе своего журнала, а

печатал рассказы других, выглядело достойно. Писатели-профессионалы сразу оценили это и приняли его в свой круг таким, каким он был. На литературных собраниях и читках Алексей обычно сидел в дальнем углу и вел себя тише воды, ниже травы: смотрел, слушал.

Как и встреча с Басовым, встреча с редактором «Сибирских огней» писателем Зазубриным — автором первого советского романа «Два мира», высоко оцененного Горьким и прочитанного Лениным,— неизгладимо врезалась в память Алексея.

И не удивительно. Алексей был молод, жизнелюбив, жаден до всего нового, необычного, а Зазубрин был на редкость колоритен. Да и знакомство с ним началось довольно необычно. Через Басова Алексей попросил Зазубрина дать для первого номера журнала рецензию на только что вышедший в Москве сборник художественной прозы «Охотничий рог». В душе Алексей не рассчитывал на успех своей просьбы: «Известный писатель, дел — выше головы: и своя работа, и «Сибирские огни»,— до рецензий ли ему?» Но Зазубрин на следующий же день прислал рецензию. Радуясь, Алексей вскрыл пакет и прочел написанную на машинке страничку с перечислением названий рассказов сборника без какого бы то ни было отношения к ним автора рецензии. Это больше смахивало даже не на аннотацию, а на объявление о выходе сборника охотничьих рассказов.

Алексей был так уязвлен пренебрежением писателя, так оскорблен за свое детище, что, не раздумывая, размашисто-гневно написал на полях рецензии красным карандашом: «Не пойдет: слабо!» — вложил ее в тот же конверт и с этим же курьером вернул Зазубрину.

Через полчаса раздался телефонный звонок. Алексей понял: «Зазубрин!»

Сдержав себя, не спеша снял трубку, услышал нервный голос Зазубрина:

— Алексея Николаевича!

— Я вас слушаю, Владимир Яковлевич.

Судя по голосу, Зазубрин волновался не меньше Алексея.

— Вы... вы, Алексей Николаевич, дали мне пощечину. Но...— Он на мгновение умолк и потом еще более нервно, резко продолжил: — Но поступили совершенно пра-

вильно! Я был занят, сборник только перелистал, а Басов сказал мне, что вы уже сдали весь материал, кроме библиографии. И я... кажется, впервые в жизни схалтурил! Послезавтра утром я пришлю вам новую рецензию на «Охотничий рог».

И прислал. На двух страничках машинописного текста он сумел дать тонкий анализ сборника, включающего тридцать три рассказа.

И сейчас еще Алексей помнит отдельные места его рецензии: «К сожалению, нет описания охоты на гуся. А между тем охота на эту птицу осенью на просторных песках Волги по красоте своей может поспорить с любой лесной весенней охотой. И думается, что гусиная серебряная мелодия отлета не только не уступает глухарной «песне песней», не говоря уже о тетеревином бормотанье, но и превзойдет ее...» «В сборнике участвуют лучшие литературные силы Советской России: М. Пришвин, Б. Пильняк, В. Иванов, Л. Сейфуллина и другие.

Лучший же из лучших — Пришвин. Его рассказы по своей простоте, убедительности и какой-то особой сердечности держат читателя в прозрачном, свежем, зеленом лесном плену...»

Алексей поблагодарил Зазубрина по телефону.

А вот сегодня ему предстояло впервые встретиться с ним лично. И не в Сибкрайиздате, не на заседании в официальной обстановке, а у него на квартире, куда он, как сказали Алексею, вечно занятый, приглашал далеко не всякого.

Алексей знал, что Зазубрин настойчивей, чем даже Басов, стягивал к «Сибирским огням» талантливых поэтов, прозаиков и критиков — сибиряков. И, хотя сам он был волжанин и в Сибирь пришел вместе с Пятой Армией, успел полюбить ее, как истый сибиряк.

Получив по телефону приглашение, Алексей не без гордости подумал, что редактор «Сибирских огней» заинтересовался и им как литератором. Но ошибся: Зазубрин пригласил Алексея как знатока оружия.

Писатель сидел за простым канцелярским столом, на котором, кроме чернильного прибора с бронзовыми медведями да записной книжки, ничего не было. Высокий, в просторной художнической вельветовой блузе, скрады-

вающей его широкоплечесть, он поднялся Алексею навстречу и заговорил приятным баритоном:

— Прошу прощенья, Алексей Николаевич, за свой вид (Зазубрин был в дешевеньких в полоску бумажных брюках и в домашних туфлях, одна нога его была забинтована), простите, что потревожил вас. Вот охромел: свихнул на охоте ногу... Поручкаемся, как говорят в Сибири, и садитесь на этот диван, пожалуйста.

Алексей так крепко пожал белую, мягкую руку хозяина, что тот комически сморщил свое обрамленное густой черной, с антрацитовым блеском, бородой, на редкость выразительное лицо, помахал рукой и засмеялся:

— Правильно сказывали, что с вами опасно здороваться!

— Слухи несколько преувеличены, Владимир Яковлевич! Но... в волнении иной раз действительно забываюсь.

Зазубрин прохромал к своему столу. Алексей не отводил откровенно-изумленных глаз от внушительной фигуры известного писателя. Под его взглядом Зазубрин чуть прищурил горячие, острые глаза, вобрал смолистую бороду в горсть и многозначительно гмыкнул:

— А вы и впрямь, как говорил Басов, довольно непосредственны: уставились на меня, как на Венеру Милосскую...

— Впервой вижу настоящего живого писателя... Потом... вы такой высокий, и эта ваша борода, как у моего отца.

— Ну вот мы и обнюхались! А я вас по охотничьему делу побеспокоил. Понимаете, купил новое ружье, о каком всю жизнь мечтал,— английское, фирмы «Скотт». И с первой же охоты вернулся «протопопом». Понимаете, нажимаю правый — осечка. Естественно, горячусь — мажу и из левого. И так всю зарю. Озлился — готов был швырнуть ружье в воду. Вернулся с утренней зорьки, прыгнул из лодки, оскользнулся — на четвереньках выполз к пасеке. Друзьям охоту испортил: пришлось ехать домой. И Ромочка и Михаил Михалыч крыли-крыли и меня и ружье. Посмотрите, пожалуйста, мою «скотину», в чем тут дело.

Алексей внимательно осмотрел массивную — садочного типа — бескурковку двенадцатого калибра, высокого разбора с эжекторами и мелкой изящной гравировкой,

Попросив отвертку, вскрыл замки и обнаружил слабую правую пружину, когда-то уже сменившую фирменную.

— Наш оружейник Босанец поставит вам новую не хуже «скоттовской», и все будет в порядке...

— Ну, а как ружье, ружье-то, Алексей Николаевич? Ведь с меня за него кожу и с зубов содрали...

— Ружье вы приобрели доброе: Англия — страна первоклассного оружия.

Зазубрин просиял.

Они разговорились. Владимир Яковлевич продержал Алексея до полуночи: так его увлекли рассказы гостя об Алтае и старообрядцах, у которых за последние годы Алексей не раз побывал.

Жена Зазубрина, маленькая, спокойная женщина, словно нарочно созданная для того, чтобы уравновесить бурный темперамент своего мужа, напоила их чаем и ушла в детскую.

Зазубрин обладал талантом замечательного рассказчика, но еще большим талантом жадного, внимательного слушателя. Его интересовала почти не тронутая еще в литературе целина человеческих характеров, сложившихся при исключительных обстоятельствах истории заселения Алтая на протяжении восемнадцатого и девятнадцатого веков.

— У фыкальских мараловодов участвовал я в «гóнах» пантачей и наблюдал срезку рогов,— рассказывал Алексей.— Каких крылатых коней выращивают фыкальцы для таких «гонов»! С чащевитинскими рыбаками ловил таймешей на искусственную мышь, сделанную из обрывка суконки.

— Так вы и в Фыкалке и в Чащевитке у первозасельников побывали?

— Не только побывал, но и друзей приобрел среди молодых раскольников.

— Рассказывайте, и, пожалуйста, поподробней! Если б вы знали, какой это для меня клад! Мне вас сам бог послал!

Резко очерченный, словно вычеканенный на медали, профиль писателя с высоким, заметно лысеющим лбом выглядел необыкновенно мужественным. Но вдруг лицо Зазубрина стало угрожающе-пунцовым, а через минуту отхлынувшая от головы кровь сделала его лицо снова мраморно-белым с розовыми пятнами на щеках.

Алексей слышал, что Зазубрин человек вспыльчивый, нервный, что при возбуждении у него лицо мгновенно багровеет.

— Понимаете ли, Алексей Николаевич, каким драгоценным кладом вы владеете? Делитесь же, делитесь, не жадничайте...

И Алексей охотно рассказывал внимательному слушателю о попавшем в свой же медвежий капкан старике, самолично отрезавшем себе ногу, и его внуке — сильном, смелом богатыре с душой ребенка Силантии, влюбленном в красавицу комсомолку Марьяну и за это выгнанном и проклятом дедом-раскольником.

— Какая тема!.. И не только для романа — для оперы. Да ведь столкнуть два таких мира, как мир раскольников и мир большевиков! Ведь это же такой конфликтище! Вы еще не застолбили ее за собой? — невольно вырвалось у Зазубрина.

Алексей покраснел. Но, стыдясь выдать тайну своих ночных бдений за письменным столом, стыдясь признаться, что и он хочет стать писателем, смущенно пробормотал:

— Ну где мне... Владимир Яковлевич, зелен еще я... Писать надо только тогда, как говорил Толстой, когда подступит под самое некуда!

— Жаль, жаль, а материалище-то какой у вас! А то попробовали бы для «Сибирских огней», право. А что молоды и неопытны, так опыт приобретается в труде. Молодость не порок, а она обновляет жизнь, искусство, обогащает их творческим беспокойством, исканиями...

Зазубрин все реже перебивал Алексея. Но и редкие свои реплики он высказывал так, что в каждой его фразе чувствовался умный, много передумавший писатель-мастер, даже и в разговоре тщательно отбиравший каждое слово. И как ни был Алексей увлечен своим рассказом, он заметил, что когда Зазубрин говорил, то у него говорило и все его подвижное, выразительное лицо, и особенно длинные, цепкие пальцы красивых рук. Он то словно бы встряхивал отобранные им слова на ладони, то крепко сжимал их и, вновь разжимая, выпускал на волю, как голубей.

— Ну а ощущается ли новое, советское у ревнителей древнего благочестия? Как проникает к ним наша культура? Ведь это только на первый взгляд кажется, что в

деревне неподвижная окостенелость. Все, безусловно, в брожении, в завязях, в началах. Я до сих пор не верю одному из наших корреспондентов, ответившему на мой вопрос о культуре в деревне тремя коротенькими словами: «Ее там нет».

— Чтобы совсем не проникало новое — не скажу. Но и хвалиться раскольничьей деревне пока нечем: дикости, звериного еще много в ней. Да и можно ли всерьез говорить о культуре, когда сейчас в Сибири на каждые сто человек — восемьдесят неграмотных?

Алексей не терпел крикливого хвастовства, в нем он видел зачастую больше вреда, чем пользы.

— В той же Чащевитке,— продолжил он свой рассказ,— девушка-раскольница полюбила работника-новосела, забеременела от него. Жена ее старшего брата, кержачка, на всю деревню ругала свекра и свекровь: «Я, пока замуж не вышла, мужской снасти не видывала, а у вас девка тяжелая ходит! Не буду жить в опоганенном вашем доме!» Свекор и свекровь убили работника и, заметая следы, сбросили его со скалы в порожистую реку. Девушка удавилась.

А на одной заимке, из десяти раскольничьих дворов, я остановился у старика. Жил он на окраине с внучкой Аленкой. Чудесная, ловкая девушка, охотница завзятая, меня белковать выучила. Жить мне пришлось у них три дня: ждал выхода промысловиков из тайги. Вечером приходит к старику сосед, тоже старик. Слышу, разговаривают:

«Поганый бритоусец-то все-то еще у вас? И, поди, на промысел с Аленкой ходит?»

«У нас, и ходит, а что?»

«А то, что береги, сосед, внучку: не убережешь — и пробку выбьет, и водку выпьет. Осквернит сосуд — загрызут бабы девку».

— Как? Как? Повторите, Алексей Николаевич!

Поспешно, нервным, неразборчивым почерком Зазубрин вписал поразившую его фразу в записную книжку. Алексей все рассказывал и рассказывал. Зазубрин увлеченно слушал его, как естествоиспытателя, побывавшего в экзотической стране с ее новым, неизвестным ему миром.

— А богатства у мараловодов! Дома — что крепости: обнесены саженными заборами из пихтового кругляка.

Через весь двор проволока от собачьей конуры и по ней захлебывающиеся от злобы кобели с ры́скалом...

— С чем? С чем?

— С ры́скалом — с цепью на блоке. С годовалого телка, на задних лапах ходят.

По глазам Зазубрина было видно, что рассказы об алтайской деревне увлекли писателя. И Алексей рассказывал одну историю за другой о яростных столкновениях староверов с новосельской беднотой.

— Но не одни новоселы батрачили и терпели от богатеев мараловодов, не щадят они своего брата раскольника, а уж о работниках-казахах и говорить нечего.

Примечательна судьба одного чащевитинского парня Фишки, прозванного Мозгляком, который попал в лапы к мараловоду Абросиму Пеганову.

Два года пробатрачил на Абросима Мозгляк, а хозяин все не выдавал ему обусловленной при найме платы. И когда Фишка пригрозил хозяину судом, Пеганов посоветовал ему украсть у казахов двух коров: «Выбери ночь потемней и угони, а я укрою на своей заимке: ко мне не бросятся. Кыргыз — нехристь, украсть у них сам бог велел».

Развратил парня, и пошел он с той поры на сухом берегу рыбу ловить...

А какого мудреца, знатока всех декретов и советских законов, довелось мне встретить в Чащевитке! Библиотека, говорят, у него в сотню пудов. Соломоном мудрым зовут его раскольники. Отменен от всех волосатых мужиков. Череп, как у Сократа, совершенно гол. Один на всю деревню лысый мужик. «Хитер! Несказнимо хитер! За ум ему господь бог и лба добавил»,— утверждают раскольники.

Рассказывать Алексею было легко: наблюденные, отстоявшиеся впечатления, частично уже записанные им эпизоды о жизни раскольничьей деревни текли, как полноводный ручей.

Многое из того, что рассказывал Алексей, Зазубрин записывал. А когда выслушал историю о большевике, проводившем организацию в Чащевитке первой на Южном Алтае сельскохозяйственной артели, убежденно заговорил:

— Нет, дорогой мой, вам надо, непременно надо обо всем этом написать! Очерки, повесть, может быть, даже

роман. Ведь это же живая жизнь. У нас столько выдумывают о современной деревне, высасывают из пальца, а вы... Вы, как удачливый золотоискатель, вернувшийся с богатой добычей, расшвыриваете слитки золота. Смотрите, чтобы у вас не подобрали их... Обязательно пишите: вы так свежо, так ярко все воспринимаете. Так много знаете. А писателю нельзя знать меньше читателя: это ему никогда не прощается. И еще совет: только не приукрашивайте ничего в угоду тенденции. Молодые, такие, как вы, люди, располагающие свежими материалами,— лишь они смогут дать что-то большое, правдивое о нашей деревне. Вы даже меня, урбаниста, травленого волка, зажгли вашим Алтаем... Я попрошу вас дать мне адреса знакомых вам людей. Может быть, даже и письма коекому из них. Я обязательно, обязательно нынче же осенью, хотя бы на месяц, съезжу на ваш благословенный Южный Алтай...

— С превеликой радостью, Владимир Яковлевич! И адреса дам, и письма к своим дружкам...

Да вот уж — чего лучше для вас как для писателя-охотника Агафон Семенович в деревне Кутихе. У него на порожистой реке Тургусуне, рядом с медведями,— пасека. И сам он — энциклопедия зверовой охоты: рассказов — не переслушаешь! А язык! Что ни слово — самоцвет. Он вам и свою «бабушку» — старинную кремневую винтовку покажет. Уверяет, что от ермаковых времен уцелела. В ней около десяти килограммов весу, ее только на колесах возить, а он справляется. Горловина у нее, говорит Агафон Семенович, такая, что собака в нее без задержки полизать масла лезет. А пуля — как воробей, на полету видна и жужжит, что твой жук. Насмешил меня старик в первый же час встречи: я решил угостить его черной икрой (баночку мне жена сунула на дорогу). Он так шарахнулся от меня, так протестующе замахал руками, что я даже растерялся. «Да вы только попробуйте, Агафон Семеныч, ведь это очень вкусно!» — пытался я уговорить старика, но он все так же отмахивался от меня. И наконец сознался: «Чтоб я эту погань, поскакушечью нересть попробовал,— да из меня и кишки-то все вывернет!» Лишь тогда я понял, что черную икру он принял за «поскакушечью» — лягушачью — нересть...

— Слова-то какие! Да ведь их ни за каким письмен-

ным столом не выдумаешь! Подарите их мне, Алексей Николаевич!

— Сделайте одолжение!

Алексею говорили, что Зазубрин не только вспыльчивый и нервный, но что он и скрытен, и болезненно самолюбив, и совершенно не переносит критики своих произведений.

В первый же вечер Алексей убедился, что, как всегда, злые языки — из зависти ли к большому, яркому таланту или по скудоумию не поняв сложной натуры легко ранимого писателя — перехлестывали через край.

Зазубрин и сам в тот вечер столько порассказал Алексею о последней своей поездке в Москву и Ленинград, о встречах с Анной Ахматовой, с Артемом Веселым и Борисом Пильняком, что с лихвой рассчитался с ним за его рассказы об Алтае.

И как рассказал! Двумя-тремя фразами, выразительными жестами он живо представил начавшую стареть, но все еще красивую, с тонким строгим лицом истовой послушницы Анну Ахматову, завернувшуюся в дорогую турецкую шаль, полулежа на кушетке читающую свои стихи.

Черного калмыковатого верзилу Артема Веселого, в красной рубахе без пояса, с топором мясника в руках. Пригласив друзей, Веселый поставил на стол ведро водки, на ведро повесил ковш. Посреди комнаты у него стоял чурбак, на чурбаке — зажаренная ляжка быка. В гостях поэты: Клычков, Герасимов, Кириллов. Первым зачерпнув ковш водки, Веселый залпом выпил его. Потом, вооружившись топором, отрубил большой кус мяса, вгрызся в него, как печенег.

То же проделали и гости. И все это Зазубрин представлял в лицах. Как Сергей Клычков с сизо-черными волосами, подрубленными «под горшок», прежде чем пить из ковша, перекрестился стоячим раскольничьим двуперстием. Как смешно выглядел с топором в руках щупленький, неловкий поэт Кириллов.

В ту же поездку Зазубрин встретился и с Борисом Пильняком: здоровенный, рыжий, похожий на драматурга Островского. Россия для него, как земля в первые дни творенья, сплошной хаос. И в этом дымящемся хаосе новорожденная планета жадно ждет нового человека...

— Умен, талантлив, несказимо хитер, как ваш чащевитинский «Соломон»,— засмеялся Зазубрин.— Алексей Николаевич, а как ваше мнение насчет «Двух миров» Зазубрина? — неожиданно спросил он Алексея и исподлобья испытующе уставился на гостя. Кровь, прилившая к лицу Зазубрина, мгновенно отхлынула, и на побледневших щеках появились розовые пятна; какая-то чисто женская нервность отчетливо проступила и в выражении его лица, и во всей нетерпеливо-настороженной фигуре. Красивые длинные пальцы дробно застучали по столу.

В первое мгновенье Алексей растерялся — слишком неожидан был вопрос. Он давно прочел роман Зазубрина и составил о нем твердое, не совсем выгодное для автора мнение. Но высказать его в первую же встречу, вот так, глядя в глаза радушному хозяину, как он слышал, не терпящему критики, да еще ему, Алексею, не напечатавшему даже приличного рассказа, показалось дерзостью.

Но изменить своему правилу говорить только правду, изворачиваться и лгать Алексей с его непримиримой ненавистью к лицемерию не мог. Помолчав с минуту, он сказал:

— О достоинствах «Двух миров» как первого советского романа, написанного по горячим следам, я говорить не буду: пожалуй, заподозрите меня в подхалимстве.— Алексей улыбнулся.— Да о них вы знаете по отзыву Горького...

Для меня ясно, что книге суждена долгая жизнь: она подлинный документ сибирского лихолетья. Но, читая «Два мира», я все время ощущал, что написали вы свою книгу наспех, не дав образам вызреть, как говорят агрономы, до «восковой спелости». Впрочем, об этом вы и сами говорите в предисловии. В романе художника все время одолевает агитатор. Множество сцен в книге столь грубо-натуралистичны, что кажется, страницы их слиплись от крови. И потом, это ваше пристрастие: пугать читателя, как Леонид Андреев... Раздражает и рваная фраза... Вот, пожалуй, и все...— Алексей умолк.

Плотно сжатые губы, сверкающие глаза,— покрытое мертвенной бледностью красивое лицо Зазубрина было в этот момент необычайно выразительно.

Алексей невольно повторил:

— Вот, пожалуй, и все.

А Зазубрин все молчал. Только пальцы его все выбивали и выбивали дробь.

Наконец он будто через силу улыбнулся и заговорил:

— Откровенность за откровенность. Я немало встречался с людьми и интересовался их мнением о «Двух мирах». Слышал разное. Но... с такой детски бесхитростной, доходящей до дерзости откровенностью столкнулся впервые. Вы снова, как с моей рецензией, закатили мне пощечину. Это,— он помолчал, еще сильнее постучал пальцами,— грубо, неделикатно. Но... это и хорошо. Хорошо, что у вас есть и свое мнение, и мужество высказать его в глаза. Это так не похоже на обычные писательские комплименты друг другу...— И, уже окончательно овладев собой, Зазубрин вынул из стола увесистую рукопись. Протягивая ее Алексею, сказал: — Я никому из новосибирцев еще не давал новую мою работу, вам даю первому. Условимся, что, прочтя ее, вы так же прямо, пусть грубо, резко выскажете мне свое мнение.

Это была рукопись его повести «Щепка», о новониколаевской губчека, так впоследствии и не опубликованной.

Алексей взял рукопись и поднялся.

Прощаясь, Зазубрин задержал его руку в своей.

— А об алтайской деревне для «Сибирских огней» обязательно напишите. У вас получится: талант плодоносит тогда, когда он питается соками породившей его земли, когда автор живет радостями и горем своего народа. Родной вам Алтай вы и знаете, и любите, болеете, радуетесь за его людей. Значит, и получится настоящее. Если же этого нет у писателя, не спасут его ни вычурные сравнения, ни сюжетные сальто-мортале, чем многие занимаются сейчас. В искусстве есть только подлинное и подделка.

Зазубрин все держал руку Алексея в своей руке.

— Пишите же о своем Алтае. Повторяю: то, что вы рассказали мне, так ново, так ярко. И я чувствую, что у вас есть горячая потребность рассказать об этом. Помните, что говорил Лев Толстой о совершенном и нужном, главное — нужном произведении?

Алексей сознался, что этого высказывания Толстого не помнит.

— А я запомнил его дословно: «Для того, чтобы произведение искусства было совершенно, нужно, чтобы то,

что говорит художник, было совершенно ново и важно для всех людей, чтобы выражено оно было вполне красиво и чтобы художник говорил из внутренней потребности — и потому говорил вполне правдиво...» Подчеркиваю — прав-ди-во! С нашей деревней сейчас проделывается не виданный в мире эксперимент. А при российском невежестве здесь можно наломать столько дров, что и на ногах не удержишься. Тема эта сейчас наинужнейшая!.. Итак, обязательно, обязательно пишите. До свиданья, Алексей Николаевич. Рад нашей встрече. А ружье свое я вашему Босанцу пришлю...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Какими шелками расшила тебя, Алтай, щедрая мать-природа! Какие расстелила платы на заливных твоих лугах, увалах и крутогорьях!

Июнь — цветенье родной земли. Даже скалы закурчавились розовыми лишайниками, бирюзовой пахучей репкой, остролистым змеиным луком. Будто процвела каменная их грудь и дышит в знойном мареве многоцветным ароматом.

Даже хрустальные воды горных озер и рек заструились тонкими, как паутина, нитями водорослей, зазеленели мириадами лепестков, колышущихся в подводном царстве. Точно в глубине вод росло и цвело все так же неудержимо бурно, как и под горячим солнцем, на благодатной земле.

Золотой медвяный край!

Необъятны пчелиные твои пастбища, цветущие от первых пригревов солнца до заморозков. Сложен, густ набор запахов трав и кустарников. Приторно-сладкий — белого и пунцового шиповника, огненной под солнцем акации, крепкий и терпкий — дикого миндаля, черемухи, душновато-парной — рубиновых головок яркогольника, медвежьей разлапистой пучки и широколистой черемицы.

Азартно бьют ночами перепела, скрипят коростели, в урёмах заливаются соловьи,— прекрасна и полна жизни любимая моя земля!»

Алексей перечитал написанную страницу и, закрыв глаза, откинулся на стуле.

Счастливая улыбка осветила его лицо: в квартире все давно уже спали, ничто не мешало работе. Он так ждал этих часов, и ему не хотелось терять ни одной секунды «своего» времени. Писать и писать бы без передышки, стараясь как можно точнее, ярче, поэтичнее запечатлеть, что, как вихрь, проносилось перед глазами. Но усилием воли Алексей осаживал себя и после каждой написанной картины, сцены он, словно отодвинув на расстояние только что изображенное, зорко всматривался в него:

«Не поток ли это пустых, звонких фраз? Есть ли в них душа? Почувствует ли читатель за ними то же до дрожи сладостное ощущение, которое испытал сам, когда увидел и полюбил кипящие, гулкие в порогах реки с их поймами, цветущие зеленые долины, горы над снежными шапками и шелковые альпийские луга Южного Алтая? Когда хотелось не только любоваться ими, а схватить со страстью любовника, прижать к своему сердцу всю эту красоту, чтоб сохранить ее в нем до конца дней?»

Алексей не смог бы продолжать работу, если бы не утвердился в правильности и нужности для выполнения общего замысла написанного им пейзажа.

«Ощутимы ли богатство и красота родной земли: лицо моей родины? Картины природы надо живописать не только словами, но и ритмическим — музыкальным их звучанием: в них и время, и краски, и запахи — трехмерность, к которой всю жизнь стремился Флобер».

Как большинство начинающих, Алексей был самонадеян. И сейчас он не удержался от похвальбы:

«Есть рама! В нее я впишу картину «Люди алтайской деревни в стыке с современностью».

Есть ли еще где-либо в нашей стране второй Южный Алтай с его богатейшими селами и деревнями, где и рядовой скотовод, пасечник, мараловод с неограниченными земельными угодьями, с нетронутыми дарами природы, заурядный середняк — под стать матерому российскому кулаку? И вдруг — большевики с их лозунгами о разрушении старого уклада».

«Какой конфликтище!» — вспомнились слова Зазубрина.

«Но почему я утаил от него, что уже давно пишу об Алтае? Правильно утаил: не говори гоп...

Природа и люди Алтая — тема, которой можно отдать всего себя без остатка,

Писать только широкой кистью. И только правду. А людей давать в труде, в борьбе — в полный уклад страстей личных и социальных. Образы вылепить, вырубить до осязаемости зримо. Это же не хлюпики, а потомки Аввакума!

Кому нужно и кого в наше время увлечет стандартная, сладенькая любовишка двух хиленьких горожан с непременным страдающим третьим или третьей?

А достанет ли способностей? Да и вообще, есть ли они у тебя?.. Не один ли ты из тысяч самовлюбленных бахвалов, вообразивших себя писателем?»

Алексей вновь перечитал написанную страницу и сказал вслух:

— Хватит! На сегодня хватит...

С радостным изумлением он осмотрелся. В комнате было все так же тихо, только чуть слышно дышала спящая на кушетке Вера. Одеяло сбилось на сторону, заплетенная на ночь длинная черная ее коса опустилась до полу. Алексей подошел к жене, поправил косу, осторожно укрыл Веру одеялом и снова сел с тем же блаженным ощущением счастья. «Значит, и впрямь искусство делает человека счастливым»,— подумал он.

И так, после рабочего дня в редакции, из ночи в ночь, страница за страницей, глава за главой.

Вечер, проведенный с Зазубриным, еще больше подхлестнул его: это был заряд необычайной силы. «Вы на верной стезе. У вас получится. У вас не материал, а клад».

А в окнах уже зарозовело утро.

Алексей разделся и лег, но долго еще не мог уснуть: герои романа, природа Южного Алтая неотступно преследовали его. Они нередко даже снились ему.

— Искусство не есть наслаждение, утешение или забава: искусство — орган жизни человечества, переводящий разумное сознание людей в чувство! — Слова эти Вивиан Итин произнес так проникновенно и медленно, что многие из литкружковцев, в том числе и Алексей, как всегда сидевший в самом дальнем углу комнаты, успели записать их в блокнот.

Алексей жадно слушал и руководителей кружка, и споры участников при обсуждении прочитанного произведения. Мысленно возражал некоторым: недостаток

специального образования ему заменяла интуиция, способность сложное и запутанное мгновенно сводить к простому и до очевидности ясному. Но больше всего в понимании искусства ему помогало врожденное обостренное чувство красоты: грубость, фальшь, ложную красивость Алексей, казалось, ощущал даже кожей. Но сам он еще ни разу не принимал участия в спорах. И даже опасался, как бы его не заставили высказать свое мнение: потому и сидел, боясь пошевелиться, незаметно, точно под шапкой-невидимкой.

Душой, умом Алексей участвовал в спорах, мысленно произносил то одобрительные, то осуждающие слова, продуманные им в одиночестве ночей за своей работой. Все его существо рвалось навстречу острым, порою спорным высказываниям руководителей кружка: по прозе — Зазубрина, по поэзии — до девической застенчивости скромного Итина, человека большой культуры.

В конце занятий Зазубрин и Итин делали короткие, но всегда интересные доклады о новом искусстве, об отдельных писателях прошлого и настоящего.

Новосибирский литкружок был для Алексея своеобразным литературным институтом, а он — прилежным «студентом-вольнослушателем», который шесть дней в неделю редактировал свой журнал, возглавлял отдел культурно-просветительной работы в Сибкрайохотсоюзе, пять ночей писал свой роман, а в субботний вечер обязательно присутствовал на занятиях кружка.

Нередко кружки по прозе и поэзии соединяли и вели оба руководителя. Алексей любил такие объединенные занятия, на которых Зазубрин и Итин, как бы соревнуясь между собой, говорили особенно увлеченно. И что больше всего нравилось ему в них — это прямота, порой у Зазубрина доходящая до язвительной резкости в суждениях о произведениях современников, в том числе и присутствующего — Итина. И спокойное, иронически тонкое парирование Итиным высказываний Зазубрина, не мешавшее им дружить, совместно работать в «Сибирских огнях» и в литературном кружке.

В самом начале его творческого пути судьба счастливо преподнесла Алексею два приметных события в культурной жизни Сибири — Первый съезд сибирских пи-

сателей и вечер, посвященный пятилетию «Сибирских огней».

В парадном черном костюме, бледный от волнения, чернобородый великан с высоким лысеющим лбом, Зазубрин на залитой светом трибуне городского театра показался Алексею еще величественнее, красивее.

Его встретили громом аплодисментов.

В ярком двухчасовом докладе на съезде Зазубрин сравнил «Сибирские огни» с костром, разложенным в тайге в то время, когда еще хлестал свинцовый дождь гражданской войны. Костер был разожжен в чрезвычайно трудных условиях, на снегу, тут же у пустых окопов.

«По огням можно определить характер жилья,— говорил он.— У нас, конечно, не светлооконные небоскребы, а огонек где-то у чума...

Итак, товарищи, мы у костра!..»

Докладчик живо обрисовал плеяду зачинателей «Сибирских огней». Перечислил писателей, пришедших к «костру» позже: Анну Караваеву, Максимилиана Кравкова, Кондратия Урманова, Афанасия Коптелова, Алексея Югова.

Но даже и при перечислении имен оратор сумел показать творческое лицо писателя, сильные и слабые стороны каждого из них.

Алексей с волнением ждал, скажет или не скажет Зазубрин о самом молодом авторе — Каргаполове. Уже по первым повестям этот писатель понравился ему своей искренностью, прямотой и знанием жизни не по чужим книгам и газетам, а в ее подлинности. И еще: своей непримиримой ненавистью к бюрократизму — этому основному врагу Советской власти, против которого так остерегал партию Ленин.

И Зазубрин, словно угадав состояние Алексея, заговорил и о Каргаполове.

«Последним в «Сибирские огни» ворвался, прибежал с криком Каргаполов. Он начал с повестей о крестьянстве. Он принес в редакцию две повести, такие же растрепанные, как и он сам.

Но за этой растрепанностью чувствовалась какая-то сила. Казалось, что слова распирают Каргаполова, как зерно — туго набитый мешок.

...Каргаполов пришел в революцию с большой любовью к земле, к пашне и с острой ненавистью к городу,

...Каргаполов берет деревню, развороშенную белыми, красными, войной, разверсткой, конфискациями, деревню, «спящую на топорах». «Коровы мои яграють, я хлеб им, вино пью... По солнцу, по ковыльному, шел Анбуш Иван, шел, играл, пел...»

Каргаполов, как и герой его повести Анбуш, видел в деревне красных и белых и наших продагентов. Он знает, что для крестьянина такие слова, как «разверстка и конфискация». В город писатель пришел с крестьянской озлобленностью на него (на город). В его вещах не редки страницы, насыщенные этой злобой, страницы, стянутые узостью крестьянского кругозора.

...Отрывок из романа «Под голубым потолком» написан именно так. Пусть отрывок в целом недостаточно художественно убедителен, но отдельные его места больно и верно бьют в цель.

А. К. Воронский, прочитав одну из повестей Каргаполова, говорил ему: «Не пойму, что это у вас такое — реализм не реализм... Не пойму...»

Можно ответить Воронскому — в повестях Каргаполова — советская действительность. На самом деле, что может быть причудливее, невероятнее нашей действительности? Идешь по улице — видишь колонны пионеров, комсомольцев, войдешь в какое-нибудь учреждение и руками разведешь... Совработники тут сидят или гоголевские Акакии Акакиевичи? Вот уж верно, товарищ Воронский,— не понять...»

Яркой была и заключительная часть доклада, в которой Зазубрин наметил пути развития сибирской литературы.

Зазубрин говорил, не заглядывая в конспект. Время от времени он вскидывал правую руку и опускал ее, как бы подчеркивая важность высказанной мысли.

«Я чувствую, товарищи, что мы тянемся к шкале культурных завоеваний десятого Октября, тянемся, чтобы на этой огромной шкале сделать маленькую, свою зазубринку»,— такими словами Зазубрин закончил свой доклад.

Зал взорвался громом аплодисментов.

Итин говорил о сибирских поэтах.

Как и Зазубрин, Итин был тоже в черном, но не в обычном костюме, а в отлично сшитом смокинге, в белоснежной крахмальной манишке с высоким, подпиравшим

шею воротником, с широкими манжетами и сверкающими в них золотыми запонками.

Среднего роста, тонкий, стройный, тщательно выбритый и гладко причесанный на английский манер.

У него большие темные, в густых ресницах, скорбные глаза. Тонкое, умное лицо его всегда сосредоточенно. Итин редко улыбается, и улыбается только одними губами, но и во время улыбки лицо его остается задумчиво-грустным, погруженным в самого себя, занятым какой-то одной мучительно-неразрешимой мыслью.

Лидия Сейфуллина прозвала его Спящим Царевичем. Но теперь в своем смокинге он выглядел несколько иным, чуточку торжественным и даже взволнованным. Доклад о сибирской поэзии Вивиан Азарьевич начал, как и всё, что ни делал он, не спеша, убежденно-строго:

«В первом номере «Сибирских огней» В. Шанявец писал: «Суровая страна Сибирь. Не любит искусства. В Сибири вообще трудно отыскать нужную книгу, а со стихами пуще того. Издать такую книгу здесь почти невозможно.

Да это как-то и звучит странно. Сибирь и стихи...»

Прошло пять лет (только пять лет!). И теперь никто не скажет, что это звучит странно.

...Конечно, формула Шанявца не была верна и пять лет назад.

Георгий Маслов, молодой поэт (умер в 1920 году в Красноярске от тифа), убежавший из Петрограда от голода и большевиков и попавший в колчаковскую армию, декламировал в омских поэтических кабачках:

Пора стряхнуть с души усталой
Тоски и страха тяжкий груз,
Когда страна изгнанья стала
Приютом благородных муз.
Здесь вечно полон скифский кубок,
Поэтов — словно певчих птиц,
А сколько шелестящих юбок,
Изящных талий, тонких лиц!
От мира затворясь упрямо,
Как от чудовищной зимы,
Трагичный вызов Вальсингама,
Целуясь, повторяем мы.
А завтра тот, кто был так молод,
Так дружно славим и любим,
Штыком отточенным приколот,
Свой мозг оставит мостовым.

...Силы в бурях мы растратили,
Но настала тишниа.
И теперь мы лишь мечтатели
За бокалами вина.

В этом все, в сущностн, содержанне поэзии пернода колчаковщнны. Но даже в то время по вольным тайгам Сибнрн пелись совсем другие песнн. Поэт мннусннскнх партнзан Рогознн протнвопоставлял нзящным масловским виршам, ощущенню своей гнбелн — счастье борющегося, бессмертного коллектнва:

Услыша вольиый голос рога,
Мужик тотчас бросает плуг.
И собирается в дорогу:
В тайгу! Бить троиа верных слуг!
Мать починяет однорядку,
Жена тащит пятизарядку,
Сыи кабаргиную доху,
А сам наспех седло латает,
На иоги бродии обувает...
Часы невидимо бегут.
Мятежиик, наскоро прощаясь
Со всеми, высказал жене:
«Не плачь, Федора, обо мие!
Коль не убьют, так жив останусь,
Убьют — вон Тишка подрастет».
И в горы конь его иесет.

Итнн подробно рассказал о том, что стнхн в редакцню «Снбнрскнх огней» прнходят с голубых Алтаев н полярных тундр. «Я безумно люблю пнсать стнхн»,— пншет шахтер нз Черемхова, но плохо знаком с техникой построення — ямб, хорей н т. д.

Я ие свериу с дороги этой,
Ну что ж, что горы впереди,
Пущай и тучи, мне — поэту
Дорогой этою идти.

Вот преимущественно из какой среды растет молодая поэзия «Снбнрскнх огней». Это хорошая среда. Снбнрские поэты не отрываются от своей землн. Онн много работают, учатся».

Сорок восемь поэтов, печатающнхся в «Снбнрских огнях», назвал Итнн, в нх чнсле Асеева, Орешнна.

Вдумчиво разобрал творчество крупнейшнх поэтов Снбирн, таких, как Драверт, Ерошнн, Скуратов, Сергей Марков, Иосиф Уткнн, Леоннд Мартынов.

Как и Зазубрину, зал долго аплоднровал Итину.

За эти дни, дни Первого съезда сибирских писателей, Алексей многое осмыслил по-новому и, перечитывая свою работу, ясно увидел ее недостатки: «Длинно, сыро! К черту! Все к черту! Все заново!..»

Желание переписать заново все написанное было так велико, что, вернувшись с вечера, посвященного прозе сибиряков, он сразу же принялся за работу. И к утру уже «перелопатил» одну из сцен, сжав ее чуть ли не вчетверо: «Читателя не только в начале романа, но и в начале каждой главы необходимо сразу же вести за собой».

Мысленно обозрев все прочитанное им о современной деревне, Алексей увидел и узость поставленных проблем, и мелкость, стандартность образов.

«В деревне — революция, равная Октябрю: все дыбом! Какие люди, какие характеры столкнулись! А тут Тюхи да Пантюхи. И обязательно — бедняки в лаптях, кулаки с оскаленными зубами, в сапогах бутылками!»

И вообще, как казалось ему, многие из столичных писателей переживали «сырьевой и стилевой кризисы»: им явно не хватало полноценного жизненного материала. И если годы революции и гражданской войны, бросавшие людей в самое пекло событий, вынесли на гребень ряд крупных, ярких имен, то сейчас писатели зачастую повествуют — не пишут, а именно повествуют — тусклым, школьно-грамотным языком о событиях, далеких от кипучей действительности наших дней.

«У тебя клад! — вспоминая слова Зазубрина, думал он.— И его надо подать так горячо и отграненно, чтоб каждая сцена была не похожа ни на что, как не похожи ни на кого твои герои с их языком, твоя природа с ее богатством и красотой»,— вспомнил Алексей слова Зазубрина.

«Прав Зазубрин: за пять лет ни один сибирский писатель не показал еще колоссальных геологических смещений классовых пластов нашего народа».

Вера уже проснулась. Она, как всегда, молча, не двигаясь, наблюдала за работающим мужем. Вот он пробежал глазами исписанную страницу, откинулся на спинку стула, негромко заговорил сам с собой:

— В романе все надо давать заостренно и только — в показе. Даже такой третьестепенный персонаж, как вор Фишка, должен запомниться с первых же строк!

Написанное вчера не удовлетворяло Алексея сегодня,

Охотничий рассказ из жизни алтайских промысловиков об охоте на соболя, написанный в спокойно-повествовательной манере, нравившийся в свое время и ему самому, и читателям журнала, теперь уже не удовлетворял его узостью темы, бытовизмом. Он решил развернуть его в социальную повесть с напряженно развивающимся сюжетом.

«Только в острой классовой борьбе выковываются сильные характеры».

Это были блаженные минуты в жизни Алексея: крепло убеждение в своих способностях, мечталось о будущей книге. Хотелось работать, работать хоть двадцать часов в сутки!..

Алексей почувствовал устремленные на него глаза жены, обернулся, встретился с ней взглядом.

— Веруша, слушай! Я переделал все заново.

Она поднялась, села с ним рядом.

Алексей вполголоса прочел только что переделанную им сцену. Прочел и, не ожидая оценки Веры, не опасаясь больше разбудить тещу и сына, заговорил во весь голос:

— «Медвежий браслет»! Вот название романа!

Вера улыбнулась. Алексей отодвинулся от нее, помрачнел.

— Лешенька, да ведь и тот вариант был неплох! До каких же пор можно переделывать написанное? Я... я боюсь, что и этот ты снова забракуешь.

Алексей вскочил и, уже закипая, не заговорил — закричал:

— И забракую! Если потребуется — пять, десять раз забракую!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Увлечение, охватившее Алексея при новой — в который уже раз! — переделке романа, не на шутку беспокоило Веру.

— Так и до беды недалеко: с утра до вечера в редакции, ночь — за столом. И ни конца этому, ни края: опять все сызнова! — пожаловалась она матери Алексея, приехавшей навестить сына.

— Кто-кто, а уж я-то его хорошо знаю, невестушка: вцепится — не оторвешь. Теперь его можно только на

хитрость взять: либо на большую охоту кому-либо из друзей уговорить, либо, как тогда,— в отпуск на Алтай с Иваном Ерошиным. Тому только шепнуть — враз соблазнит.

Но соблазнить Алексея даже на поездку в родные края оказалось невозможно. Последние два года Алексей номер от номера улучшал журнал, увеличивал его объем, совершенствовал оформление. Он привлек новых опытных сотрудников в основные отделы. В журнале регулярно сотрудничали москвичи: Михаил Пришвин, Николай Зарудин, Николай Смирнов, дальневосточник, автор «Дерсу Узала» Арсеньев. Сибиряки — Зазубрин, Урманов, Иван Ерошин, Павел Васильев. В отделе публицистики появились имена крупных партийных работников — Емельяна Ярославского, Эйхе.

Тираж журнала рос, Сибирская охотничья кооперация крепла, обогащалась влюбленными в свое дело работниками. Ленинская идея, охватившая уже широкие массы кооперированных охотников Сибири, в большинстве промысловиков, одухотворенных творческим созиданием, воистину становилась «материальной силой». Размах охотоведческих мероприятий, связанных с охраной пушных богатств, за которые Алексей тоже нес моральную ответственность, прочно привязывал его к Новосибирску.

За годы работы в сибирской столице Алексей побывал на Южном Алтае дважды. Первый раз — один, второй — с поэтом Иваном Ерошиным, выходцем из российской деревни, влюбленным в Алтай, начавшим свой литературный путь в «Правде». Милого и талантливого этого человека, невысокого роста, курносого, с детства привыкшего к нищете, способного, как говорил о нем Зазубрин, на гривенник прожить сутки, восторженного, убежденного холостяка, за светлую душевную наивность прозвали в Новосибирске Алешей Карамазовым.

После поездки с Алексеем в самые глухие углы Южного Алтая поэт считал, что во всей крестьянской Руси самая крестьянская — Сибирь, а в Сибири — Алтай, а на Алтае — Чащевитка, Фыкалка, Светлый Ключ...

Но сейчас и горячие упросы Ерошина не помогли: Ерошин уехал на Алтай один.

Помогло другое: растущее недовольство наново переделанными главами.

Как-то ночью Алексей перечитал некоторые страницы своего романа. Диалоги показались ему водянистыми — не столь колоритными, как образная речь алтайских раскольников. В пейзажах он не ощутил поэзии, высокой, непреходящей красоты природы.

Не дождавшись утра, Алексей пошел в редакцию и стал рыться в ящиках стола, где у него хранились два блокнота с записями живой речи, песен, сказок, наговоров, поверий и пейзажных зарисовок, сделанных с натуры в разные времена года и даже в разные часы дня.

Один блокнот пропал. Уцелевший — с пейзажными зарисовками — тоже не вполне удовлетворил его. На самой последней странице блокнота он прочитал такую запись:

«Надвигался прохладный тихий вечер конца сентября. Чащевитка с высокими рублеными, темными от времени домами раскинулась в долине реки, на обрывистом берегу. Далеко на горизонте высились подоблачные хребты в сверкающих ледниках. Ближе горбатые увалы да горы обложили деревню: на западе — Большой Теремок, на востоке — Малый. Горы прозвали Теремками за похожие на башни княжеских теремов вершины, заросшие кудрявыми березами да пышными рябинами в первом ярусе, оливково-темными пихтами — во втором и лиственницами — на самых кручах. Осенью в ярчайшие краски убираются на Теремках леса. Глаз не оторвешь от жгучей киновари рябин, от багряно-золотых берез и синевато-темных пихтачей, пушистых, как мглистый мех баргузинского соболя. Дивно похожи они тогда на расписные терема...

С севера на юг горы рассекла широкая зеленая долина, и бурлит и мечется в ней голубая под белой пеной порожистая река...»

Сердце Алексея забилось сильнее. Он увидел перед собой раскольничью деревню, в которой жили его герои, где разворачивались события его романа.

«Обидно, что таких зарисовок у меня пока что мало! — думал он.— Все пейзажи надобно переписать. Необходимо пожить сегодняшней жизнью маралушкинцев, чащевитян, светлоключанцев — пополнить словарный запас... Прав Толстой: работать, не подготовив всех материалов, «не соорудив подмостков»,— только стены завалишь».

Так решилась судьба третьей поездки на Алтай. На этот раз спутником Алексея был писатель Кондратий Урманов.

Грузный человек с ласковыми голубыми глазами, с тихим, глухим голосом, он оказался покладистым спутником: в крупном его теле скрывалась кроткая, любвеобильная душа.

Выросший в ковыльных степях близ Петропавловска, Урманов с первого взгляда влюбился и в подоблачные горы с цветущими долинами, и в порожистые реки с непролазными зарослями малины, смородины, ежевики.

Друзья колесили по Южному Алтаю без проводника на выносливых, цепких алтайских лошадках, нанятых на срок в первой же деревне, лишь только высадились они с парохода в верховьях Иртыша.

Бескрайнее царство синих гор, порожистых бирюзовых рек и зеленых долин старожилы зовут кратко и выразительно: Камень.

— Камень, он, паря, велик, его и птиса за месяс не облетит, а вы на вершных хотите. По полтинничку в день с лошадки, а там хоть год ездий на ей,— сказал Алексею хозяин лошадей. На том и сошлись...

С непривычки первые дни грузный степняк Урманов проклинал подъемы и спуски, по которым извивались тропы. Потом обвык и полюбил Камень за невиданно щедрые краски, за изобилие ягод, рыбы и дичи, за могучий взлет гор, уходящих под самые небеса.

— Вот уж воистину Камень! Да есть ли еще где в нашей стране эдакое богатство и красота!

А подъем все круче и круче. И куда ни глянешь — все шире, все синей открываются новые, заросшие тайгой горные кряжи. Все жарче, тяжелей дышат лошади, а седла на ослабевших подпругах сплывают чуть ли не к самым их хвостам и держатся только нагрудниками на взмыленных шеях.

Впереди же новый поворот тропы и новый зигзаг подъема. Зато какой росплеск горной тайги открылся глазам на все четыре стороны на переломе преодоленной высоты!

Часами смотри — не налюбуешься...

Алексей жадно глядел на красоту родной земли, и в огне его души теснились, плавились слова, которыми он запечатлеет увиденное в своем романе.

А ночевки под чистыми звездами у костров! А свежие медвежьи следы на таежных тропах! А гулкие вылеты из-под самых ног угольно-черных, до искристой стальной синевы, «монахов» — косачей с карминно-красными бровями и великанов глухарей. Сбитые выстрелом Алексея, они приводили его спутника в восторг царственной раскраской пера, а поджаренные на привале — как деликатесное блюдо.

И конечно же люди: бородатые потомки Аввакума — «последние могикане», нерушимо пронесшие через два с лишним столетия быт и нравы допетровской Руси, в стыке с небывало новым, неслыханным.

Ни в одном краю обширной Советской России, как казалось Алексею, политическая обстановка для проведения коллективизации не была столь сложной, как на Южном Алтае. Нигде не было таких классовых противоречий в умонастроениях его обитателей.

Ни Кубань, ни Дон, ни Украина, ни тем более средняя полоса малоземельной России не могли идти ни в какое сравнение с богатейшим Южным Алтаем. «Вот и подойди к этим людям с одной меркой!»

Долгие ночные разговоры у костра на биваках:

— Бесспорно, раскольничья деревня лет через пятнадцать — двадцать будет иной. Только не слишком ли поспешно, не через колено ли ломают этих людей, по пояс вросших в старину? Не обмелеют ли текшие молоком и медом алтайские реки?

Эти вопросы не давали покоя Алексею; знакомая ему деревня Маралушка походила на разворошенный улей. Подавляющее большинство охотников-промысловиков, вечных скотоводов и пчеловодов ходили как в воду опущенные.

— Из рук все валится, Алексей Николаевич,— слушал он их разговоры.— Ни до чего охоты нет: «Вступай, а то раз и квас: в кулаки запишем». А какой я кулак, когда у меня и у всей моей семьи с мальства мозоли в горсти не умещаются... Одним словом, гнут — не парят, по-медвежьи орудуют. Вот и приходится подгонять себя под бедняка: резать стельных коров, маралух, душить пчел. А кому от этого польза?

И Алексей и Урманов смотрели на потемневшие, построенные из вековечного листвяга дома раскольников.

Им хотелось проникнуть под эти крыши, влезть в души их хозяев.

Подолгу беседовали с местными партийными работниками, с многочисленными уполномоченными райкомов. В большинстве это были люди, беззаветно преданные партии, неглупые, незлые, отлично понимающие, что не всегда и не везде пригодна крутая мера в живом деле человекостроительства.

Издерганные, охрипшие от уговоров, с воспаленными, красными от бессонных ночей глазами, вынужденные «гнать и гнать спущенный им «процент», порой уполномоченные срывались в крик, в брань. Многие из них безвестно гибли от кулацких расправ. «Какое смелое надо перо, чтоб правдиво, честно увековечить это грозное, сложное время!» — думал Алексей.

Урманов спешил домой. Но Алексей не мог вернуться, не попытавшись разобраться во всем. Он остался еще на месяц, решив побывать в Чащевитке — посмотреть, поговорить с хорошо знакомыми ему мужиками по душам: «Народ напуган, деревня сейчас как заряженное ружье со взведенным курком. Одному мне даже сподручнее: Кондратия не знают — опасаются».

И в Чащевитке многое увидел, а еще больше услышал Алексей за этот месяц. Насмотрелся на середняков-единоличников, крутившихся вокруг колхоза «как около неизбежной своей судьбы».

— Нелегко, нет, нелегко увести с родного двора выхоленных своих коней на артельную конюшню,— плакались ему.— А приходится: видно, пришла пора кончать единоличного беса тешить... Долго ходил, а душа в груди, что прелого сена клок... Улестили — взошел. Неделю состою, другую,— вижу, и сам я, и соседи работают вполголоса. Думаю: «С такой работой всей артелью подохнем. Ведь рушим же мы всю нашу жизненность, ведь это же Алтай-батюшка, а не лапотная нищая Расея...» И накатил на меня обратно припадок собственности: увел коней с общего двора. А теперь опять ночей не сплю: а ну как окулачат? Коммуния, артель нужны отпетым беднякам. Ведь это в газетах только пишут, что и середовик в них прочно сидит. Не скрою, может, где в других местностях и сидит, но только не у нас по своей воле сидеть ему... Был здесь районный газетный писатель, тоже до посиненья кричал: «Вступайте, покуда просят. После спохва-

титесь, да поздно будет...» Отвел я его в сторону и говорю: «А скажи мне, мил человек, только по совести: неужто дозволено нашего брата насильно в ваш этот рай тащить?» Сменился он в лице, ничего не ответил.

Сухощавое, побитое оспой лицо неглупого мужика Игната Курочкина, его испуганные, растерянные глаза надолго запечатлелись Алексею: «Умен, но упорен. Таких середняков надо только экономической выгодой, сельскохозяйственными машинами, тракторами, комбайнами, облегчением труда, культурным переустройством всей их жизни за колхоз агитировать».— «А как же с индустриализацией всей страны? — словно бы со стороны кто шепнул ему в самое ухо.— Как быть, когда мы окружены вооруженным до зубов враждебным миром? Когда металлургия и станкостроительные заводы нужны не менее, чем хлеб и масло? И как же, как сделать, чтобы одновременно и строить, и не только не подрывать, но и развивать как можно скорей наше сельское хозяйство? Нет, не так-то все просто, дорогой мой Игнат, хочешь не хочешь, а спешить с коллективизацией приходится!»

О многом думалось в бессонные ночи: ведь он был сыном своего народа, и горячо любимый им Южный Алтай не заслонял от него всей многонациональной России.

В эту поездку он зорче, чем во все предыдущие, рассмотрел не только отжившие социальные группы раскольничьей деревни — изуверски закоснелых в стяжательстве, наживших свое богатство на труде казахской и новосельской бедноты торговцев маральими пантами с Китаем, матерых кулаков, уставщиков и начетчиков,— но и молодые силы ее — еще почти не живших полной жизнью, однако рвущихся к ней всей душой вчерашних батраков, подобных его другу Силантию Батуеву. Видел он и партизан, участников гражданской войны с алтайским байством, с колчаковско-кайгородовской белогвардейщиной. Видел обиженных в прошлом наделами новоселов — выходцев из российских губерний. Видел и понял, что все эти люди по своему душевному складу нисколько не похожи на мужиков Чехова и Бунина. Что они в новой социальной обстановке еще не раскрыты литературой. Что недоучитывать этой новой силы в современной алтайской деревне писателю нельзя.

И дни, и долгие вечера Алексей проводил в сельсове-

тах, в правлениях артелей на собраниях и заседаниях. А в доме, отведенном для ночлега, при керосиновой лампешке до утра писал. Блокноты пухли, пухла и голова: «Все, что ты увидел,— ново, свежо, никем не сказано. Скорей домой и — работать, работать!»

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Настоящая работа над романом началась только по возвращеиии Алексея с Алтая.

Уже с утра он с иетерпением ждал иочи, когда остается один на одии со своими героями. Судьбы их теперь уже ие зависели больше от его авторской воли, они жили своей самостоятельной жизнью. В их чувствах и поступках проявлялась своя железная логика.

Ои следил только за тем, чтоб ие солгать, ие приписать им того, чего они иикак ие смогут не только сделать, но даже и подумать об этом. Оии росли у иего на глазах. «Если писатель, работая, не видит того, о чем пишет, то и читатель ничего ие увидит за его словами»,— вспомииались ему слова Итииа, сказаииые на одном из занятий литературиого кружка.

И вот, как казалось Алексею, ои уже отчетливо видел своих героев со всеми их помыслами, жестами: казалось, что наконец-то он «полиостью влез в их шкуры». Что он подиимает целииу, ради которой иеобходимо мобилизовать всю свою жизнениую силу, всю страсть: ведь то, что пишет он, не просто летопись фактов, а стремлеиие запечатлеть неповторимый исторический рубеж в жизии народа.

В такие часы Алексею казалось, что он может совершить даже невозможное, как та хрупкая герцогиия Бальзака, в отчаянии сломавшая своими пальчиками прутья тюремной решетки, как спортсмен при «взрыве мышц», вскидывающий над головой рекордный вес.

Страница за страницей, сцеиа за сцеиой.

Работа прерывалась только для чтения. Но и чтеиие теперь было совсем отличным от чтеиия раньше: каждая книга одновременно не только доставляла ему иаслаждение, ио вызывала раздумья, служила своего рода учебником. Даже отдельные фразы надолго остаиавливали и словно зачаровывали его: «Солицем живем,

Им одним, родная моя. А радостно, радостно солнцем дышим».

Эти слова из повести Каргаполова «Повесть полей» потрясли Алексея скрытой в них силой: три коротенькие фразы — и во весь рост встал духовный облик кристально чистого народолюбца Федора Петровича, мучающегося муками разворошенной, перепуганной налетами белых, зеленых, всех цветов и оттенков вооруженных людей, грабежами и конфискациями российской деревни.

Алексея увлекли попытки проникнуть в сложнейшие, тончайшие тайны русского языка, в искусство отыскивания единственно нужного, «волшебного» слова, сконцентрировавшего в себе «и свет, и цвет, и звук, и чувство, и мысль» из неисчерпаемых родников русской речи.

Слово. Все в слове!

И, чтоб все время помнить, думать о нем во время работы, перед глазами у Алексея висела выписанная полюбившаяся ему фраза известного в то время на Алтае учителя коммуны «Майское утро» — Адриана Топорова: «Я ВЕРЮ, ЧТО КНИГА, ЯЗЫКОМ КОТОРОЙ НЕ ЛЮБУЕТСЯ ЧИТАТЕЛЬ, ИЗДАНА ЗРЯ».

Чаще всего своеобразным учебником были для Алексея произведения Льва Толстого.

Первые же страницы «Войны и мира» приводили его в восхищение емкостью, многоцветностью палитры великого писателя. Показывая Анну Павловну Шерер, рисуя образ придворной дамы, Толстой одновременно раскрывал и старого вельможу, князя Василия, и круг тогдашних политических и общественных интересов великосветского Петербурга. Тем же приемом одновременного показа Толстой пользовался и при обрисовке внешности и характеров своих героев. И еще один «секрет» творчества Толстого «открыл» Алексей на тех же первых страницах романа: обязательное внутреннее напряжение в каждой сцене. Анна Павловна, беспокоясь о престиже своего салона, все время внимательно следит за увальнем Пьером, а Петр все-таки совершает промах.

Вероятно, большинство начинающих писателей, как когда-то, возможно, и Толстой, много и жадно читали, стараясь разгадать «секреты» классиков, но Алексею казалось, что до этого додумался только он. И это тоже доставляло радость.

Теперь даже и в воскресные дни он не выезжал на охо-

ту. А когда Верочке удавалось уговорить его, то подготовку патронов, чего раньше он не доверял никому, за него делала она: чуть ли не преступлением считал Алексей каждый «украденный» у работы час.

Но и на охоте он не переставал думать о своей рукописи и часто прозевывал налетавшие стаи зажиревших осенних уток.

Великие надежды возлагал Алексей на свой роман. А закончив первую его часть, он не только не вынес ее на обсуждение на литературном кружке, но даже и не сказал никому о ней.

Знала об этом только Вера, но и она слышала только отдельные сцены. Перепечатанную рукопись Алексей запер в столе на ключ.

Что было причиной такого страха, Алексей и сам не смог бы объяснить. «Может быть, еще многое переделаю,— думал он,— а может быть, все это просто никуда не годится».

Алексей замкнулся в себе. Даже сына Гордюшу, уже начавшего лепетать, привыкшего к ласкам отца, сторонился. Вера понимала состояние мужа и не докучала расспросами: «Пока не перемучается, ничего не скажет».

Но кипучая натура Алексея не могла долго мириться с неопределенностью. Решение было принято неожиданно: «Двум смертям не бывать, одной не миновать. Опубликую первые главы в своем журнале — посмотрю, как примут. А там будет видно».

Первые главы были опубликованы в апрельском номере журнала. Алексей назвал свое произведение не романом, а повестью. «С повести меньше спрос»,— думал он. В конце — «Продолжение следует». Но в майском номере дать продолжение повести не рискнул: не было читательских откликов. «Значит, плохо. На том кончу печатание. Начну писать все сначала». Но откликов за такой короткий срок и не могло быть. Только когда майский номер был разослан подписчикам и они не нашли в нем обещанного продолжения повести, в редакцию посыпались читательские письма с запросами.

Алексей воспрянул духом и стал печатать главу за главой. До конца года была опубликована первая часть книги. Вторую часть романа — теперь Алексей уже не боялся этого ко многому обязывающего определения жанра — печатать в своем журнале ему не пришлось. Как-то,

в конце рабочего дня, в редакцию к Алексею пришел новый редактор «Сибирских огней» Вивиан Азарьевич Итин (Зазубрин к этому времени перебрался в Ленинград). Сердце Алексея екнуло: «Неужто?»

Алексей предложил гостю раздеться. Итин снял свою оленью парку и молча опустился на стул. Вблизи Алексей рассмотрел, что у Итина не такое уж строгое, холодное лицо и не такие уж грустно-задумчивые глаза, какими они до этого казались ему.

Итин внимательно осмотрел кабинет Алексея. И вдруг чему-то улыбнулся. Это была даже не улыбка, а, как показалось Алексею, какое-то радостное сияние, озарившее все лицо.

Рабочий день кончился. Сотрудники редакции ушли. За стеной, гремя тарелками, Вера накрывала на стол. Смущенный Алексей пригласил гостя пообедать. Итин молча поднялся. Они прошли в столовую.

С той же непотушенной улыбкой гость поздоровался с Верой, поцеловал ей руку.

Однако и за столом ожидаемого разговора не получилось: Итин односложно отвечал на вопросы хозяев. Вскоре же после обеда он попрощался. Алексей и Вера вышли проводить его. Уже на пороге, словно только что вспомнив, зачем приходил, Итин неторопливо заговорил:

— Нам понравилась ваша повесть, Алексей Николаевич. Только, простите, какая же это повесть? Это же самый настоящий, многоплановый роман, возможно, даже зачин романа-эпопеи. Притом на такую нужную, острую и совсем не охотничью тему, что мы бы хотели вам предложить...— Внезапно он замолчал, устремив глаза куда-то в пространство.

При первых же его словах Алексея начала бить дрожь. Но Итин, помолчав еще немного, поблагодарил Веру за обед и пошел, так и не закончив начатую им столь важную для хозяев фразу.

Алексей и Вера переглянулись, с трудом сдерживая смех: и без внезапно оборванного объяснения визит Итина был им понятен.

— Ну вот, Верочка! — взволнованно проговорил Алексей.

Крупными шагами он ходил по комнате.

Вера, не отрываясь, смотрела на радостное лицо мужа: она так понимала его сейчас!

Рой счастливых мечтаний, не мыслей, а упоительных мечтаний проносился в голове Алексея. Ему уже виделась шумная литературная Москва, средоточие талантов, сотен и сотен человеческих честолюбий, литературной борьбы.

Все это и пугало и манило...

Еще недавно казавшиеся Алексею недоступными столичные издательства и редакции «толстых» журналов широко распахнули перед ним двери. И вот он, вчера еще безвестный провинциал, запросто встречается с прославленными «метрами» поэзии и прозы. Счастливая судьба на равных началах вплела его в их хоровод...

И хотя в хороводе этом Алексей опасался встретить обидный холодок со стороны знаменитых собратьев, это нисколько не смущало его: ведь его роман будет не только напечатан в крупнейшем издательстве, но и удостоится внимания центральной прессы!

Душа Алексея была полна. И он даже наивно поклялся: никогда не быть высокомерным со стоящими на низшей, чем он, ступеньке.

Казалось, все случившееся с ним сегодня привиделось ему во сне. Почувствовав взгляд Веры на своем лице, он остановился и, бессильный сдерживаться, порывисто, как в первые минуты их близости, обнял и поцеловал ее.

...Вскоре в «Сибирских огнях» была напечатана первая книга романа «Медвежий браслет». А чуть позже, в одном из номеров этого же журнала в разделе «Хроника» был опубликован отчет о происходившем в Москве расширенном пленуме Всероссийского общества крестьянских писателей, на котором роман Алексея получил высокую оценку.

Московское издательство «Федерация», куда он направил свою рукопись, поздравило его телеграммой и предложило подписать два договора — на обычное и удешевленное, массовое издание.

«Киносибирь» заключила договор на экранизацию романа «Медвежий браслет».

В Новосибирск приехал представитель Всероссийского общества пролетарско-колхозных писателей критик Николай Острогорский и предложил Алексею переехать в Москву — войти в состав редсовета издательства «Фе-

дерация», стать членом редколлегии журнала «Земля Советская».

Алексей решительно отказался: тираж редактируемого им журнала непрерывно повышался. Развертывалась издательская деятельность по выпуску научной охотоведческой литературы. Сибкрайохотсоюз, не без инициативы Алексея, создал в Иркутске первое в СССР высшее учебное заведение охотоведческого профиля — Пушно-охотоведческий институт, организовал широкую сеть заказников и охотничьих хозяйств с общей площадью два миллиона гектаров. Намечались крупные мероприятия по акклиматизации американской ондатры и пушному звероводству.

Впервые за всю историю российской охоты и промысла разумно эксплуатировать природные богатства тайги взялся сам кровно заинтересованный в них и любящий свое дело охотник: на необъятных, изобильных пушным зверем и промысловой птицей угодьях наконец-то появился рачительный хозяин.

Да и как можно было уехать из Сибири, когда буквально на глазах менялось «избяное», «кондовое» ее лицо... Когда уже приступали к строительству крупнейшего в мире завода комбайнов, Кемеровского и Кузнецкого комбинатов, закладке новых шахт в Кузбассе, постройке новых железнодорожных путей...

Но главной причиной отказа Алексея все же было таившееся где-то в глубине души опасение: «А вдруг не смогу больше написать что-либо достойное? Вот кончу повесть, тогда...»

В перерыве между первой и второй книгами романа Алексей писал повесть для юношества «Клыки». Тоже о борьбе в алтайской деревне нового с прочно укоренившимися у раскольников религиозными предрассудками.

Алексею казалось, что он нащупал такие сюжетные пружины, нашел такие неожиданные повороты, которые будут держать читателя в напряжении с первой до последней страницы повести.

«Никаких длиннот — действие, только действие!.. В «Клыках» должно быть все по-другому, чем в «Медвежьем браслете». Главное, не повторять никого и тем более — самого себя...»

Через восемь месяцев повесть уже опубликовали в

журнале «Земля Советская». А вскоре, как и «Медвежий браслет», она вышла в издательстве «Федерация» и тоже двумя изданиями. В ряде статей сибирских и столичных критиков о повести были сказаны добрые слова.

И вновь — теперь уже ответственный секретарь Всероссийского общества пролетарско-колхозных писателей, старый большевик, талантливый баснописец Иван Батрак предложил Алексею переехать в столицу. Алексей согласился. Как торжественный колокольный звон звучало: «В Москву! В Москву!»

Часть вторая

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Москва всегда пленяла Алексея неустанным движением, не смолкающим даже и ночами победным гулом жизни. Кипучая, вечно молодая, она поражала его, как поражали его воображение величие и мощь безбрежной таинственной сибирской тайги.

Казалось, на всех ее улицах, площадях, переулках слышны отголоски развороченной — «уходящей» и новой — созидаемой России.

Она излучала энергию не только на всю страну, казалось, не было такого уголка на всей планете, куда бы не доносилось биение ее пульса.

В Москве Алексей бывал не раз: и на пленуме ВОКП, и на двух всероссийских съездах бурно развивающейся охоткооперации. Но тогда, оглушенный ее шумом, усталый от множества впечатлений, он вскоре же возвращался в привычный уже ему Новосибирск. «Ехал в столицу с радостью, а уезжал с удовольствием»,— говорил Алексей друзьям-сибирякам. Теперь же он приехал в Москву с семьей навсегда.

Прежде всего он, естественно, столкнулся с литературным миром Москвы. И очень скоро понял, что мир этот и велик и сложен. Что наряду с честными, одаренными, беззаветными тружениками-писателями в нем, в этом мире, нередко бытует болезненное самолюбие, ячество, немало в нем и литературных неудачников и завистников, изощренных в интригах и сплетнях. Ими заполнены литературные и нелитературные кабачки, в душном, смрадном дыму которых они с вечера и до утра кичливо изливаются друг перед другом в самовосхвалениях. И они же целыми днями обтирают стены редакционных коридоров.

«Когда только они работают?» — поражался Алексей.

Вступая в этот новый мир, он немного растерялся. И хотя на руках у него были два томика одобренных критикой произведений, все же какою утлой выглядела ладья, на которой он отважился в столь опасное плава-

ние! Да и сам ои показался себе иаивиым деревенским парием — мечтателем, самоиадеянио вышедшим иа ареиу цирка для схватки с иатреиироваииыми профессиональными борцами.

Больше всего он боялся, что оскудеет его талаит. Две книги... Но мало ли было примеров, когда иа том и коичился писатель. Какое-то время еще печатают в силу иерции, но далеко ли уедешь в карете прошлого успеха?

А литературиая Москва и впрямь жила повышеииоиапряжениой жизнью.

Пожалуй, иикогда иа протяжеиии всей истории мировой литературы ие возиикало столько молодых талаитов, чьими усилиями прославлялись борьба и победы нового общества.

Кто только ие витийствовал тогда в переполнениых залах иа миогочислеииых коифереициях, дискуссиях литературиых групп, собраниях и вечерах? А какие перепалки шли у театралов! Буитарь Мейерхольд иападал иа психологический натурализм — «кликушество душевных иапряжеиий МХАТа», пропагаидировал массовые действа, подчинение идеи задачам политики.

Борясь с крайиостями, Луиачарский отстаивал право театра иа тоикое, выразительиое, иидивидуальиое.

С каким звоиом скрещивались сабельиые удары спорщиков!

Сколько было поломано копий и патетическим коренастым моряком с массивиым туловищем мужчииы и иогами подростка — Всеволодом Вишиевским, и осаиистым красавцем с львииой серебряиой гривой — Вячеславом Полоиским, и щупленьким, совершеиио лысым, с пулеметио-стремительной речью — Леопольдом Авербахом, и розоволиким Владимиром Ермиловым, и миогими, многими другими рубаками в то горячее время ожесточенных литературиых боев!.. И каждый хвалил «свою веру» — свой творческий метод, превозиосил едииомышлеиников.

Нередко в полемическом запале иаклеивались бороды Толстого, эспаиьолки Шекспира и «соплиееиьким», но своим, а от «чужих» летели пух и перья.

Алексею хотелось все видеть, все слышать, хотелось самому разобраться в ожесточеииых спорах о лучших методах воздействия словом на человеческую душу.

Правда, в Москве литературная борьба велась тоньше, чем в Сибири, где последователи лефовцев — крикливые «настоященцы» относили к «врагам» уже не только Зазубрина, Итина, энтузиаста-просветителя, учителя коммуны «Майское утро» Адриана Топорова, но и Максима Горького.

За Горького вступился ЦК. Зазубрину же, Итину и Топорову работать в обстановке травли оказалось совершенно невозможным: Зазубрин был вынужден уехать в Ленинград, Итин стушевался, Топоров прекратил свои знаменитые читки и обсуждения с коммунарами художественных произведений.

Как и в первые дни в Новосибирске, в Москве Алексей вел себя скромно, может быть, даже робко. На собраниях он присматривался к писателям, критикам, слушал их споры. Думал: «Какие остряки! И как подкованы: что ни фраза — формулировка!»

Немало крикунов с апломбом несли такую несусветную чушь об искусстве как о сумме технологических приемов, что Алексей изо всех сил сдерживал себя, чтобы не взорваться.

Но все чаще и чаще писателей стали призывать к овладению марксистским мировоззрением, к показу живого, сложного советского человека, а не наскоро сфабрикованных «партийных роботов», жонглирующих потертыми истинами цитатного псевдомарксизма.

Алексей не мог не соглашаться с этим. Литература для него всегда была не холодное, умозрительное мастерство, а страстное, целенаправленное творчество, могучее средство перевоспитания советского человека, действенное оружие в борьбе за разумное переустройство мира.

«Работать, не теряя ни минуты!..»

А работать-то Алексей и не мог: московская квартира из трех маленьких комнат в доме, когда-то принадлежавшем сибирской миллионерше, рядом с Камерным театром, окнами выходила на шумный Тверской бульвар, вдоль которого с утра до полуночи с грохотом и звоном проносились трамваи.

Алексей не спал. Не спала и Вера. Но не только потому, что им мешали трамваи: они не могли забыть то, что видели перед отъездом из Новосибирска.

— А ты не думай, Алешенька! И без тебя узнают: такое не скроешь.

— И рад бы не думать, а не могу. Не могу писать, не могу спать, когда там...

Вера прижала к груди голову мужа и, успокаивая, точно ребенка, тихонько гладила его волосы.

— Сегодня пойду к Петру Андреевичу. Попрошу совета...

— Сходи! — обрадовалась Вера.— Павленко — умница, коммунист, поймет.

Утром Алексей пошел к соседу по квартире — писателю Павленко.

Вот что мучило Алексея и Веру.

Новосибирские друзья-писатели приехали на вокзал провожать Рокотовых.

Экспресс-люкс должен был прибыть ровно в восемь вечера, а ноябрьская пурга и заносы задержали поезд в пути на сорок пять минут. Провожающие, собравшись в ресторане, заказали прощальный ужин.

Но торжество оборвалось в самом начале: из прибывшего на станцию длинного теплушечного состава черной тучей высыпали на перрон, а с перрона ворвались в вокзал глубинные степняки — казахи. Они бежали от голода: рано заснеженную степь оледенил, смертно сковал лютый враг скотоводов — джут.

Страшен был вид полузамерзших, изголодавшихся людей, искавших спасения в хлебных городах Сибири.

Зазвонил колокол: сквозь вой и рев урагана к вокзалу прорвался запоздавший, белый от пурги, жарко отпыхивающийся поезд. Рокотовых усадили в купе. Уложив Гордюшу, Алексей и Вера сели на обитые бархатом диваны и просидели до мутного зимнего рассвета. Перед глазами их стоял осажденный толпами изголодавшихся казахов Новосибирский вокзал. Изможденные, покорные судьбе, обмороженные темные лица.

Вот об этом-то и хотел Алексей рассказать Павленко.

В двухкомнатной квартирке, забитой до отказа книгами, в туркменском халате поверх белоснежной сорочки, хозяин пил кофе и читал газеты, когда к нему вошел Алексей. Женственно хрупкий, с узким, землисто-серым от давней легочной болезни лицом хозяин поднялся навстречу гостю, подвинул стул, предложил кофе. Но Алексей продолжал стоять. По лихорадочно блестящим его глазам Павленко понял, что не с обычным визитом вежливости пришел к нему новый его сосед.

Он выжидательно смотрел на Алексея. Легкий тик, дергавший левое веко, и тонкие, кривящиеся в усмешке губы на первый взгляд придавали его лицу холодноватое, даже несколько язвительное выражение. «Поймет ли он меня?» — думал Алексей.

А Павленко продолжал молчать, глядя на Алексея умными, все примечающими глазами.

— Не могу работать, Петр Андреевич, не сплю. Посоветуйте, как поступить.— Алексей рассказал обо всем виденном на Новосибирском вокзале.

Павленко внимательно выслушал Алексея. Лицо его подергивалось теперь уже не только от тика, но, очевидно, и от охватившего его волнения.

Потом он нервно покрутил ручку телефона, назвал какой-то номер и глуховатым голосом, с чуть заметным кавказским акцентом — Павленко вырос в старом Тифлисе — заговорил:

— Ян Карлович, здравствуйте. Это я — Павленко. В ряде районов Восточного Казахстана погиб скот от джута. Да, да — от гололеда. Голод и тиф косят степняков. Очень прошу вас принять молодого писателя Алексея Рокотова... Да, да, Рокотова — автора двух известных книг... Нет, если можно, не откладывая.

С другого конца провода что-то ответили, и Павленко, повысив голос, решительно возразил:

— Диалектика диалектикой! Издержки издержками — он и сам это отлично понимает... Да, Алексей Николаевич Рокотов. Спасибо, Ян Карлович!..— Павленко повесил трубку и сказал: — На двенадцать часов заказан пропуск — Лубянка, НКВД.

Помеченная многозначным номером комната в огромном здании НКВД оказалась в конце длинного, едва ли не в целый квартал, коридора. С каким-то непрошеным волнением проходил Алексей мимо бесчисленных дверей. Вот и та дверь, за которой его ждал неведомый ему Ян Карлович.

За письменным столом сидел массивный, высоколобый, льняноволосый военный с характерным для прибалтийца лицом. На Алексея он взглянул оценивающе-пристально, словно раздел его донага. И так и продолжал смотреть, очевидно, выработавшимся профессиональным

взглядом снне-голубоватых глаз, ие упуская ии иа секунду ии одного движеиня Алексея.

На стене висел большой портрет Леииа с «Правдой» в руках. Алексей перевел глаза иа портрет и вдруг почувствовал себя не только спокойиым, но даже в приподиятом настроеинн: «Я пришел не по личиому, мелкому делу. Эти людн обязаиы все зиать».

— Рассказывайте, товарищ Рокотов, я вас слушаю.

Взволиованный рассказ о видеиим иа Новосибирском вокзале иаполиил сердце Алексея чувством гордости за исполиенное им дело.

— Ну н что вы предлагаете, товарнщ Рокотов? — после некоторого раздумья, все так же ие спуская с Алексея глаз, спросил этот суровый, молча выслушавший его человек.

— Как что предлагаю?! Я сообщил вам о чудовищных фактах и жду, что скажете мие вы... Но если вы спрашиваете меия — пожалуйста. Я предлагаю половиину своего авторского гоиорара в фоид помощи голодающим. Думаю, ии один из писателей ие откажется.— Алексей разволновался, иевольио повысил голос: — Предлагаю открыть питательиые пуикты иа вокзалах, как в свое время это делали Чехов, Короленко, Толстой..

Военный прервал Алексея:

— Уж не предполагаете лн вы, товарищ Рокотов, что сообщили иам иовость? Плохо же вы думаете о иас! И ваши гонорарные гроши, вашу нителлигентскую...

Алексея передернуло от несправедливой, как показалось ему, н по существу и по тоиу репликн, и ои ие сдержался:

— Позвольте!..

Но тот словио и ие слушал его:

— В иаше время крохоборство, которое предлагаете вы, выглядит просто курьезио... А что пришли, что волиуетесь — хорошо. Поверьте, что мы тоже ие меньше вас обеспокоеиы и делаем все возможиое, дорогой мой Алексей Николаевич,— собеседник неожидаиио смягчил тои.— Страна огромиая, н иа таких крутых поворотах нстории, когда все переделывается заиово, жертвы иеизбежны — такова диалектика...

— Яи Карлович! Простите, ио мие ие иравится слово «диалектика» в применеиии к даиному случаю! Джут, голод — прн чем здесь диалектика? — возмутился Алек-

сей.— Я думал об этом, когда вы по телефону сказали Петру Андреевичу это слово... За ним, как за стеной, легко укрыть казенно-бездушное...

Твердое лицо военного стало вдруг теплым, даже добродушным, а с непроницаемо-холодных глаз словно бы спала завеса. И Алексею открылся этот, очевидно, не менее его страдающий за судьбы голодающих людей советский человек.

— Алексей Николаевич! Как это хорошо, что вы так взорвались!.. Но еще раз заверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы выправить действительно тяжелое положение! Я сегодня же буду говорить с кем надобно...— Ян Карлович взглянул на часы и торопливо закончил: — Еще раз спасибо, что зашли. Между прочим, ваши книги я прочел. Неплохие книги. Идите и работайте со спокойной совестью. Все мы не покладая рук должны работать, работать и работать. Передайте мой привет Петру Андреевичу.

Он отметил пропуск Алексея, приподнялся в кресле и дружески протянул ему руку.

И все же писалось в Москве Алексею трудно: одолевали сомнения в своих силах. Картины и сцены в его первых книгах, еще так недавно удовлетворявшие его, теперь казались поверхностно-иллюстративными. Алексей безжалостно переламывал, углублял их для последующих переизданий. «Ну как я мог так писать? И как же не разгромили еще меня до сего времени? Как не разгромили?»

«Необходимо учиться заново». Эта мысль всецело завладела им. Одолевать высокие барьеры ему было не впервые. С детства в душу Алексея запали слова отца: «Взялся за дело — ввинчивайся в него штопором, трудись, не щадя сил».

И снова, как в горячие дни подготовки к экзаменам за учительскую семинарию: шесть часов на сон, шесть за письменным столом, двенадцать на чтение и учебу.

Хорошо знакома ему эта программа! Она словно вернула Алексея к дням усть-утесовской юности.

— Надо быть непроходимым самонадеянным глупцом, чтоб с гордым видом печатать недозрелые романы,— заявил он Вере.

— Нелегко, Алешенька, и писать, и учиться. Сознаюсь, я заглянула в «Диалектику природы» — билась, билась и отступилась.

— А я не отступлюсь! Семь шкур с себя спущу и все же начну с самого трудного: с марксистской философии, как советует Михаил Михайлович.

Басова из Сибкрайиздата перевели в Москву, и он стал частым гостем у Рокотовых. «Не одолеешь с первой читки,— говорил он Алексею,— читай второй раз. Снова не одолеешь — я помогу...» Но Алексей и мысли не допускал, что не сможет одолеть того, что одолевают другие.

— Одолел же я Руссо и Дидро,— вспомнил он о книгах, подаренных ему Павлом Бажовым.— Положим, классики марксизма посложней, но Михаил Михайлович поможет. Права мать, в рубашке рожден я — везет мне, Верочка: раньше Павла Петровича, а теперь Басова бог послал.

Одолевая страницы «Материализма и эмпириокритицизма», Алексей читал до утренних трамваев. Порою он доходил до полного изнеможения, пока не уяснял себе вопроса. Только «Происхождение семьи, частной собственности и государства» да «Анти-Дюринга» усвоил с первого раза. Все остальное преодолевалось с таким трудом, какого он никогда не испытывал до этого. В критические моменты, когда голова отказывалась воспринимать «гвоздевые», как он называл, особенно трудные главы, а ослабевшая воля была бессильна бороться с физической усталостью, когда, казалось, все существо его молило об отдыхе, Алексей прибегал к испытанным еще со времен подготовки к экзаменам на звание учителя средствам: становился под ледяной душ и, растеревшись до морковного цвета, пять минут «играл» с двухпудовкой. Душ и гиря начисто снимали усталость.

И всегда в блаженные эти минуты перед глазами Алексея возникало мужественное лицо отца, научившего его, как бороться с вялостью тела и слабостью духа. «Ей (в простоте душевной отец подразумевал не усталость, а лень) только поддайся, сынок,— она тебя так оседлает, что сам себе пить не поднесешь. Был у нас в Белоусовском мужичок — на печке замерз: за дровами поленился съездить».

Душ отцу заменяло ведро ледяной колодезной воды,

двухпудовую гирю Алексея — тяжелый фуганок и топор, без них Алексей не представлял себе отца. Но не только ледяная вода и работа у верстака, как понимал Алексей, помогли отцу достичь высокого мастерства в работе и «поднять с топора» тринадцать детей, а великая нравственная сила, унаследованная им от дедов и прадедов.

«Мастерство писателя — это тоже, и прежде всего, великая нравственная сила, заставляющая ежедневно одолевать трудности в учебе, в творчестве. Ни дня без строчки! Ни одной ночи без усвоения хотя бы одной главы из Ленина»,— записал Алексей в свой дневник.

Однажды, набравшись храбрости, он взялся за «Феноменологию духа» Гегеля, но на первых же страницах постыдно «забуксовал». И как ни перечитывал каждый абзац по нескольку раз — понять ничего не мог: «Ну вот ты и сел на мель: умопомрачительно сложен Гегель! И тут хоть лоб разбей. Придется занимать ума у дяди».

Алексей пошел к Басову.

Михаил Михайлович выслушал его и сказал:

— Смирись, друг мой. «Феноменология духа» — одно из самых трудных произведений во всей философской литературе,— утверждают даже искушенные философы. А вот что я посоветую тебе — брось-ка ты свою кустарщину. В Союзе писателей открываются курсы политучебы. Завтра же запишись!

Алексей записался. И, вероятно, не было более внимательного слушателя на курсах, чем он. Алексей приходил всегда одним из первых и усердно конспектировал каждую тему.

Зато какую же он испытывал радость, когда от занятия к занятию у него по-новому раскрывались на все глаза! И как это новое ви́дение помогало ему за рабочим его столом! За зиму Алексей убедился, что все-таки можно и писать и учиться. Но за эту же зиму он почувствовал, что и у него — двужильного, каким Алексей всегда считал себя,— запас сил не бесконечен: пропавший аппетит, беспричинная раздражительность, расслабляющая бессонница встали непреодолимой преградой в его работе.

Все чаще и чаще за строчками книг, за страницами рукописи нежданно-негаданно перед глазами Алексея вставали безбрежные разливы камышей, до дрожи ощущался какой-то особенный, свойственный только чанским

просторам, дразнящий запах солоноватого снегового таяния.

Дыхание Алексея учащалось, расширившиеся ноздри по-звериному чутко и жадно вбирали подступившие невесть откуда волнующие запахи. Перо и книга выпадали из рук... Но, очевидно, не один он испытывал подобное. Без зова, как бы мимоходом, забегал к нему то один, то другой из московских его друзей. Посидев, помолчав, обменявшись десятком незначительных фраз, так же неожиданно уходил. Алексей понимал: и его зовет весна. Значит, пора бросать работу и начинать сборы...

И тогда бригадир назначил собрание своей «охотничьей бригады». В маленькой, тихой до того квартирке на Тверском бульваре, по образному выражению ежегодно видавшей подобные сборы Верочки, начиналось «весеннее токованье».

«Весеннему токованью» Вера всегда радовалась: значит, Алексей снова будет и есть и спать...

Засидевшихся до полуночи друзей хозяева провожали шумно и весело до трамвайной остановки. И хотя как будто бы было уже обговорено все, и хозяева, и гости знали, что и завтра и послезавтра, вплоть до самого отъезда, то один, то другой вновь прибежит к ним, чтоб еще и еще поговорить о предстоящей поездке в Сибирь, в богатейшие гусиные угодья — на озеро Чаны, раскинувшееся на восьмисоткилометровой округе Барабы: ведь сборы на охоту и охотничьи разговоры — это почти та же охота.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Каких же друзей нашел Алексей в Москве? Когда и как началась неразливная их дружба? Это были все отличные люди — молодые, талантливые. Дружба их началась с первой рукописи Алексея, отправленной им из Новосибирска в Москву, в издательство «Федерация».

И по рукописи, и по сибирскому журналу, который редактировал Алексей, они без ошибки угадали в нем такого же, как и они, писателя-природолюба — охотника. И, если верить Тургеневу, следовательно, и «прекрасного человека», способного задыхаться от волнения при звуках пролетающих над городом лебединых и журавлиных

косяков. Каждый раз по-новому ощущать весеннее чудо возрождения земли, тогда как сотни их собратьев — заседающие, ораторствующие, нередко отличающиеся друг от друга лишь по степени самодовольства и самолюбования, с ушами, словно заткнутыми ватой, с глазами, как из жести,— не слышат, не видят в голубизне неба крылатых вестников обновления природы. Не слышат влажного шума оживающих лесов, робкого шороха пробивающей прелый прошлогодний лист травы...

Этих новых своих друзей Алексей и пригласил в Сибирь на гусиную охоту.

Как и глухарь, гусь — заветный, почетный трофей спортсмена. Для столичного охотника гусь — олицетворение чего-то безнадежно недоступного.

Гуся! Подайте гуся московскому охотнику! За гусем он поедет бог весть куда. И тут уж никакие расстояния и трудности не в зачет,— лишь бы прочувствовать знобкую дрожь при виде горластой могучей птицы, услышать тяжелый стук сраженного точным выстрелом ударившегося о землю увесистого гуменника!..

Сторожкость птицы, крепость к убою — вот что манит охотника. Однажды испытавший радость этой охоты — навек гусятник.

На первой же весенней охоте на гусей новые друзья Алексея пережили то, о чем так хорошо сказал в своей книге «Годы, тропы, ружье...» Валериан Правдухин:

«Просидишь шесть месяцев в комнате, у печки, за столом, проваляешься на кровати, и незаметно душа очерствеет, отвыкнет от природы. Перестаешь думать о травах, о зверях, о птицах. Успокоишься и считаешь, что так оно и надо: жить тебе в тупиках комнат под городскими немыми звуками, с пустенькими чувствицами, без запахов полей, без звериного напряжения, без простых больших волнений. И уже нет желания выбраться на холодноватый простор полей, бродить опушками... Чужаком становишься природе и миру.

Так было со мной в этот год. Всю зиму я не был на охоте...»

И вот Правдухин в Новосибирске.

«Пошел ввечеру в городской сад... увидел я под забором земляную плешину, на ней старую траву, пытавшуюся по весне снова ожить, зазеленеть. Эта плешина, а над ней холодноватое голубое небо, свежие весенние запахи

так потрясли меня, что я готов был тут же лечь на землю, прижаться к ней, слушать ее дыхание».

Валериан Правдухин с виду мрачноват, но только с виду: в действительности он на редкость жизнелюбив, открыт и прям.

А вот как пережил радость первого своего гуся второй из друзей Алексея — Николай Зарудин: «Не охотнику не понять! Да и трудно понять, что, побывав на Чанах, убив первого гуменника на Квашнинском мысу, я на всю жизнь запомнил и влажное, парное утро в камышистом скрадке, и ощущение плюшевой мягкости и теплоты пепельно-серой шеи гуся, и увесистую после подмосковных бекасов и чирков тяжесть редкостного трофея в своей руке. Я... я, не поверите, други мои, почувствовал себя троглодитом!

Но расскажу все по порядку: он налетел на «королевский» выстрел. И когда, подскочив к нему, распластавшемуся на льду, схватил его,— я замер от восторга. И небо и камыши словно бы закачались перед глазами.

Еще и теперь я отчетливо помню опаляющую радость, в которую даже не верилось в первое мгновение и от которой у меня захватило дыхание, но передать, передать ее я не могу вам, друзья мои: не вмещается в слова. Кто поверит, что вот уже третью ночь подряд я вижу и этого первого моего гуся, и себя на заветном моем мысу?»

Николай Зарудин — общий любимец Чанской охотничьей бригады. Поэт-лирик, азартный до самозабвения охотник, он обаятелен юношеской горячностью чувств, добротой и щедростью сердца, которые светятся в прекрасных голубых его глазах.

Отличные стрелки, матерые, опытные охотники Алексей Рокотов и Валериан Правдухин — предмет восторженного поклонения не только экзальтированного Зарудина, но и невозмутимо-спокойного, холодновато-рассудочного немца по крови, Бориса Губера и Василия Кудашова — «заполошненького Васятки», как любя, в шутку, зовут его в бригаде, выходца из среднерусской деревни, молодого талантливого рассказчика.

За зиму каждый из них наработался вволюшку, наслушался спорщиков, краснобаев, а некоторые, как Правдухин и Зарудин, и немало натерпелись от злоумствующих критиков. А тут — на две недели из Москвы! Спанье на крыше избушки, затерявшейся в камышах глухой

Емелькиной гривы, когда над головою всю ночь звенит небо от проносящихся птичьих стай...

Сибирский экспресс все дальше и дальше уносит охотников от столицы. В купе, заваленном ружьями в чехлах, патронташами, рюкзаками, тесновато, но по-особенному уютно. Приятно пахнет березовым деготьком от сапог и оружейным маслом.

По традиции, отъехав две-три станции от Москвы, всей компанией — в вагон-ресторан.

Неизменным распорядителем пиршества всегда был большой любитель поесть и пропустить рюмочку Васенька Кудашов.

Поджарый, не по возрасту рано облысевший, с блестящим черепом,— что на нем, как смеялся шутник Зарудин, и комару не удержаться — обязательно оскользнется, Васенька первым входил в ресторан, занимал столик, приглашал друзей и торжественно приступал к обязанностям архитриклина, и делал это как-то так, что официантка, с первой же минуты проникшись уважением к нему, неуловимо быстрыми, не без претензии на ресторанный шик движениями встряхнув скатерть, при беглом взгляде на которую невольно вспоминалось щедринское недоумение: «Дите ли на ней сидело, или яишницу ели», кидалась «обслуживать»...

А после ужина — снова в купе: смеха, шуток, разговоров за полночь!

Чего не наслушался Алексей и о чем только не порассказал товарищам сам! Каждый видел себя уже на излюбленном мысу — гуси, как правило, пролетают над излучинами мысов,— в облюбованном своем скрадке, сидящим неподвижно. Посмотреть со стороны — окаменел человек. Живут лишь глаза и «конем» настороженные уши...

И впрямь — не охотнику не понять.

Не верьте охотнику, фарисейски утверждающему: «Я безразличен к трофеям: мне бы только полюбоваться природой, подышать воздухом полей, лесов, гор».

Ожидание неизвестного, мечта об удаче столь же свойственны охотнику, как азартному игроку, мечущему крупный банк.

Достичь, взять дичь, на которую охотишься,— чувство

настолько захватывающее, что, забывая обо всем на свете, охотник не думает ни о каких трудностях, а порою и опасностях — действует как одержимый.

Это «забывание обо всем на свете» и дает тот активный, целительный отдых, в котором нуждается человек после напряженной работы, забот и треволнений городской жизни.

На Алексея недельная охота на гусей действовала не хуже, чем на другого месячное пребывание на курорте где-нибудь на побережье Крыма или Кавказа.

Часть убитой дичи Алексей обычно раздавал менее удачливым спутникам. Но на охоте он, как бессменный бригадир, выкладывался весь, разведывая места скопления зверя и дичи, а разведав, расставлял товарищей так, чтоб все натешились не только любованием восходов и заходов солнца, но и стрельбой. Не забывал Алексей и о себе.

По-иному сложилась охота в эту весну для самого бригадира. В первый же день, когда, собравшись на утреннюю зорю, охотники вышли из избушки и направились к смутно видневшейся в сумраке кромке камышей, их «накрыл» табун гусей.

Алексей сорвал с плеч ружье и дуплетом сбил пару гуменников. Дружное «ура!» товарищей приветствовало удачное начало охоты.

— В котел! Первых — всегда в котел,— верный правилу, сказал Алексей и, вернувшись в избушку, передал добычу хозяйке на жарево.

Начались крепи, лабзы, мысы, крутые повороты озерок, с солончаками и грязевыми травянистыми проталинами на них — излюбленные места кормежки гусей с первоприлета.

Свободно ориентировавшийся в знакомых местах Алексей расставил охотников по скрадкам и отправился дальше всех. Так он поступал всегда, чтоб на обратном пути, сняв одного за другим товарищей, вместе возвратиться в избушку: до его прихода ни один из членов бригады не уходил на стан из опасения заплутаться.

Не отошел Алексей и сотни метров, как охотники открыли стрельбу: в теплое, влажное утро гусь пошел на кормежку очень рано.

Алексей заспешил к дальнему своему мысу. Но уже на полпути понял, что просчитался: все окраинные камы-

шовые крепи, лабзы выгорели, очевидно, от осеннего пожара. Возвращаться обратно — терять зорю, мешать товарищам в их охоте. Приткнувшись на островке уцелевшего камыша, на первой же чистинке он поспешно расставил гусиные профиля, заломал махалки и встал.

А утро все разгоралось и разгоралось. Товарищи все палили и палили.

Простояв зорю без выстрела, Алексей вышел из скрадка снимать профиля, и, как часто случается в такие минуты на гусиных охотах, без крика на него налетела пара «молчунов». Поспешив, Алексей постыдно пропуделял по ним.

Неудача за неудачей преследовала бригадира всю неделю на добычливых дотоле местах. В сараюшке на его связке висел всего лишь один гусь, одна казарка и два кряковых селезня, а уже близилось время возвращения в Москву. Алексей предложил подтрунивавшим над его неудачами друзьям перебраться в глубь камышей — в рыбацкую избушку, но не плохо охотившиеся на привычных местах охотники отказались: даже Зарудин и «заполошненький Васятка» взяли по три штуки. У Бориса Губера — тоже три гуся и белолобая казарка. В связке Валериана Правдухина — пять серых чаиских гусей...

Бригада ликовала. Бригадир старался делать «веселое» лицо, но это плохо ему удавалось.

— Братцы! — взмолился Алексей.— Сегодня, разыскивая новые кормные грязи, километрах в пяти от ваших скрадков, я слышал массовый гусиный гогот. Судя по всему — большое скопище. Биться на оборышах — подметать старые следы — наскучило. Кто желает со мной, подниму в два часа ночи, и пойдем на гусиную ярмарку. За успех — ручаюсь!

Но охотники дружненько промолчали. Только открытая душа Зарудин засмеялся и сказал:

— Я предпочитаю малого язишка на кукане, чем большого осетра в океане.

Алексей молча наполнил термос крепким чаем, сдобренным коньяком, молча пересмотрел патроны и, прихватив барсучью свою доху, огорченный ушел на крышу избушки: ранней весной, ночью, одному забираться в глубь камышовой тайги, еще забитой снегом, и скучно и рискованно. Но, решив что-либо, он никогда не отступал. «Об-

радовались моей неудаче, теперь будут хвалиться на всю Москву — обстреляли бригадира»,— впервые недобро подумал он о своих друзьях.

Завернувшись в доху, Алексей тотчас же заснул: за день ходьбы по камышам он порядком устал.

Способность Алексея засыпать мгновенно всегда поражала его друзей, как и то, что, проспав всего три-четыре часа, он первый подымался, был свеж и бодр, готовый на любые новые скитанья по камышовым крепям. Лосем величали его товарищи.

...Алексей проснулся, как наметил, ровно в два часа ночи.

Первозданная тишина комарино-тонко звенела в ушах. С вечера придавил хрусткий апрельский морозец. Вызвездило. Над безбрежными, призрачно осеребренными инеем камышами плавала луна.

Распахнув теплую барсучью доху, хватив морозного свежачка, Алексей тотчас же прогнал предутреннюю медовую дрему.

— В самый раз! Ну, дружище, сегодня у тебя последний шанс,— вслух сказал Алексей и спрыгнул с крыши землянки на заскрипевший под ногами снежок...

Позже он не раз задавал себе вопрос: пошел бы он, если бы заранее знал, на какие муки обрекает себя, пускаясь в одиночку в неведомую им дотоле сердцевину Чанских крепей? И всегда отвечал: пошел бы.

Только охотники поймут его, своего собрата, преследуемого неудачами в течение недели и вдруг увидевшего возможность «отыграться» в последние часы охоты.

Далекий, едва слышный гусиный гогот, уловленный Алексеем из глубины камышей с ветровой потягой, явственно свидетельствовал: «отхлопанный» выстрелами на ближних к Емелькиной гриве грязях, сторожкий с прилета гусь обосновался в недоступной крепи. «Весь там!» — в воображении своем Алексей уже не только слышал, но и видел эту вожделенную, все время ускользавшую от него «Палестину».

Два километра по Емелькиной гриве до кромки камышей Алексей прошел не более чем за пятнадцать минут — так неудержимо несли его отдохнувшие за ночь ноги. В ватнике, в белом маскировочном халате, на быстром ходу стало жарко — Алексей распахнул и халат и ватник.

А вот и она, всегда чуточку таинственная стена густой заснеженной тростниковой тайги, уходящей и вправо и влево, и в глубину на многие десятки километров.

Алексей знал, что где-то здесь, рассекая непролазные летом камыши, с Емелькиной гривы в сторону деревни Квашнино пробит «зимник» — малоезженая дорога, по которой единственный здесь охотник-промысловик Максим Чукреев проникал на своих широких лыжах в глубины камышей с капканами на волков, лисиц, хорей и горностаев.

— Только бы найти зимник!

Но зимник словно и сам поджидал его: две маячные «куклы» — заломленные по вершинам махалок кулижины,— точно охранявшие дорогу часовые, распахнули ему узенькую дверь в крепи. Алексей бодро зашагал по зимнику. Казалось, и луна, как добрый товарищ, вместе с ним поплыла над заснеженными, серебряными от инея камышами. Еще ярче, еще сказочнее изменяла она и кулижины, и шаражистые кусты татарника, и тугие, летом и осенью коричневые, а теперь точно облитые пенной глазурью, как невиданные зимние плоды, пуховалки.

Идущая в нужном направлении, не сильно накатанная дорога, подмерзшая за ночь, радовала Алексея. По бокам ее, засыпанный снегом, еще и не начинавшим таять,— густой камыш. «Без зимника ни за что не пробиться бы мне к гусям».

На прогалинах и полянках, в лунной голубени, виднелись затейливые ребусы лисьих следов, горностаевых строчек, измереженные мышиные узоры, раскрывающие потаенную жизнь камышовой тайги. На первом же повороте дороги открылась скрученная ветром кулига — точно шалаш заночевавшего в камыше человека. Вокруг нее снег утолчен волчьими следами с ржавым пятном крови на самой дороге. А чуть подальше — обгрызенный добела череп овцы, единственной овцы Максима Чукреева, зарезанной волками этой зимой.

Все это как бы само собой схватывали глаза и память Алексея. Не останавливаясь, не затмевая ни на минуту главной цели похода — пробраться в гусиное становье, он шел, все время чутко прислушиваясь, не поднимутся, не загомонят ли в предрассветье потревоженные кем-либо гуси.

Но все та же вселенская тишина царствовала в ка-

мышовой тайге. Только поспешные, словно поющие на хрустком снегу звуки его шагов нарушали лунную апрельскую ночь. «Успею — вышел в самый раз»,— думал Алексей, прикидывая примерное расстояние до того желанного поворота дороги в глубину крепи, где, по его предположению, должны были быть и дальние — кормные, солончаковые грязи, и сеть озер с мощными гривами камышей на окрайках и вековечными, недоступными летом лабзами — коренные, излюбленные места гусиных гнездовий.

Алексей взглянул на часы — половина четвертого. «Значит, я отмахал не менее пяти километров. Вот-вот надо сворачивать». Но никакого признака гусей все еще не было.

Алексей остановился в раздумье: «Не прошел ли я уже?» Замер. Однако по-прежнему все было тихо. Только чуть слышный писк просыпающихся камышовок да похрюкивание хоря ухватило чуткое его ухо. Алексей решил пройти по дороге еще немного и свернуть влево: по всем его предположениям, гусиные места были совсем близко.

«Только бы услышать, только бы услышать!»

И он услышал их. И, хотя чуть долетевший гогот гусей был много дальше от дороги, чем предполагал Алексей, радостно вздрогнув, он ринулся в крепь.

Скованная ночным морозцем снежная корка легко выдерживала тяжесть человека. По ней, словно по асфальту, Алексей уже не шел, а бежал: все время нараставший гогот просыпающихся гусей словно подстегивал его: «Близко, совсем близко!»

Но заломы и гущина камышей с каждой минутой становились все непреодолимей. Обрушивая целые пласты снега, Алексей, с разгона подминая и снег и камыши, проламывался к заветной кромке.

И проломился! А проломившись, обессиленный упал на лабзу, мокрый от головы до ног, и долго лежал, тяжело дыша. Перед глазами, как обетованная земля, открылись ему и целая сеть озерок, и протаявшие, освободившиеся из-под снега солонцеватые кормные грязи.

«Теперь спокойно, друг, спокойно — стрелять только наверняка, и все пойдет, как по нотам...» Оглядевшись, Алексей наметил излучину открытого длинного озерка и установил профиля.

...Парное, с влажным южным ветром утро в азарте стрельбы промелькнуло незаметно.

Опьяненный успехом охотник забыл обо всем на свете. Неоглядное море рыжих камышей, зыбко раскачивающихся под ветром, гомон местной и пролетной птицы, хлынувшей на север с попутным ветром. Безбрежная чанская глушь, и он, Алексей Рокотов, счастливый удачной стрельбой, в самой сердцевине ее... Охота — сказочная живая вода, возвращающая человеку молодость, обостряющая радость жизни, бесследно поглощающая все невзгоды и огорчения!..

Как всегда в подъемные минуты охоты, его неотвязно преследовали бунинские стихи:

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,
На заре добычу жду... Скудна
Жизнь моя, расцветшая в неволе,
И хочу я слепо в диком поле
Силу страсти вычерпать до дна!

...Отрезвление началось с девятого, упавшего в кромку камышей гуся. Алексей выскочил из обмятого, утолоченного за утро скрадка не на лед, как до этого, а в камыш и увяз по самые плечи: снежная корка, еще несколько часов назад выдерживавшая его, размякла, и он провалился в мокрый, зернистый снег. Убитый гусь лежал не далее семи-восьми шагов от скрадка, но Алексей измучился, пока пробился к нему. И, только увязав добычу на лямку, собрав профиля и взвалив весь груз на плечи, понял, что охотничье безумие, загнавшее его в эти глухие пропастные места, намертво, цепко ухватило безумца в снежный капкан, вырваться из которого одному и без лыж вряд ли возможно. Алексея объял страх, но усилием воли он подавил его.

Старых предков я наследье чую,
Зверем в поле осенью ночую,—

громко проговорил он и шагнул в крепь.

Пробуравить кромку засыпанных снегом камышей в два десятка шагов с неподъемным грузом даже и со свежими силами было нелегко. Обессилевший, он, как в топь, упал на обрушившийся под ним снег и пролежал не менее получаса. Еще так недавно словно вычеканенный из серебра иней растаял от южного ветра. С каждой камышины на Алексея, как слезы, падали светлые капли.

Выглянувшее из туч солнце расстелило над горизонтом легкий весенний парок.

Почуявшие тепло, с победными трубными кликами в небе проносились жемчужные ожерелья лебедей. Суетливо перепархивали, упоенно цвинькали камышовки. Волнующе пахло тающим снегом.

Заново возрождающийся мир был прекрасен. Но устрявший в снежных хлябях, попавший в беду охотник не замечал этого: перед его глазами возник обглоданный волками череп овцы.

Алексей поднялся, решив тащить гусей во́локом: этот способ вначале показался ему более легким. От жидкого, как зернистая каша, снега, от мокрых камышей одежда отяжелела. Алексей обливался потом. Сердце колотилось отчаянными толчками, в глазах зеленело.

Но и волоча гусей, Алексей сделал не более двадцати шагов и, вконец измученный, снова упал.

Выбравшись из первых крепей, где в высоких камышах снег доходил ему до пояса, он снова попробовал взвалить связку гусей на плечи и идти, считая вначале до пятнадцати, до семи, а через час уже только до трех шагов. И, с пересохшим ртом, с распухшим языком и потрескавшимися губами упав на камыш, жадно глотал снег. Но снег, казалось, только еще больше распалял жажду...

Строченая лямка с подвязанными к ней гусями уже не обжигала, как вначале, а, словно проникнув куда-то в самую глубину его груди, мучительно разрывала ее.

Еще во время охоты, по старой привычке, после каждого убитого гуся «на крыви» Алексей выпивал по чарке чаю с коньяком, и в термосе у него не осталось ни капли.

Поднявшись, он снова поволок убитых гусей. Двигался с одной мыслью: добраться хотя бы до зимника. Он уже ненавидел свою добычу, но оставить в камышах гусей на съедение волкам и лисам, оказаться «обстрелянным» своими товарищами — не мог. Каждое движение в заваленных снегом камышах, цепляющихся за связки дичи, за приклад ружья, за фанерные гусиные профиля, доставляло мучение. Но охотничье самолюбие не разрешало бросить трофеи: «Ты ведь лось, ты вытащишь!.. Только бы добиться до дороги! Только бы до дороги!..»

Глубокий, пробуравленный в снегах след, как медвежья тропа, пролег в камышах.

Уже давно перевалило за полдень. Прихлынувшее тепло укутывало камыши в туман. Туман, сгущаясь, точил снег, суживал горизонт. Алексей не опасался заблудиться: способность ориентировки у него была врожденной. И с завязанными глазами он бы не отклонился от зимника. Но силы иссякли. И все же он шел. Шел и падал, проклиная охотничью страсть, нелепый свой риск. Ему было стыдно за свой дикий азарт; всегда стыдно очнуться от безумия страсти.

«Лягу и больше не встану».

Алексей уже было повалился на снег, но неожиданно вспомнил рассказ своего отца, как он, совсем еще молодым парнем, помятый медведем, с вывихнутой ногой, на поломанных лыжах выбрался из тайги, не бросив сырой, тяжелой шкуры первого убитого зверя.

«Отец выбрался, а ты?..»

Алексей сел на связку гусей, с трудом снял вымокший халат, пропотевший ватник и, расстелив их на камыше, вытряс набившийся за голенища сапог снег. Влажный ветер освежил голову, казалось, укрепил и дух и силы. «Зимник близко, совсем близко!»

И действительно, зимник был не далее километра. Но каким мучительным оказался этот километр! Смутно, как во сне, Алексей делал два-три шага и падал. Он уже видел дорогу, а брел до нее бог весть как долго. Перед тем как сделать последний рывок, вновь разделся и долго накапливал силы, подставив лицо, распахнутую грудь южному ветру. Все помыслы его теперь были сосредоточены на этом последнем рывке. И Алексей сделал его, но, упав грудью и животом на обочину дороги, никак не мог поднять увязшие в снегу ноги.

А справившись и с ногами, лег на дорогу и, прижавшись к ней горячей щекой, заплакал от радости.

Последнюю утреннюю зорю на грязях Емелькиной гривы охотники провели почти без выстрела: как и предполагал Алексей, потревоженный местовой гусь откачнулся в крепи.

Из табунчика пролетных казарок Васенька Кудашов подранил в крыло одну, снизившуюся между скрадками

товарищей. Выскочив из засидки, Васенька бросился к подранку, но казарка, взмахивая здоровым крылом, по ветру устремилась от охотника. Безуспешно стреляя на бегу, Кудашов, выпустив полпатронташа зарядов, испортил товарищам последнее утро.

В избушку охотники вернулись рано. С полудня уже с нетерпением стали поджидать Алексея.

Первым забеспокоился Зарудин.

— Все ли ладно с бригадиром: давно бы вернуться должен.

Охотники уже упаковали выпотрошенную и замороженную в пере дичь, сложили рюкзаки.

Зарудин и Васенька, взобравшись на крышу избушки, тщательно осматривали в бинокль безбрежные разливы камышей. Потеряв утро, все в душе жалели, что отказались пойти с Алексеем на новые места. Каждый думал: «Недаром припоздал бригадир. А вдруг не только поравняется, но и обстреляет в эту последнюю зорю?»

Беспокойнее всех было на душе самого близкого друга Алексея — Валериана Правдухина, отличного стрелка, опытного, страстного охотника, всегдашнего его «соперника».

В каждую поездку бригады на Чаны за гусями писатели-охотники Николай Смирнов и Владимир Зазубрин держали пари: «Кто же кого обстреляет?»

До этого Правдухина всегда «обстреливал» Алексей. Теперь же — до сегодняшней зори — «королем» охоты был Валериан. За него всю неделю поднимали первую чарку.

— Уверен, пожадничал наш Алеша: набил и мается,— высказал он свою догадку.

Завечерело. С крыши теперь уже не сходили все всерьез беспокоившиеся товарищи.

...Первым заметил Алексея Правдухин и не без ликующей нотки в голосе крикнул:

— Пустой, как барабан!

Алексей еле плелся по Емелькиной гриве, без ватника, без шапки, с растрепанными, слипшимися на лбу волосами. Не было на нем и халата. Лишь ружье и патронная сумка. Все бросились ему навстречу.

— Ну как? Алеша, что случилось?

Алексей не ответил. Зарудин решил помочь ему и, сняв с плеч сумку с патронами, хотел взять и ружье, но

ружье Алексей не отдал. Недоуменно переглядываясь, товарищи шли сзади.

У избушки Алексей повалился на кучу камыша. На вопросы обступивших его товарищей он тоже не отвечал: у него пересохло во рту, распух и одеревенел язык. Шестнадцать часов невероятного напряжения доконали его.

Чуть слышно он прохрипел: «Пить!»

Васенька принес ковш квасу, и Алексей опорожнил его за один дух. Потом, поманив к себе хозяина избушки, у которого они жили, Алексей что-то сказал ему на ухо.

Старик сел на лошадь и затрусил к кромке камышей.

Алексей тотчас же уснул. Друзья накрыли его барсучьей дохой и, снедаемые любопытством, с биноклями снова взобрались на крышу. Вот старик подъехал к «куклам» у начала зимника, слез с лошади и, с усилием взвалив на коня связки гусей, профиля и одежду охотника, повернул коня к избушке.

...Спящего Алексея привезли в Басово. В деревне друзья раздели его и положили на пуховую постель хозяйки.

Проснулся он только утром следующего дня.

На все вопросы товарищей отвечал спокойно, почти равнодушно, но изо всех сил старался притушить, спрятать от них лукаво улыбающиеся, счастливые свои глаза.

Только ли охотились они? Нет. Пять писателей-охотников окунулись в гущу народной жизни. Каждый по-своему увидел ее и отразил в своем творчестве.

Внимательно следивший за работой друзей Алексей больше всего был восхищен рассказом Николая Зарудина «Снежное племя», написанным под впечатлением от этой их поездки. Вернее, от одной только ночевки в чувашском колхозе у озера Тандово. Лишь после рассказа «Снежное племя» Алексею во всей полноте раскрылся Зарудин — писатель лирико-философского склада, ум и сердце которого были, как позже писал о нем один из критиков, «в постоянном молодом возбуждении». И это придавало что-то праздничио-светлое всему его облику. Казалось, житейские заботы, материальные затруднения, обиды, нанесенные его писательскому самолюбию — а кто из писателей не испытывал всего этого? — не имели над ним власти.

Уже первыми своими книгами Зарудин уверенно вошел в литературу, был замечен Горьким.

Талант писателя счастливо сочетался в нем с неукротимым трудолюбием. Чтобы ближе узнать главного героя современности — рабочего, он с такими же энтузиастами и романтиками Иваном Катаевым и Василием Гроссманом ушел на завод: не корреспондентом, а встал к станку, как рядовой рабочий. И так к каждой задуманной им работе он готовился, не щадя ни сил, ни времени.

Рассказ «Снежное племя» вскипел неожиданно и увиделся как-то сразу необыкновенно ярко: художника потрясла убийственная, оскорбительная для человека нищета, в которой жили переселенцы чуваши в только что организовавшемся колхозе. Но писатель сумел увидеть и другое.

Алексей тоже был свидетелем их жизни. Вместе с Зарудиным они вошли в их подземное, подобное звериному логову, жилье:

«Отовсюду на вошедших смотрели глаза... Изба завалилась людьми...

— Жарко у вас... И народом вы, слава богу, не обижены... Ух!

— У нас жалко, очень жалко,— ответил ему черненький человечек в шапке, которую он никогда не снимал...

— У нас человек рабоций... Мы все тут вместе, один коллектив...

— Все приехали Сибирь работать... Мы будем работать...

Но и сюда через серые листки газет, по столбам телеграфа, по талым непроходимым дорогам неусыпно, неустанно, неутомимо шла генеральная линия. Черненький повторял слова: «контрактация», «коллектив», «кооперация», и эти слова включали зловонную избу, зарытую в снег на краю света, под ветром и звездами, в орбиту, по которой неслась история, грохоча космосом...

Генеральная линия творила жизнь, полную противоречий, удач и неудач, героизма и юмора, но она шла неуклонно к будущему, побеждая пространства, уничтожая препятствия, объединяя единицы в сотни, складывая сотни в миллионы...»

«И правда и глубина!» — восторгался Алексей. Несмотря на описание всей этой нищеты, вони и грязи — вы-

вод: только колхоз, «генеральная линия» — единственный выход для этих людей к свету, к счастью.

Страстный охотник, писатель-природолюб, стройный, словно горец, до педантизма щепетильный в одежде — даже на охоте он выделялся элегантностью своего костюма,— рано ушедший из жизни Николай Зарудин остался для Алексея одним из дорогих ему людей.

Всегда возбужденно-приподнятый Василий Кудашов в рассказе «На озере Чаны» описал лишь одну зорю, наиболее удачливую во всей его охотничьей жизни, хозяина избушки на Емелькиной гриве — охотника-промысловика Максима и его жену — «камышовку» (найденную им в камышах).

«Максим сидит на кровати, курит цигарку. Морщинистое лицо его розово освещено светом угасающего очага. Он сосредоточенно размышляет о чем-то. Максиму больше пятидесяти лет. Он живет на острове одиноко, занимаясь охотой...

Вокруг его избы необозримые камыши, прозрачно-голубое небо и такого же цвета водные просторы Чанов...

— Максим, как ты тут живешь?

— Как? Просто.

— А не бывает тебе скучно?

И лицо Максима сразу становилось таким, словно он был удивлен нашими вопросами. Он вынимал из сундука венскую гармонь и, молодецки склонив голову, с увлечением начинал играть, оглашая первобытную чанскую глухомань красивыми переливами звуков. Жена Максима, сухая и чернявая женщина, садилась напротив мужа, подперев маленьким кулаком подбородок. Глаза ее блестели и, улыбаясь, как бы говорили: «Играй, Максим, веселей и звонче, чтобы тебя слышали за морем». Он играл, пальцы его живо бегали по костяным клавишам, а жена слушала и радовалась так, словно для нее ничего не было дороже певучих звуков гармони».

Борис Губер на материале поездок в Барабу создал книгу очерков «Неспящие» — об одном из крупных сибирских зерносовхозов.

Валериан Правдухин ни одним словом не отозвался на эту поездку, зато в чудесной своей книге «Годы, тропы, ружье» с блеском описал другую охоту на гусей — «На тойских займищах», где его трофеи были менее обидны для авторского охотничьего самолюбия.

«Охотник». Нет, это не просто обыденный, понятный каждому термин: в нем есть кое-что такое, чему, может быть, посмеются, но не разгадают, ие поймут миогие»,— справедлнво утверждал один из классиков охотничьей литературы.

Алексей в эту его поездку иа Чаны увидел тип перегибщика — иедалекого по уму карьериста, бывшего фельдфебеля, ловко использованного троцкнстами в горячую пору коллективнзации.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

После охоты Алексей с иовыми силамн прииялся за свою кингу. Но методы его работы виовь резко изменились. Как-то вдруг он понял, что главное в творчестве — это неустаниый понск, открытие все новых и новых тайи мастерства, лишь овладев которыми и можно подияться на более высокую ступень искусства — «добиться успеха у самого себя».

«Талаит, ие подтверждаемый растущим мастерством, обречеи иа прозябание, а в дальнейшем — на полиое забвеиие»,— думал он.

Возможио, толчком к этому послужила статья известнейшего критика того времени А. Вороиского «О том, чего у нас нет», иацелеиная против «бескрылого отображательства».

«Бытовизм был реакцией на отвлечеиный космизм и голую агитацию. Теперь пора продвииуться вперед уже по одиому тому, что читатель предъявляет к писателю более сложые требования... Художиик должен поднимать иас над действительностью, не упуская ее ни на миг. Только тогда раздвигается лнния горнзонта и стаиовится видимым многое, что скрыто для глаза»,— писал ои.

«Но чтобы заметно раздвииуть лииию горизонта в творчестве,— размышлял Алексей,— иеобходимо как можно шире открыть свою душу нскусству, обострить чувство познания красоты. Никакое искусство не живет обособлеино, всегда одио оплодотворяет другое. Зиачит, не только читать и размышлять о прочитаином, но и посещать картниные галереи, консерваторию, театры».

Как всегда, Алексей увлекся. Увлечение переросло в страсть. Он с жаром погрузнлся в книгн по нсторни

музыкн н жнвописи, в монографни о великнх композиторах, художинках: восполиял недополученное в детстве и юиостн.

Пнсать он стал медленней, и пнсалось теперь миого трудней.

«Пусть трудно, пусть медлеино, ио — не бездумиолегкое бытописательство! Только не спеши!» — садясь за работу, каждый раз говорил себе Алексей. Он запоминл слова Ромеиа Роллаиа: «Прежде, чем решился написать первую строчку «Жана Кристофа» — я выиашивал его в себе десять лет».

В познании музыкн «Жан Кристоф» дал Алексею больше, чем все книги по историн музыки.

В коисерваторин Алексей сидел, ие замечая людей.

Музыка пронизывала сердце, иаполияя его радостью, настраивала его, точио оргаи, готовый ие только прииимать, ио н извлекать из своей души свои мелодии.

Алексею казалось, что, еслн бы н во время работы над рукопнсью он смог бы слушать такую же музыку, ои совсем по-иному, в иные, более яркне слова облек бы то, что возннкало перед ннм сейчас.

Вериувшнсь с концерта, ие остывший еще от впечатлеиий, ои, как н Жаи Крнстоф, готов был сиова н сиова повторять слова, ставшие для него заповедью: «О, мир, божествеииая гармоиия, музыка освобождеииой души, в которой слиты воедино н горе н радость, н смерть и жизнь, н враждующие н братскне народы,— я люблю тебя, я хочу тебя и я обрету тебя».

В театре Алексей по-новому поиял и оцеиил скупую, выразительиую силу жеста. К приему подтекста — раскрытию чувства не в лоб, а намеком — он пришел на одиом из спектаклей Мейерхольда с его прннцнпом: «В искусстве важиее ие знать, а догадываться».

Пересмотрел Алексей н свое отиошеиие к пейзажу. На мысль о возвышеииой, поэтической гармоиии в изображеиии картнн родной прнроды — проинкновеиии «в душу пейзажа» — его иатолкнули работы Саврасова, Васильева, Левитана.

Часами простанвая у полотен этих художииков, стремясь проиикиуть в тайну нх магнческого воздействия на зрителя, Алексей понял, что дело совсем ие в наивной, рабской, фотографнческн точной нмнтацнн природы, а в

искусстве отыскать в самом простом, обыкновенном те интимные, глубоко трогающие, чаще всего печальные, присущие русскому пейзажу черты, опоэтизированное изображение которых так неотразимо действует на душу человека.

На вечерах фольклористов, слушая сказителей и сказительниц, Алексей погружался в бездонную стихию узорно-певучей народной речи.

Из фольклора же, как прием, он взял и крайнюю — гиперболическую заостренность образа.

И еще навсегда усвоил для себя Алексей, что в природе истинного таланта все должно быть просто, чуждо самомнению и успокоенности. Что литература должна стать делом всей жизни, а не «профессией». Что высший идеал — народность творчества, а не подделка под «модные» вкусы.

Алексей ни разу не видел Воронского, статьи же его он всегда читал с интересом, особенно — литературные портреты современников. Написанные с блеском, они поражали его глубоким проникновением в тайная тайных творчества писателя, в особенности, свойственные каждому подлинному таланту, в своеобразие его красок, певучесть языка, что, как правило, опускалось другими критиками.

Алексей знал, что еще не так давно Воронского считали чуть ли не «злым гением» советской литературы. Однако внимательное изучение статей этого критика со всей очевидностью убеждало его, что большинство смертных грехов, приписываемых рапповцами Воронскому, было продиктовано в запале групповой борьбы...

Ожесточенные групповые распри, возвеличивание одних и замалчивание других вызывали у Алексея чувство омерзения.

Возможно, интерес, душевная симпатия к Воронскому помешали увлекающемуся Алексею глубже разглядеть, объективно разобраться в допущенных Воронским политических ошибках, но ему казалось, что сумма сделанного и делаемого критиком добра советской литературе превышает зло заблуждений этого талантливого человека.

«Да и мог ли Воронский,— негодовал про себя Алек-

сей,— с его страстным характером не зарваться, когда изо дня в день ему приходилось наблюдать, как заболевшие комчванством, в пылу «административного восторга» некоторые напостовцы и рапповцы, с их узостью и нетерпимостью, зачисляли в число попутчиков и даже правых Горького, «вне генеральной линии» числили Шолохова, «прорабатывали» Маяковского, шельмовали Есенина, ставили под сомнение искренность Багрицкого и Луговского?»

Алексею хотелось познакомиться с Воронским, и он встретил его совершенно случайно в семье ближайших своих друзей Лидии Сейфуллиной и Валериана Правдухина — в «Лидочкином салоне», как шутя называли их квартиру.

— Нет, я людей не презираю. Прежде чем презирать других, необходимо было бы начать с самого себя. И не унижаю: самое отвратительное — унижать себе подобных...

И эти слова, которые Алексей услышал еще в передней «салона Лидочки», и произнесший их как-то особенно пылко невысокий, показавшийся ему даже ниже среднего роста человек с тонким нервным лицом невольно привлекли его внимание. Человек этот был далеко уже не молод. Курчавые, сильно побелевшие на висках русые волосы его были зачесаны по-семинарски на косой пробор со старомодным чубчиком.

— Кто это? — спросил Алексей Правдухина.

— Воронский. Пойдем, я познакомлю тебя с ним.

Рядом с Воронским стоял земляк Алексея поэт Павел Васильев. Смущенно, растерянно — а смутить ершистого Павла было не так просто,— уже порядком выпивший, он забормотал что-то невнятное и, видимо, обрадовавшись приходу Алексея, поспешил отойти от сердитого критика.

Правдухин познакомил Алексея с Воронским и пригласил всех к столу. За чаем хозяйка завела разговор о «Перевале», только что жестоко разруганном одним из напостовских критиков.

— Как из подворотни выскочил и облаял...

Алексею было известно, что Воронский — создатель и идейный вдохновитель этой литературной группы, далеко не во всем бесспорной, но объединявшей немало талантливых писателей.

С бесцеремонностью и любопытством провинциала смотрел Алексей на критика. Тот сидел, задумавшись, нервно покусывая толстые, чуть вывернутые губы.

Алексею все представлялось необычным в лице Воронского. Казалось, вся аскетически трудная жизнь революционера-подпольщика с тюрьмами и ссылками, кипучая агитационно-пропагандистская работа редактора газеты «Рабочий край», создание по поручению Ленина первого «толстого» художественного журнала, ожесточенная борьба литературных групп, в которой ему приходилось первому и наносить и принимать удары,— все, все отпечаталось на его лице.

— И по кому погромные выпады? По самым одаренным: по Алексею Толстому, Ивану Катаеву, по Зарудину! — негодовала Сейфуллина.

Воронский вздрогнул, точно воин, услышавший боевой звук трубы, вскинул глаза и сказал:

— Разругать проще, чем разобраться, понять и честно, обязательно честно высказать продуманное мнение. Девизом перевальцев в искусстве всегда были искренность писателя, гармоническое слияние миросозерцания и мироощущения.

«Весь из углов»,— определил Алексей в этот вечер своего критического кумира.

Кто из молодых писателей не создавал их тогда!

Потом поэты Наседкин и Павел Васильев читали эпиграммы, стихи.

Оживившийся Воронский как-то по-детски заливисто смеялся острым эпиграммам, внимательно слушал, увлеченно говорил о только что прослушанных стихах.

«Добрый, по-товарищески отзывчивый, необыкновенно чуткий,— думал, глядя на него, Алексей,— но держится, соблюдая незримую «дистанцию»: какое-нибудь амикошонство с ним совершенно исключено».

Сославшись на срочную работу, Воронский вскоре распрощался. Оставшиеся долго сожалеюще молчали.

Сейфуллина обвела присутствующих своими удивительно живыми, черными, всегда поражавшими Алексея какой-то обнаженной правдивостью и бесстрашием глазами и сказала:

— Чтобы по-настоящему понять Воронского, необходимо прочесть его историко-революционные мемуары «За живой и мертвой водой». Прочтя их, мы с Валей долго

думали, с чем можно сравнить эту удивительную высокохудожественную энциклопедию — о подпольной борьбе большевиков с самодержавием. И пришли к единодушному выводу: только с «Былым и думами» Герцена... Да, да, дорогие товарищи,— по искренности, по правде!

И маленькая женщина, отличающаяся резко выраженными симпатиями и антипатиями, точно припечатывая высказанную ею мысль, энергично стукнула кулачком по столу.

Мемуары Воронского «За живой и мертвой водой» Алексей прочел залпом. Вера с трудом отрывала его от книги на обеды и ужины.

Прочел и задумался: мемуары Воронского были выпущены уже третьим изданием, но Алексей нигде не читал до сего времени их подлинной оценки. «Непризнанных гениев нет,— вспомнились ему слова Гете,— коли это розы — они зацветут». Конечно, зацветут, но когда?..

Образы Ленина — борца, гениального стратега, остроумного, порою веселого человека, заботливого товарища, без сусально-традиционного венчика над его головой,— неукротимого умницы Валентина, Серго Орджоникидзе — целая колонна подлинных большевиков как вырубленные из гранита стояли перед ним.

Прочитанную книгу Алексей оставил на письменном столе, чтоб вечером перечитать особо поразившие его места жене. Но не выдержал, закричал:

— Верочка, послушай, как он еще двадцать лет назад писал об обывателях!

Раскрасневшаяся на кухне Вера, с засученными по локоть, обсыпанными мукой руками, вошла в кабинет и присела на диван:

— Только недолго, Алеша, у меня тесто подошло...

— Тесто подождет, слушай:

«...Нас окружила обывательщина. В мире нет ничего хуже российского обывателя, освирепевшего на революцию... Обывательщина наша жирная, сальная, злобная. Бывал ты когда-нибудь в мясных рядах? Висят свиные, коровьи туши. На прилавках, на телегах, повсюду — куски сала, желтого жира, запекшейся крови, в стороны летят осколки костей, ошметки мозгов, собирая своры собак. Фартуки коробятся от крови. Вонь, разложение,

душные, сладко-тошноватые трупные запахи. Мне всегда кажется, что это — овеществленные чувства, надежды, мысли нашего растеряевца, окуровца, миргородца, что это он сам, в самых своих сокровенных помыслах. Это его жизнь и быт. Погляди на него. С каким упоением копошится он, ворошит эти куски мяса, сала!.. боится, как бы у него не вырвали, не перекупили облюбованный кусок. Толкни его в это время, задень его нечаянно локтем, он ухлопать тебя готов на месте...»

А вот самое, самое последнее...

— Алешенька, у меня тесто...

— Иди — печной горшок тебе дороже...— рассердился Алексей и тоже встал.

Вера ничего не сказала своему «горячке», она только как-то извиняюще-жалко улыбнулась и пошла на кухню.

Алексей не только разобрался в московской литературной обстановке, но во многом успел и разочароваться.

Квартира на Тверском бульваре была рядом с центральным в то время литературным кабачком, в котором с утра до глубокой ночи толпились беспокойные, всегда возбужденные поэты, критики, начинающие прозаики. Примелькались, наскучили читки с взаимными похвалами «горяченьких», только что из-под машинки стихов, пьяные выкрики на весь кабак о своей гениальности, вечная толчея у залитых пивом столиков, в коридорах и даже в маленьком садике Дома Герцена.

В большинстве это были совсем еще молодые люди, не владеющие мечом, но уже рубившие им со всего плеча:

— Ну что такое Алексей Толстой?..

— Шолохов? Областник!

— Ценский — графоман!

— Шишкин — просто фотограф. Вот Пикассо!

Спорили до пены на губах. И, как правило, не написавшие ничего сколько-нибудь примечательного. Стремились перекричать один другого, чтоб только злобно выплюнуть часто совершенно ничтожные вкусовые мыслишки.

Осоловело-пьяные — опьянели уже и сандалии, как выражался Рабле,— гуляки все же спорили об искусстве. «Когда они работают и на что пьют? — поражался

Алексей, дороживший каждым часом своего вре-меии.— И как ие стыдио поиосить все подлиииое, бесспор-иое?»

Алексея влекло к серьезиым, безраздельио предан-иым литературе писателям, собиравшимся в «Лидочки-ном салоие».

С радушиыми хозяевами этого «салоиа» Алексея свя-зывала Сибирь — общая литературиая колыбель, а с Правдухииым еще и любовь к природе, совместиые охо-ты, увлечеиие спортом — теииисом и коиьками. Общие иитересы и симпатии переросли в тесиую дружбу.

Двухкомиатиая квартира Сейфуллииой и Правдухи-иа в проезде Художествеииого театра почти ежеиедельио собирала интересиых, талаитливых людей. Хозяева отли-чались большой «веротерпимостью». Тут бывали литера-торы разиых групп и иаправлеиий. Обязательиыми были талаит и такая же, как и у хозяев, святая предаииость литературе.

И виешие это была иа редкость колоритиая супру-жеская пара. Она — малеиькая, почти по плечо своему мужу, с куриосым лицом, со смолистой челкой волос, приспущеииых иа квадратиый мужской лоб, и огромиы-ми чериыми глазами. Искреиияя, прямая до дерзости, Сейфуллииа сразу же покоряла всякого и своим милым, каким-то задушевио-дружеским, то материиски теплым, то гиевио иегодующим голосом. Правдухии — виешие медвежеватый, иеловкий, типичиый сельский учитель, с малеиькими, как будто даже соииыми глазками, с боль-шим поповским иосом, в действительиости, как и его жеиа, пылкий, фаиатически предаииый делу литера-туры. Как загорались его умиые глаза во время спо-ров о литературе! Неистовым Валериаиом иазывали его друзья.

В первые годы переезда Сейфуллииой и Правдухииа из Лениинграда в Москву частой гостьей «салоиа» была задушевиая подруга Лидии Николаевиы, раио ушедшая из жизии Лариса Рейсиер. Теперь ее портрет стоял иа письмеиом столе Сейфуллииой. Тоикое, одухотвореииое лицо Рейсиер казалось Алексею воплощеиием жеиской красоты, от портрета ои ие мог оторвать глаз.

Нередко в «Лидочкиом салоие» бывал сутулый, угловатый Исаак Бабель, читавший собравшимся одес-ские рассказы. Ои поражал Алексея иеожидаииой сме-

ной настроений, происходившей, очевидно, от напряженной, не прекращавшейся ни на миг работы мысли.

Словно и здесь, на людях, он творил свои новеллы. Еще минуту назад он сидел, нахмурив выпуклый лоб, не замечая никого из присутствующих, и вдруг оживлялся — начинал говорить так же отточенно-остро, как и писал. Быстрые глаза его под толстыми стеклами жадно вбирали в себя, казалось, и всех присутствующих сразу, и каждого в отдельности...

Изредка появлялся в «салоне» маленький, крепкий, по-казацки стройный, с гордо посаженной головой совсем еще молодой Шолохов в неизменной военной гимнастерке и сапогах. Он усаживался в самый дальний угол и внимательно рассматривал присутствующих, улыбаясь голубыми зоркими глазами.

Близкий друг хозяев, страстный охотник, лирический поэт в прозе, восторженный поклонник Бунина, Николай Смирнов переходил от одного писателя к другому и обычно заводил речь о новом произведении любимого своего писателя, прочесть которое он как-то ухитрялся раньше других.

По-охотничьи бесшумно входил, оглаживая густую бороду, Михаил Пришвин. Елейно-ласковый, тихий, мужицки хитроватый, при всей его внешней наивности, он всегда, точно в лесу, как-то настороженно прислушивался, говорил раздумчиво-медленно.

Непринужденней всех держался озорной, монгольски скуластый, с раскосыми, широко расставленными прекрасными синими глазами, пышноволосый, баловень женщин, прозванный друзьями «Ванька Ключник», поэт Павел Васильев.

Он то ходил из угла в угол, что-то шепча и чему-то улыбаясь, то как бы невзначай ронял едкую остроту, сохраняя при этом полное спокойствие на лице. И только вздрагивавшие крылья носа да как-то вдруг темнеющие, из синих становящиеся фиалковыми глаза выдавали его озорство. Казалось, в любую минуту он может выкинуть какую-нибудь сногсшибательную шутку или даже сказать резкие, оскорбительные слова.

Враскачку, как на палубе корабля, на коротких толстых ногах входил по-матросски крепко сбитый Силыч — Новиков-Прибой. Вислые моржовые усы, крупная квадратная, совершенно голая голова его, дружественно

улыбающееся всем простецкое лицо вносили какой-то прочный семейный уют в «Лидочкин салон». Сильча любили все, кажется, и он всем отвечал тем же.

Чернобородый, мрачноватый великан Зазубрин, уединившись в одном из углов комнаты, в ожидании очередной читки, нервно поглаживал свою длинную — «распутинскую», как смеялись друзья,— бороду.

Позже всех — «под занавес», к ужину, всегда неожиданно появлялся большой, бритый, «граф» Алексей Толстой. Входил он шумно, весело, с готовой шуткой, с широкой русской улыбкой.

Остроумный собеседник, блестящий рассказчик, он умолкал только, когда ел и пил. А ел и пил он много. И не только не смущался, а словно бы щеголял и своим аппетитом, и силушкой. Однажды, наевшись и изрядно выпив, он похлопал себя по животу и искусно сделанным — протодьяконским басом сказал: «Могий вместити да вместит».

Во все глаза смотрел на бывшего графа Алексей. Смотрел и думал: «Сколько же в тебе и актерства, и подлинной, с переизбытком отпущенной богом, этой самой телесной и духовной русскости!..»

Это было время дружеских сходок и кружков с чтением и страстными, шумными обсуждениями только что написанного.

Здесь, в тесном писательском кругу, хозяйка читала знаменитую свою «Виринею», а хозяин — главы из романа об уральском казачестве «Яик уходит в море».

Здесь же читал неопубликованные главы романа об алтайском крестьянстве и Алексей.

Как-то, поздно вечером, Алексею позвонила Лидия Николаевна:

— Приходите поскорее: Павел Васильев собирается почитать новые стихи. Приехал Шолохов, будет Зазубрин и еще кое-кто.

От квартиры Рокотовых до Художественного проезда пятнадцать минут хода. Алексей очень любил стихи своего земляка за их многоцветную буйную образность, за яркую, почти телесную ощутимость, а самого поэта — за широту и сложность его натуры, за обостренное, какое-то удесятеренное чувство жизни.

Лишь только вошел Алексей, поэт, стоявший на средине комнаты, откинул характерную кудрявую голову и,

полуприкрыв раскосые синие глаза, начал читать чуть притушенным, горячим, проникающим в самую глубь сердца голосом свою новую поэму «Лето».

Поверившнй в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл,
Поводырем по всей Россни
Ты сказку за руку воднл.
Шумелн Обь, Иртыш и Волга,
И девкн пелн иа возах,
И иа закат смотрели до-о-лго
Их золочеиые глаза.
Возы прошлн по гребиям пениым
Высокнх трав, в тенях, в пыли,
Как будто вместе с первым сеиом
Июнь в деревню прнвезлн.
Он выпрыгнул, рудой, без шубы,
С фналкамн заместо глаз,
И, крепкие оскалив зубы,
Прнщурившись, смотрел иа иас...
...Какой пригожий!
А давно ли
В цветиые копины н стога
Метал январь свон снега
И иа свободу от иеволи
Купчиху-маслеиицу в поле
Несла на розвальнях пурга!

Поэт читал. Каждая строка воплощалась в неповторимо яркий, кустодиевский образ.

Щедрое, солнечное лето пировало вокруг: слушатели, казалось, перестали дышать.

На душе Алексея было неизъяснимо хорошо. А когда ему было так особенно хорошо — всегда становилось почему-то немного грустно.

...Вот так калитку распахнешь
И вздрогиешь, вспомнив, что, иа плечи
Накннув шаль, запрятав дрожь,
Ты целых двадцать весен ждешь
Условленной вчера лншь встречн.
Вот так: чуть повернув лнцо,
Увндншь теплое сиянье,
Забытых слов и звезд мелькаиье,
Калитку, старое крыльцо,
Река блеснет, блеснет кольцо,
И кто-то скажет: «До свнданья!»

Поэт кончил читать. Все сидели так же тихо: чье сердце не взволнуют такие стихи!

Алексей оглядел слушателей. У хозяйки на глазах

блестели слезы. Шолохов, Правдухин и Зазубрин сидели глубоко задумавшись.

Потом заговорили все разом, а поэт отошел к стене и, постояв немного молча, вдруг, озорно блестя глазами, заговорил:

— Прочитал бы я вам новые стихи «для некурящих», да вот Лидии Николаевны смущаюсь. А написал я их, кажется, порядочно...

Гости вопросительно уставились на хозяйку. Правдухин подошел к жене и, обняв ее и просительно глядя ей в глаза, сказал:

— Она ведь у меня бывшая епархиалка, при ней можно... Ведь правда, Лида, можно?

Лидия Николаевна засмеялась:

— Читай, Паша. В искусстве я не женщина, а на равных правах с мужчинами...

Павел тряхнул головой и, все так же озорно улыбаясь, прочел довольно длинное стихотворение «Любовь на Кунцевской даче».

Поэт прочел все стихотворение без пропусков.

Внимательней всех слушала, а прослушав, громче, заразительней других смеялась Лидия Николаевна. Просмеявшись, с блестящими черными, влажными глазами, она сказала поэту:

— Еще Альбала советовал: если хочешь выразить обычные мысли более впечатляюще — остро, постарайся быть грубей, говори резче. Но ты, Паша, на сей раз перестарался немного...

Правдухин и Шолохов, считавшие себя, как и поэт, казаками, о чем-то оживленно переговаривались. Алексей услышал только заключительную фразу Шолохова: «Здорово пишут казачки, будь они неладны...»

Алексей молчал: он растерялся, прослушав в обществе женщины подобные стихи. Стихотворение не могло не понравиться и ему: в нем была все та же и незаурядная изобразительная энергия слова, и земная — животная плоть, впечатления, доведенные до физиологической остроты. Но что-то сковывало, что-то, словно комом застрявшее в горле, мешало Алексею высказать о стихотворении свое мнение. Но и промолчать он тоже не мог. А Павел, словно почувствовав состояние Алексея, обратился к нему:

— Ну а ты, земляк, что молчишь?

И тогда Алексей выпалнл то, что в самую последиюю секуиду пришло ему в голову:

— Стихотвореиие, как и все, что ты пишешь, Паша, талаитливо. И большущий твой талаит ярче всего проявился в твоих эпических произведеииях, таких, как поэмы «Соляиой бунт», «Сииицыи и К°», «Кулаки», «Христолюбовские ситцы». А «Соляиой буит» и «Сииицыи и К°» по силе, по мастерству, иа мой взгляд, пожалуй, одии из лучших поэм в нашей литературе, и что написал ты свою «Любовь на Кунцевской даче» и прочел в узком кругу — в смертиый грех я тебе не поставлю: Пушкин тоже проказиичал такими стихами... Но печатать его, надеюсь, ты ие будешь: уж больио натуралистичио, Паша.

Да и приопоздал ты малость, миого раиьше тебя об этом же писал Брюсов:

Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы...

И стихи его в свое время Иван Буиии окрестил «полным свииством».

Поэт нахмурился: большие, прекрасиые глаза его из васильково-сииих стали фиалковыми. Ни слова ие ответив Алексею, ои отошел от иего.

Не одии Сейфуллииа и Правдухии, посетители их «салоиа» и его друзья писатели-охотиики прочио вошли в творческую жизнь Алексея в Москве. Неожидаиио судьба счастливо столкиула его с Сергеевым-Цеиским.

Еще в Новосибирске в журнале «Красиая иива» ои прочел рассказ Сергеева-Цеиского «Аракуш». Прочел — и на всю жизнь был плеиеи этим, как о ием превосходно сказал Горький, «большущим русским художииком, властелииом словесных тайи, проиицательиым духовидцем и живописцем пейзажа,— живописцем, каких иет у нас».

Уже тогда Алексея, только-только вступившего на писательскую стезю, поразило в этом рассказе живое воображеиие художиика, лакоиизм диалога, в котором иайдеиы едииствеино вериые слова, тончайшие иитоиации и иеизъясиимая прелесть точио уловлеииого жеста.

И еще: его, ружейиого охотиика, потряс проиикновен-

ный показ близкой к охоте поэтической страсти слушать и видеть, кормить и разводить певчих птиц и голубей.

Как и автор «Аракуша», Алексей в детстве увлекался ловлею певчих птиц, любовался «сухими и теплыми еще осенними утрами, когда воздух гуще и земля строже и виднее чернобыл на межах, когда ближе к опушке придвигались черноголовые монашеики-гайки и глушки с сизыми щечками, но тоже в черных шлычках, и синицы-лазоревки, очень длиннохвостые, белые с лазурью, пушистые, торжественно наряженные, как на свадьбу или на бал».

Уловить всю гамму оттенков в оперении пичуг, узнать голубей: «тучерезов» — «королей высоты полета», «королей парения», «королей спуска», уметь «смотреть пойманному щеглу в хвост и считать перья: если четырнадцатиперый хвост — щегол-березник, дорогой щегол, не меньше как полтинник, а если двенадцатиперый — щегол репейный, цена ему в базарный день пятачок» — мог только прирожденный охотник, зараженный этой страстью с детства. «Души детей, как и души художников,— очарованные души».

А описание ловли крошечного, сказочной красоты и непревзойденного певуна аракуша!

Алексей перечитывал рассказ так часто, что вскоре заучил его наизусть. С тех пор душа его неудержимо потянулась к певцу русских полей. И чем больше он читал Ценского, тем все больше и больше поражался необычайной широте диапазона этого писателя, щедрости, красочности и разнообразию его художественных средств.

Да иначе и не могло быть. Ведь уже тогда, то есть более четверти века назад, Горький не законченную еще эпопею «Преображение России» считал «величайшей книгой из всех вышедших в России за последние 24 года». «Написав эту книгу,— отмечал Горький,— Ценский встал рядом с великими художниками старой русской литературы».

Алексей стал внимательно следить за всем, что говорит о Ценском критика. И поразился: о нем почти не писали. А если и упоминали, то, за очень редким исключением, все больше с непонятной Алексею холодностью, как бы «сквозь зубы», а часто и с откровенной издевкой.

И это тем более удивляло Алексея, что Горький называл Ценского своим любимым художником, «блестя-

щим продолжателем колоссальной работы классиков — Толстого, Гоголя, Достоевского, Лескова».

Вот уж воистину: «Несть пророка в своем отечестве!»

Впервые Алексею удалось увидеть Ценского в Москве, в начале тридцатых годов, когда его самого извлекли из Сибири и дали квартиру на Тверском бульваре. Там же, в те же годы, получил квартиру и Ценский.

На дворе Алексей уже не раз встречал высокого, атлетически сложенного, кудрявого человека с проницательными карими глазами рядом с хрупкой, скромно одетой женщиной, всегда что-то оживленно говорившей своему величественному спутнику.

Двор был проходной. Народу ходило по нему много. Но этот человек с фигурою и головой былинного богатыря и его спутница всегда останавливали внимание Алексея.

Как-то Алексей сидел с Павленко в садике Дома Герцена и снова увидел заинтересовавшую его пару.

— Кто это?

— Сергей Николаевич Сергеев-Ценский и его жена Христина Михайловна,— ответил Павленко.

Как по волшебству, перед Алексеем возникли слова из «Аракуша»:

«Весь бурдовый...

— ...А какая птица лучше всех поет?..

— Ара́куш.

— Какой а-ра́-куш?

— Такой самый и есть... У соловья — да и то не с первой ветки, а у самого знаменитого — всего их двенадцать колен, а у ара́куша — все двадцать четыре. Понял?.. Это на сколько больше?»

«Так вот он каков — творец «Аракуша», «Движений», «Печали полей», «Медвежонка», «Преображения России»!»

Павленко, очевидно, заметил волнение Алексея и спросил:

— Хорош мужчина? Таких в лейб-гвардии императорских полках за рост, за бравую красоту на правый фланг ставили... А каков писателище!.. Я читал, перечитывал — все старался понять секрет обаяния его письма и, кажется, понял: природа, человек и выражающее человека слово — вот его боги, вот чем он очарован с детства. Зорчайший глаз художника и абсолютный слух компози-

тора. Репин и Глинка — вот кто он одновременно. Я, конечно, выражаюсь фигурально,— улыбнулся Петр Андреевич.

Радостно ошеломленный встречей с любимым писателем, Алексей не смог продолжать больше разговора, неловко быстро попрощался с Петром Андреевичем и ушел домой.

«Аракуш! Чудесный мой Аракуш! Значит, мы будем жить с тобой на одном дворе!.. Значит, рано или поздно я познакомлюсь с тобой».

Но лично и довольно близко познакомиться с Ценским Алексею удалось только летом 1937 года.

За это время он много раз видел Ценского в писательской книжной лавке. Ценский подолгу рассматривал каждую отобранную книгу, буквально впиваясь в ее страницы. Губы его шевелились, брови то сурово хмурились, то удивленно взлетали над переносьем. Чувствовалось, что в эти минуты он никого вокруг не замечает.

Возвращался он обычно нагруженный тяжелыми связками книг. Алексей тоже шел домой и наблюдал за Ценским издали.

Пышущий здоровьем, хотя ему уже было тогда за шестьдесят, пружинисто-легкой походкой военного он шел по самой оживленной улице Москвы и с каким-то особенным, пристальным вниманием, очевидно выработавшимся с годами, смотрел на проходящих людей. Казалось, каждого, на ком останавливался взгляд проницательных его глаз, он вбирал в себя и прятал где-то в глубине души.

«Вот почему он и пишет лучше других: даже и на улице напряженно работает»,— думал Алексей.

Из своей квартиры он видел, что ночами окна у Ценского светились дольше, чем у всех других литераторов, живших на большом герценовском подворье.

Алексей слышал, что Ценский трудится неустанно, систематически. Пишет почти сразу же набело и, как Бальзак, чуть ли не по печатному листу в день. Что наряду с рассказами, повестями и романами он в стихах ведет «дневник поэта». «Не отсюда ли у него такая четкая, емкая и, главное, такая необычайно образная проза? Не случайно же большинство своих повестей он называет поэмами».

Подойти на улице, а тем более постучаться в кварти-

ру, так просто, ради знакомства, Алексей считал невозможным.

Помог случай. В тридцатых годах писатели Москвы на кооперативных началах построили многоквартирный дом в Лаврушинском переулке. Построили, уложили чемоданы для переезда в просторные, светлые квартиры, пригласили друзей на новоселье, а вселение неожиданно запретили: приемочная комиссия нашла какие-то мелкие строительные недоделки.

На общем собрании жилищного кооператива решили избрать группу писателей, чтоб «пробить стенку». Избрали Сергеева-Ценского, поэта Михаила Голодного, известную певицу Русланову и Алексея. Ему было поручено известить отсутствовавшего на собрании Ценского о его избрании, времени и месте сбора, чтоб отправиться на прием к председателю Моссовета.

Было ровно пять часов, когда Алексей позвонил Ценскому. «Теперь-то уж он, наверное, кончил работать».

Дверь открыл сам Сергей Николаевич: в квартире, кроме него, никого не было.

Ценский был одет в какую-то старомодную блузу из китайской чесучи. Воротник блузы был расстегнут, и он быстрым движением длинных сильных пальцев застегнул его. В широкой блузе, без шляпы, с гривой курчавых темных волос, в маленькой передней — он, казалось, заполнил ее всю — Ценский выглядел еще более монументально, чем на улице. Алексей смущенно назвал свою фамилию и поспешно объяснил цель прихода.

Очевидно, поняв его волнение, Ценский как-то удивительно по-русски — во все лицо — радушно улыбнулся, обнял за плечи и почти насильно втащил гостя в столовую.

— Вот теперь, батенька вы мой, и познакомимся и поговорим: мы ведь соседи с вами. И я вас давно приметил...— он по-мужицки хитровато сощурился, пряча улыбку в густые гренадерские свои усы.

Алексей облился жаркой краской. Ценский тотчас же понял молодого собрата и поспешил закончить фразу:

— И в литературе приметил, но больше на теннисном корте...

Против окон его квартиры Алексей с Правдухиным построили теннисную площадку, часто сражались на ней и, конечно, мешали Ценскому работать.

— Иной раз просто руки чесались!.. Но вы не бойтесь,— Сергей Николаевич так заразительно засмеялся, что и Алексей невольно улыбнулся,— меня хоть и зовут нелюдимом, но гостей я никогда не бью... а даже радуюсь, когда они, вот как вы сегодня, приходят после работы.

В улыбке, в словах хозяина, а главное, в тоне, каким он произносил их, было столько добродушия, что напряжение Алексея как-то вдруг бесследно пропало, и они заговорили как старые знакомые.

В столовой, против двери, висела огромная, чуть ли не во всю стену, картина Семирадского «Христос у Марфы и Марии». Написанная очень живо, вся залитая южным солнцем, картина словно освещала комнату.

Алексей стал внимательно рассматривать ее.

— Нравится?

Алексей молчал: ему многое не нравилось в картине.

«Сказать? Обидится! Не сказать — сочтет за невежду: он же сам художник и не может не видеть недостатков».

— Очень эффектна... Потрясающе много света, но...— Алексей замялся.

— Но страшно декоративна, салонно эклектична, вы хотели сказать? — пришел ему на выручку хозяин.

— И это. Но мне кажется, есть грешки и против закона перспективы. Посмотрите: голуби, они ведь на заднем плане, а написаны в естественную величину: крупнее, чем ступня Марии.

— Э-э-э, батенька, да у вас зрак-то охотничий, сибирский! Наверное, белку в глаз бьете. Грех этот я тоже рассмотрел еще в комиссионном, но купил: как-никак Семирадский, подлинник. За свет, за неистовое южное солнце купил: люблю юг. Она меня и зимой греет. Но, конечно, Генрик Ипполитович фальшивоват, театрален и в свете, и в композициях своих картин. Очень типичный для академического направления художник.

А что не постеснялись сказать правду — это хорошо: в искусстве и даже в разговорах об искусстве никогда не допускайте лжи. Никогда! У нас же частенько еще врут как сивые мерины... Ну, так, значит, когда же в Моссовет и где соберемся? — неожиданно переменил он тему разговора.

— Завтра в двенадцать часов, сбор у нас в садике.— Алексей стал прощаться.

Цеискнй нахмурился н, думая о чем-то своем, пошел проводнть гостя. Уже открыв дверь, он огорчеиио вздохнул н сказал:

— Рабочий деиь, значит, будет нзломан. Я бы специальным приказом по Союзу пнсателей запретил всякие комиссии н заседаиия в утренние часы: ведь это же для нашего брата самая страдиая пора! Полдия упустншь — в полгода не наверстаешь... Работаю я, к вашему сведеиию, сосед, до четырех. После четырех иадумаете — милостн проснм,— пристально посмотрев иа Алексея и опять как-то особеиио радушно улыбиувшнсь, он крепко пожал ему руку.

Алексей ушел от Цеиского счастливый: впечатлеиие о суровой иеобщительиости Ценского нсчезло бесследио. А сложилось оно н нз досужих разговоров людей, вовсе не зиающих этого человека, и, как это ии страиио, из первого зиакомства с его «Аракушем»: в глубиие сознания Алексей отождествлял самого автора с придумаииой им гордой, потаеииой птичкой.

«— Где ои живет?.. В Амернке?.. В Иидии?..

— Зачем в Иидни? В Иидии только нидейкн... У нас попадается...

— У иас?.. А у тебя почему же нет?..

— Поди-ка поймай, одии такой...

— Почему не поймать?..

Авдеич посмотрел миогозиачительно н даже поиизил голос:

— Скрывается... До чего скрытиая птица... Только в дебрях таких живет — не долезть...»

И, только поговорив с Цеиским, посмотрев в огиенные его глаза, из которых, казалось, струился неисчерпаемый источиик мыслей, образов, так густо наполняющих его произведения, Алексей поиял, что этот человек очеиь общителен н душевеи. Понял, что и шутливая фраза: «Гостей я никогда ие бью, а даже, наоборот, всегда радуюсь нх прнходу» — была сказаиа им от всего сердца. И что вообще этот иесокрушимый богатырь по складу души н тела ие только в искусстве и в разговорах об нскусстве, но и в жнзни не способен солгать ни в одном слове.

Цеиский был необычайио оживлен в эту вторую их встречу.

Алексея н Михаила Голодиого, сидевших в садике, отделеииом от остальной части большого герценовского

двора довольно высоким штакетником, Цеиский заметил сразу же, как только вышел из своей квартиры. Приветливо помахав им рукой, размашистыми шагами, почти бегом иаправился к ним.

Глаза и все лицо его лучились такой радостью, что Цеиский ие мог скрыть ее даже иа людях. Ои был похож иа большого ребеика, которому неожидаиио сделали подарок.

Алексей ие спускал с иего глаз: «Что бы такое с ним могло быть? Может, писалось хорошо, а может, еще что-либо...»

Они уже опаздывали: в половине первого прием, а им надо было еще пройти около трех кварталов до Моссовета.

Цеиский взгляиул иа часы и, очевидио, только сейчас понял, что заставил ждать себя десять мииут. Но и это ие омрачило радости, буквальио распиравшей его.

— Сей секуид! — крикиул ои.— Сей секуид, товарищи!

И вдруг, как-то весь подобравшись, прыгиул через штакетиик почти метровой высоты в садик, где его ждали Алексей и Голодный.

— Загадал: перепрыгну — будет удача,— раскатисто смеясь, сказал ои, крепко пожимая им руки.— Обязательио будет! Сегодня у меия счастливый деиь! — И вслед за тем густым басом рявкиул на весь садик переделаииый им куплет:

> Не бросим же борьбу,
> Ловите миг удачи!
> Пусть неудачник плачет,
> Кляня свою судьбу!..

На бульваре, точио вызывая иа соревнование, он все убыстрял шаги, озорио оглядываясь иа отстающих. Три квартала до Моссовета оии словио бы пробежали.

В вестибюле их ждали Руслаиова и архитектор. Алексей спросил Цеиского:

— Устали? Такая пробежка...

— А иу, кто иаперегоики по лестиице? — тем же задорным голосом и с тем же озориым огоньком в глазах вместо ответа выкрикнул тот и перемахиул через две ступеньки.

Спортсмеи-охотиик, выросший в горах, гордившийся своей выиосливостью, к тому же и иа четверть века моло-

же Цеиского, Алексей ие устоял. И они, все время прыгая через две ступеиьки, устремились вверх по огромиой лестнице.

Смеющиеся их спутиики были еще только на середине первого марша, а оии уже взлетели иа последиюю площадку. Цеиский крупиыми, как у плотиика, руками привлек Алексея к себе и, все так же сверкая огиенными своими глазами, сказал:

— Послушайте мое сердце!..

В могучей, борцовской груди Цеиского сердце билось с ритмнческой размереииостью маятиика.

«Такие живут до ста лет»,— подумал Алексей, любуясь только чуть порозовевшим его лицом.

Цеиский наклонился к иему н, лукаво сощурившнсь, шепнул:

— Похвальба молодостью свойственна ие только стареющим жеищинам, но, как видите, и нашему брату...

Цеиский оказался прав: встреча с председателем Моссовета была удачной — вселеиие разрешили. В доме иа Тверском бульваре закаичивались лихорадочые сборы: на следующий деиь, раио утром, должен был иачаться переезд.

Часов в десять вечера Алексею иеожидаиио позвоиил по телефону Ценскнй:

— Как самочувствие, сибиряк?

Алексей тотчас же узиал характериый его голос.

— Устал как зверь, Сергей Николаевич.

— Рассказывайте — «устал»! А по голосу чую — плясать готов...

— Вы правы, устали руки и ногн, а душа поет: какникак новоселье.

— Это у вас, охотинк-медвежатник, от вашего волосатого пращура, должно быть, осталось: иовая пещера, новые места охоты... А у меия, иаоборот, сегодия такая муть на душе, сам себе противеи: своими руками разорнл старое гиездо, а в ием так славно писалось. Выходите-ка в садик, посидим иа прощаиье: когда-то еще встретимся и встретнмся ли? Я переберусь, устроюсь иачерио и сразу же в Крым. А вы, иавериое, в свою Сибирь закатнтесь...

— Выхожу, Сергей Николаевич.

В тенистом садике они спугнули какую-то лирически

настроенную парочку. Девушка в белом платье со звоиким смехом выбежала в калитку. За ией, иадвиив шляпу иа самые глаза, иеторопливо, с достоинством проследовал молодой человек.

— И это пройдет,—с иескрываемой грустью сказал Цеиский, посмотрев им вслед, и тяжело опустился на скамью.

— Ну, уж коли до подобных изречеиий дело дошло, зиачит, действительио вы чем-то расстроеиы, Сергей Николаевич! Расскажите, если не тайиа.

Ценский молчал, уставившись иа иосок гигаитского своего ботинка.

Алексею стало неловко за неуместиое любопытство, и он уже собирался было перевести разговор иа последнюю, нашумевшую критическую статью, иапечатаииую в «Правде», как Ценский, ие поднимая головы, иегромко заговорил:

— Нет, отчего же... Какая уж тут тайиа: ругали-то ведь меня на всю страну, И какими только словами ие поносили! И декадеит-то я, и обыватель. Одии даже в ранг идеолога буржуазии возвел...

Он помолчал и продолжал:

— И представьте — притерпелся: видио, все может претерпеть русский человек. Да и как было не привыкнуть? Критический мордобой я прочувствовал еще на школьной скамье...— Он поднял голову, на потеплевшем лице его появилась улыбка.— Мне было тогда одиннадцать лет. В классе, вместо задаииого нам переложения своими словами монолога Пимеиа, я написал стихотворение «Летописец». Стихотвореиие довольио длиниое...

— И неужто через полустолетие вы помните его? — не выдержал Алексей.

Ценский молодцевато тряхиул головой и с видимым удовольствием сказал:

— Чем-чем, а памятью меня родители мои не обидели! Я начал помнить себя с трехлетнего возраста. И до сего времени помню не только то, о чем, бывало, говорили мои старики, но и как говорили — какими имеино словами, с какими интонациями. А уж это распронесчастиое стихотворение... Да я его до смертного часа помнить буду! Но оио, повторяю, длинное, и я прочту вам только коиец:

Как старый, бывалый и опытный воин
В жестоких боях закален,
Он пишет, правдив, равнодушен, спокоен,
Ни злом, ни добром не смущен.

Лампада горит до минуты рассветной,
Светя на задумчивый лик,
Склонясь над своею работой заветной,
Сидит летописец-старик.

Я, конечно, ждал очередной пятерки, но вы бы видели искаженное от злобы, багровое лицо преподавателя русского языка, швырнувшего тетрадь после прочтения моего «Летописца»! Я и сейчас еще слышу возмущенный его крик: «Ты что же это, Пушкина превзойти хочешь? Он писал белым стихом, а ты в рифму?» Это был первый критик, измочаливший меня еще, как говорится, «на заре туманной юности».

И опять Ценский надолго замолк.

— А почему затосковала душа, почему вспомнил обо всем этом — поясню. Связывая архив, я наткнулся на папку с вырезками критических статей и заметок о творчестве Сергеева-Ценского. И дернул меня дьявол заглянуть в них! Говорят, в малых дозах и стрихнин полезен, а тут, батенька вы мой, эдакие его пригоршни! Я не отношу себя к писателям, которые считают критику не только бесполезной, но и вредной. Но групповая критика, тупые, бесчестные критики вредны. Это я буду утверждать всегда...

— Сергей Николаевич, но ведь есть же у нас и честные, талантливые критики...

— А разве я это отрицаю? Есть и умные критические работы. Но критики, о которой говорил в свое время Короленко,— критики обобщающей, ведущей на ту высоту, с которой вся масса литературных явлений располагается в стройную перспективу, у нас еще мало...— Ценский разволновался.

Чтоб как-то успокоить его, Алексей заговорил о Чехове и Лескове, на его взгляд больше всех других русских писателей претерпевших при своей жизни от несправедливой критики.

— Вспомните хотя бы письмо Лескова к Шебальскому. Можно ли забыть написанные им буквально кровью сердца слова: «...доброжелательные указания встречал слишком редко. Вам, может быть, известно, что в печати меня только ругали, и это имело на меня положительно

дурное влияние: я сначала злобился, а потом смирился, но неискусно — пал духом и получил страшное недоверие к себе».

— Ну, не-э-эт! — решительно перебил Алексея Ценский.— Я не из тех, чтоб смириться, упасть духом... Может быть, вам покажется странным и даже противоречивым все, что скажу сейчас, но я скажу, потому что пережил все это на своей шкуре. Только вот как бы это выразить... Но вы понимаете: даже самая злобная, самая несправедливая критика, а еще более убийственное для писателя — глухое замалчивание, меня не убивает! Гнетет, конечно, но не убивает...

Они давно уже поднялись со скамьи и ходили по аллее. Ценский снова был в полной боевой форме, голос его налился силой.

— И как это ни странно, но я убедился, что даже самое плохое для нашего брата писателя часто оборачивается хорошим. Несправедливость критиков, согласное гробовое их замалчивание, как бы заживо похоронившее тебя, у меня рождает только прилив новой энергии: «Врете! Пробью и ваши крепкие головы! Заговорите, пусть даже когда умру, но заговорите!» Все дело в неустанной работе, в здоровье, в долголетии. Писатель должен суметь прожить долго: столько задумано! Чтоб выполнить все это, и обязательно хорошо, нужно работать ежедневно и во всю силу!

Алексей рассказал Ценскому о своем первом знакомстве с ним по рассказу «Аракуш». Высказал удивление, что нигде, ни в одной статье, не встретил хотя бы даже упоминания об этом изумительном его рассказе. И что почему-то даже сам автор в своей автобиографии тоже ни разу не упомянул о нем.

— А знаете, что об Авдеиче и таких же, как Авдеич, птицелюбах я написал целую повесть, но две трети из написанного отсек...

— Из «Аракуша»?!

— Из «Аракуша».— Ценский раздумчиво улыбнулся.— Писательская жадность при сборах материала для «Аракуша» свела меня с такими птицелюбами-уникумами, что я буквально захлебнулся в этом богатстве. И вы знаете, где я отыскивал эти клады? На птичьем рынке...

Как сейчас вижу высокого, седого, гордого старика, но такой нежнейшей души, столь влюбленного в певчих

птиц, такого знатока и ценителя их пения, что его не случайно прозвали «перепелиным генералом».

Вид его был торжествен и даже горд от сознания, что в клетке, которую он держал в руках, сидел «перепелок, постигший самое миниатюрное, самое органистое, расстановистое пение — вабенье со степной хрипотцой, цена которому против обычного двугривенного — четвертной билет».

Он был не только великий мастер ловить перепелов, но он и лечил их — «ставить опять на голос, когда они от сильного переяру соскочат с голоса».

Встретился мне и «соловьиный генерал» — старший коридорный одной нз гостиниц Москвы. Он помимо десяти описанных Тургеневым соловьиных колен перечислял еще более десяти, которых у прежних курских соловьев и в помине не было!.. А охотники, знатоки и воспитатели дроздов! Весь смысл их был ловить и, пользуясь способностью белоносых дроздов перенимать мелодии других птиц, подучивать их этому с младенческого возраста.

«Недоперок» — неоперившийся птенец удаляется, держится в темной клетке: чтоб ему было скучно. Темнота и скука помогают ученью. И после этого ему насвистывают первые, самые легкие напевы. При этом упорно смотрят птенцу в глаза. Первый урок — «Ямской свист» (как ямщики понукают лошадей). И потом идут «Алемант», «Полукурант», «Бедна Катенька» н так далее.

Увлеченный тнпами одержимых охотников, я н впаял их в своего «Аракуша», но понял, что, перенасытив материалом, не обогатил, а обеднил рассказ... У искусства свои железные законы, свои эстетические возбудители...

Такой была их последняя встреча. Вскоре же после вселения в новые квартиры Ценский уехал в Крым, Алексей же попал не в Сибирь, а в Казахстан.

Вернувшись через десять лет в Москву, он так и не встретился больше с милым его душе автором «Аракуша».

3 декабря 1958 года в Крыму, в Алуште, на 84-м году жизни Сергей Николаевич Сергеев-Ценский умер.

Как бритвой полоснула по сердцу Алексея весть о его смерти. Спазма перехватила горло. И какой же горечью отозвались предсмертные слова великого труженика, о которых он узнал от одного из близких Ценскому людей: «Жизнь под руку меня толкнула...»

Алексей закрылся в рабочей своей комнате, достал томик с рассказом «Аракуш» и с новым, еще большим волнением перечитал его:

«...Верю и исповедую, что в глухих, неприступных для человека местах, украшенный синими и красными лентами на груди, хоронится, *скрывается* подлинная птичья красота и слава, ровно вдвое лучший певец, чем самый лучший из соловьев, и имя ему — ара́куш... Только тем и живу я, только тем и горд я, что о нем знаю... Только эта мечта зовет меня и тянет, чтобы в моей комнатенке тесной, мной пойманный и обрученный, запел не какой-то соловей и не «пестрый волчок», и не «вара́кушка», а настоящий ара́куш... Вот, слышите, поет?.. Вот, слышите, три-на-дца-тое колено... И дальше и дальше... Побиты все соловьиные рекорды... Пятнадцать колен... Двадцать колен... Считайте лучше... Двадцать два... Двадцать три... Два-дцать че-ты-ре...

Вынесены подальше на двор все остальные птичьи клетки со всеми этими жалкими дроздами, канарейками, соловьями... Греми, аракуш!.. Слушай, столпясь под окошком, пушкари и стрельцы... Затаи дыханье, запруди улицу, останови езду, чтобы ничто не мешало слушать...»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Трудно тебе, Алексей, будет жить на свете.

— Почему, отец?

— Первое, горяч: опасен для самого себя. Второе, ребра у тебя продольные — не гнутся...

Пророческие слова отца не один раз вспомнились Алексею за последнее время в Москве.

До переезда из Сибири да и первое время в Москве, покуда он присматривался да прислушивался, учился и работал за письменным столом, все шло без осложнений: издавались и переиздавались первые две части его романа и повесть. Книги положительно оценивались критиками. Помимо почетной работы члена редакционного совета издательства «Федерация» и члена редакционной коллегии журнала «Земля Советская», Алексей был избран в Московский групповой профессиональный комитет. В Алексее ценили не только талант, но и прямоту суждений.

Но уже в «Лидочкином салоне» и в клубах при обсуждении стихов и прозы Алексей, сам того не замечая, нажил немало врагов: «демон правдолюбия» нередко подводил его.

Ему был присущ, как когда-то писали братья Гонкуры, «безрассудный инстинкт, влекущий против течения... Роковой дар, который получают при рождении и от которого нельзя избавиться... Эти люди рождаются с тем чувством, которое побуждает вас в возрасте семи или восьми лет броситься с кулаками на тирана вашего класса».

Соратник по литературной организации, известный в то время писатель, пишущий пухлые романы о деревне, добродушный, сердечный человек, в словах Алексея: «Мне претят однообразно-плакатные кулаки, непременно с оскаленными зубами и обязательно в сапогах бутылками» — усмотрел намек на своих героев, разозлился, поклялся отомстить. И отомстил: напечатал разгромную статью на дважды уже переизданную вторую часть рокотовского романа...

А московская жизнь по-прежнему шла в калейдоскопическом мелькании событий. Алексей по-прежнему напряженно работал над заключительной частью романа, участвовал в горячих спорах при обсуждении чужих произведений — и в узком кругу друзей, и на клубных вечерах. Как смелого пловца, его неудержимо влекло все дальше и дальше в открытое море.

Больше всего Алексей боялся скользнуть на путь легкого успеха. С каждым годом он все строже относился к своей работе, многое из написанного и даже уже изданного переделывал заново, все больше и больше утверждаясь в мысли, что ни при каких обстоятельствах нельзя в угоду довлеющей злобе дня приносить в жертву правду жизни. Что искренность и правда в литературе дороже красоты: писатель — и честь, и совесть своего народа, прямой ответчик перед его настоящим и будущим. И самое, самое главное, чтоб сердце писателя не обволок пагубный жирок обывательского равнодушия и самодовольства.

Промелькнули и годы ожесточенных литературных потасовок, отнимавших много душевных сил.

Рокотову надолго запомнилось взволнованное лицо

обычно всегда величаво-спокойного, иногда иронически улыбающегося, нередко беспечно хохочущего Алексея Толстого, когда он, появившись у Сейфуллиной после очередного разноса, бледный, с дрожащей челюстью, заговорил:

— От природы я добрый человек, но я никогда в своей жизни не ненавидел так, как ненавижу рапповцев. На моем теле не заживают рубцы от их лозы. РАПП — это ненависть к искусству, творчеству интеллигенции... Что может быть гнуснее деления писателей на «своих» и «чужих», когда «своего», в какой бы омут он ни попал, сухим из воды вытащат, а «чужого» и в ложке воды утопят!..

Алексей понимал, что взбешенный Толстой в оценке РАППа перехлестывает через край, что в РАППе есть и Александр Фадеев, и Всеволод Вишневский, и многие другие талантливые писатели. Но сектантская узость и комчванство рапповцев, их требование «закрыть доступ попутчикам в печати», их демагогический лозунг: «Союзник или враг» — возмущали и его.

И вдруг — постановление ЦК ВКП(б) о «Перестройке литературно-художественных организаций».

Апрельским утром 1932 года, когда Алексей увлеченно собирался в поездку на гусиную охоту в Сибирь, к нему прибежал Васенька Кудашов и еще на пороге громогласно потребовал:

— Кричи «ура»!

— По какому поводу?

— Все группы и группочки — побоку! ЦК партии вынес постановление. Конец дракам! Будет единый Союз советских писателей... Одевайся, пойдем к Правдухину...

На дворе их встретил поэт Сергей Клычков и, сняв шляпу и перекрестившись, со словами «Христос воскрес!» поцеловал и того и другого. И Алексей и Кудашов, смеясь, ответили: «Воистину, воскрес!»

А земля вертелась неостановимо ни на одно мгновенье: улетали и вновь прилетали грачи, жаворонки, гуси.

Алексей по-прежнему работал со всем напряжением душевных сил над заключительной частью романа.

Прошел незабываемый Первый съезд писателей, делегатом которого был избран и Алексей Рокотов. Да и

как можно было забыть это поистине всенародное торжество советской литературы, когда толпы москвичей на улицах, ведущих к Дому союзов, где проходил съезд, дружески встречали и провожали советских и приглашенных на съезд прогрессивных зарубежных писателей.

Доклад Горького потряс Алексея своей масштабностью, глубиной, точным определением стоящих перед писателями проблем.

«За письменный стол и — работать, работать, не теряя ни минуты времени!» — таков был заряд, полученный Алексеем от этого доклада.

На съезде произошла и первая встреча Алексея с Горьким.

Встрече этой предшествовала их переписка. Когда в начале 1929 года в издательстве «Федерация» вышла первая книга романа Алексея «Медвежий браслет», Горький находился в Италии. О книге появились отзывы в «Литературной газете», в московских журналах. Но Алексею очень хотелось услышать мнение Горького. Он исчеркал до десятка черновиков письма Алексею Максимовичу, но ни один из них не удовлетворял его несоответствием слов и чувств, переживаемых им. Наконец письмо было написано, и с экземпляром своей книги он понес его на новосибирскую почту.

У почтамта Алексей столкнулся с одним из начинающих новосибирских поэтов. Тот потряс перед его глазами листом бумаги, исписанным почерком, хорошо знакомым Алексею по фотокопиям.

Поэт прочел ему замечательное по отцовской деликатной осторожности письмо. Горький обстоятельно разбирал стихи поэта, отмечал и объяснял бледные, невыразительные строки, указывал подсобную литературу, советовал попробовать писать прозой...

«Сколько нас, а он один!..» —подумал Алексей. Зайдя на почтамт, он разорвал свое письмо и там же написал несколько коротких фраз, в которых попросил Горького не тратить драгоценного времени, не писать ему ответного письма. И приписал последнюю строчку: «Да и я глубоко убежден, что подлинную оценку книги сделает только сам читатель».

И что-то очень скоро, совершенно неожиданно, он получил письмо от Горького. Дрожащими руками вскрыл его:

«...Вчера получил Вашу кннгу,— спаснбо!

С месяц тому назад мне прислала ее «Федерацня», я прочитал ее, сделал кое-какне отметкн, но этот экземпляр у меня взялн в Рнм, н я не помню, что мне там у Вас не понравилось.

В общем же — кннжка не плохая, затеяна ннтересно, и язык у Вас есть свой. Впрочем — отзыва моего Вы не требуете, и это я так уж, по прнвычке написал и, пожалуй, себе говорю, а не Вам.

Второй том печатается в «Снб[ирскнх] огнях»?

Интересно, как Вы кончнте.

Жму руку.

А. Пешков

16.VI.30» [1].

Перебравшись в Москву, Алексей, конечно, мечтал о встрече с Горьким. Мечтать-то мечтал, но, зная свою стесительность, побаивался: «Да у меня и язык прилнпнет к гортаин!»

Расспрашнвал друзей, встречавшихся с ним: «Каков он с молодыми?» Сейфуллнна рассказала ему: «Страшно было, когда шла к Алексею Макснмовнчу: «Как же с инм разговаривать, он все решнтельно знает, а вдруг поймает на иевежестве?» Встретнлись — и все получнлось по-другому. Подошел он ко мне, бережно взял свонмн большнми руками мою ручонку н просто так сказал: «Проходнте, садитесь, Лндия Николаевна, будем завтракать — редьку с подсолнечным маслом есть. Правда, после нее запашок преизрядный, но весьма полезная штуковина. Советую и вам включить ее в обязательное блюдо к завтраку...» И как заговорил он со мной о редьке, так весь мой страх как рукой и сиял».

По-другому произошла, но в чем-то оказалась похожей встреча Алексея с Горьким на Первом съезде писателей.

В одном нз перерывов Алексея пригласили пройти за сцену. Там суетилнсь фоторепортеры, сннмая Горького и одного, и в группах с делегатами краев н областей. Алексей стоял в стороне н смотрел на знакомое ему до последней морщинки чудесно-простое лицо волжского

[1] Алексей Рокотов — главный герой автобиографической трилогии — автор, Ефим Николаевич Пермитин.

рабочего, булочника, грузчика, одного из популярнейших, умнейших и человечнейших людей эпохи, который неудержимо влек к себе сердца, как огромный магнит.

Горький хмурился, недовольно гмыкал в усы. Наконец фоторепортеры оставили его в покое. Тогда его окружили делегаты. Алексей тоже подошел...

Из русских прозаиков его воображение с детства было потрясено образами трех колоссов: Толстого, Достоевского, Горького. И вот он, один из них. Алексей слышит его глуховатый голос, смотрит на его длинные, мужицки широкие руки, на узкие, не по росту, плечи, на седую, коротко стриженную голову...

Зазубрин, близко знакомый с Горьким, наклонился к нему и, указывая на Алексея глазами, шепнул что-то. Горький повернулся в сторону Алексея, и тому стало не по себе. Кровь рванулась к голове. Он точно ослеп, оглох и как сквозь сон услышал слова Алексея Максимовича, обращенные к нему:

— А я вас представлял старше и почему-то бородатым. Должно быть, по ассоциации с героями ваших романов — раскольниками.— Горький улыбнулся, протягивая ему руку. Алексей, в волнении, крепко сжал ее. Горький как-то мальчишески озорно сощурился и тоже усилил пожатие. Алексей еще напряг мускулы и воистину убедился, что Горький в молодости крестился двухпудовыми гирями.

И это крепкое пожатие рук, и слова о том, каким представлял его Горький, сразу точно рукой сняли с Алексея робость, и он уже снова смог смотреть на него и слушать милую его окающую речь, тончайшие оттенки которой запомнились ему на всю жизнь.

Умной, учительской руке Горького Алексей обязан многим. В своей статье, направленной против засорения русской речи провинциализмами, в числе других авторов Алексей Максимович назвал и его имя. Горький прямо и резко бичевал не только молодых авторов, но и редакторов, безответственно относящихся к своим обязанностям: «По силам ли они берут работу на себя? Не честнее ли будет: сначала поучиться тому, что берешься делать? Не пора ли нам, ребята, понять, что снабжение книжного рынка словесным браком и хламом не только не похвально, а преступно и наказуемо? Не пора ли нам постыдиться перед нашими читателями?»

Алексей провел бессонную ночь, прочитав статью Горького. Утром написал ему письмо — оно было напечатано в «Литературной газете»,— в котором благодарил его за своевременный хороший урок.

Как умный, взыскательный отец, воспитывающий своих детей то лаской, то суровым справедливым упреком, Горький растил огромный отряд не только советских, но и зарубежных прогрессивных писателей. По масштабам работы с писателями, по силе влияния на них мировая литература не знала равных ему.

А страна жила в непрестанном трудовом, творческом подъеме. Алексей Стаханов за одну смену вырубил сто две тонны угля, выполнив пятнадцать норм. Началось стахановское движение. Появились стахановцы: ткачихи сестры Виноградовы, сталевар Мазай, кузнец Бусыгин.

Как и Первый съезд писателей, на весь мир прогремел Всесоюзный съезд колхозников-ударников.

С первого и до последнего заседания Алексей просидел на съезде в ложе журналистов, заполняя блокнот за блокнотом. В перерывах разговаривал с делегатами алтайцами и сибиряками, собирал драгоценное сырье, необходимое для переплавки в заключительную часть романа.

Всем своим существом Алексей сознавал, что его время требовало величественного дыхания большого эпического повествования. Но ежедневное напряжение обессилило его настолько, что он уже не мог заставить себя сесть за стол и написать хотя бы несколько строк. В такие часы Алексей думал, что исчерпал себя до дна: трудно тому, кто ищет трудного! Он метался по узкому своему кабинетику. Вера держалась с ним мягко, заботливо, изо всех сил скрывая свою обеспокоенность.

Алексей знал, что такие сомнения — не редкость в жизни художников. Еще Зазубрин говорил ему, что не сомневаются только самонадеянные ничтожества.

В раздраженном изнеможении Алексей падал на диван и лежал с закрытыми глазами. Потом так же внезапно вскакивал и обычно принимался за «Войну и мир»: чтение Толстого лучше всего действовало на Алексея. Успокоение, вера в себя приходили как-то сами собой.

«ПОБЕЖДАЕТ ВЕРА, ОДЕРЖИМОСТЬ, ДИСЦИПЛИНА, ВЫНОСЛИВОСТЬ!» — в один из таких моментов Алексей написал это крупными буквами на клочке бумаги и повесил перед глазами.

Последние главы заключительной части писать было особенно трудно. Казалось, преодолевая нечеловеческое напряжение, он, наконец, взобрался на отвесно-крутую вершину, а на вершине его застала темная ночь. Ему необходимо спускаться, а спуск еще более опасен, чем был подъем. И все же надо! Надо!

Вот уже целую неделю Алексея преследовал панический страх, что он, не закончив романа, умрет. После каждой написанной сцены он суеверно крестился: «Слава богу, еще две страницы!» А когда закончил предпоследнюю главу — смерть и похороны Марьяны, любимой героини,— разрыдался.

Совершенно опустошенный ушел из дому и долго ходил по ночному Тверскому бульвару.

Только через два дня Алексей сел к столу, чтоб написать последнюю, обрамляющую всю эпопею пейзажную зарисовку.

Конец романа!

Как и началу произведения, его концу Алексей придавал особо важное значение. Оно должно быть написано так, чтоб за каждым словом, фразой виделось, ощущалось и многое-многое другое — и поэтическое и смысловое.

Но как, как из бесчисленного запаса слов отобрать самые точные, драгоценные, которые рождаются в нашем сознании лишь в лучшие минуты жизни?

И все же он заставил себя сесть за стол: концовка вылилась как-то сразу, «за один вздох».

Литераторов, пишущих о колхозной деревне, пригласили в Наркомзем на встречу с наркомом земледелия.

В большом кабинете собралось человек тридцать очеркистов, писателей.

Рядом с наркомом сидел автор нашумевшего романа о колхозной деревне и представлял ему каждого принимавшего участие в беседе писателя. Нарком живо интересовался свежими впечатлениями литераторов, недавно побывавших в колхозах.

Первым говорил маститый автор известного романа. Речь его была умной, яркой, порой восторженной. В патетические моменты он вскидывал голову так, что пряди из густой шапки волос падали на его лоб, и он картинно откидывал их назад.

Вслед за ним известный очеркист, специализировавшийся по деревенским вопросам, пересказал подготовленный к печати очерк. И тоже, словно по уговору с первым оратором, отметил лишь светлые стороны колхозной жизни.

Нарком поощрительно улыбался. Приятная беседа уже подходила к концу. Уже отпили чай с бутербродами. Алексей и Сейфуллина сидели в дальнем углу — молчали. Сейфуллина наклонилась к Алексею и довольно громко сказала:

— Соловьи! Это ли надо знать наркому? — и подняла свою смуглую руку.

Нарком добродушно сказал:

— Пожалуйста, Лидия Николаевна!.,

Маленькая, как подросток, коротко остриженная женщина едва была видна за спинами сидящих впереди нее литераторов. Но после первых же ее слов все, как по команде, повернулись к ней.

— Я не буду говорить о достижениях колхозов — они, конечно, имеются. Скажу о недостатках, которые мешают колхозному движению. Право, даже странно: такое большое, новое дело — и все словно бы как в сказке, по щучьему веленью.— Голос ее окреп, зазвенел.— В родных моих оренбургских колхозах я побывала недавно. И скажу, что недостатков и неполадок в них ничуть не меньше, чем достижений. Я женщина, и мне сразу же бросилось в глаза тяжелое положение колхозниц. Первое — не везде ясли. А где и имеются — плохие: антисанитария, детские болезни, безнадзорность. Женщины избегают носить ребят в такие ясли. Потому и сами не идут, и мужей не пускают в колхоз. Говорила я со многими. Одна молодая, подбористая, чистоплотная, как большинство казачек, стопроцентная середнячка сказала мне:

«А ты бы свое дите, матушка моя, отдала в такой заразный барак? А я попробовала — отдала. Проснусь ночью, а оно не со мной, не под грудью, не сопит носиком. Сорвусь, прибегу к няне, а оно мокрое. Дай, за ради

господа бога, дай его мне, да не сказывай никому, а я на зорьке тебе его обратно принесу».

Надо, товарищ народный комиссар, на это дело обратить серьезное внимание. Вот пока и все! — И села.

Вслед за Сейфуллиной поднялся Алексей:

— Нынешней весной я побывал в Сибири, в степном Барабинском районе, в колхозе «Серп и молот». Степные новосельские колхозы в большинстве еще слабые, не то что на родном моем Горном Алтае.

Вот здесь сегодня журналист передал нам свой восторженный, иначе я не могу назвать его, разговор с колхозником-середняком. Приятно было слушать такого сознательного середняка. Но, товарищи, ведь не только середняки, но даже и бедняки — разные. И подчас не такие уж открытые, правильные бывают.

Я тоже разговаривал с колхозниками. Помню — мужичок рыжий, как подсолнух, новосел, безлошадный. «Ну как,— спрашиваю,— чем недоволен, на что жалуешься?»

Смотрит он на меня, мнется, вижу — смущается. «Да говори,— настаиваю,— ведь ты же добровольно в колхоз вошел. Вот и говори, как скорей и лучше колхозную жизнь наладить!..»

И он заговорил: «В колхоз я, конечно, доброволкой вошел и из колхозу не пойду: своей конной силы нет, а задом землю не спашешь... Только вот беда: председателей у нас часто меняют. Приезжают из району — хвалят. Берите, хорош! Нам ведь все хороших присылают. Да, видно, сами мы плохие, что ли, потому что эти хорошие у нас скоро портятся. Последний такой попал, что жеребца от мерина не отличит...»

Мудреный мужичок оказался, как хочешь, так и понимай его!.. Много еще недостатков в колхозной деревне. Права Лидия Николаевна — и с яслями, и с клубами без электричества, часто без ламп даже. Молодежь смеется: «Нам даже сподручней щупаться». В библиотечках нередко одни брошюры об откорме свиней. Обо всем этом надо думать и думать.

Алексей передохнул. По лицам присутствующих он видел, что многие из молчавших на этой встрече полностью разделяют его мысли. И он решил закончить еще более прямо и резко.

— Я внимательно читаю все, что пишут сейчас в га-

зетах о колхозной деревне, и поражаюсь как крикливой лживости некоторых корреспондентов,— Алексей посмотрел в сторону журналиста,— так и всеядности многих наших редакторов!

Мне кажется, эти люди иной раз не помогают, а порою даже мешают великому делу коллективизации советской деревни.

ГЛАВА ПЯТАЯ

«Неправда, что между двумя точками кратчайшая линия обязательно прямая. Неверно, что здравый смысл, очевидная польза народу и Советскому государству — силы, которые нельзя обороть окольными — кривыми — путями: для ловких людей кривые пути — испытанное средство.

Чем иным можно объяснить ликвидацию здоровой, жизнедеятельной охотничьей кооперации, так плодотворно работавшей на принципах ленинского кооперативного плана, столько сделавшей за короткий срок по культурному воспитанию охотника, по организации правильного охотничьего хозяйства и... передачу всего сложного дела охоты — Союзпушнине, действующей через агентурную сеть пушнозаготовителей, заинтересованных лишь в пушных хвостах.

Мыслимо ли передать наивного, порою доверчивого, как ребенка, аборигена тундры, лесовика-таежника, в руки агента-заготовителя, не думающего ни об охотничьем хозяйстве, ни об интересах труженика-охотника, а только о перевыполнении плана заготовок и премиях.

Какое ему дело, что зверь убит раньше законного срока и браконьером? А ведь в охотколлективах выборные руководители — лучшие, честнейшие охотники села — наперечет знали друг друга, и браконьерство было редким явлением.

Подобная «реорганизация», повторяем, прямое нарушение принципов ленинского кооперативного плана.

Вам, Алексей Николаевич, больше, чем кому-либо, известна та нездоровая атмосфера конкуренции и ажиотажа в погоне за пушниной, которую создавали наши заготовители, действующие зачастую через недобросовестных скупщиков «мягкого золота».

Ликвидация охоткооперации была недопустимо абсурдной операцией: под корень подсекли все успехи нашего охотничьего хозяйства, открыли шлюзы для чудовищных злоупотреблений: ведь «мягкое же золото» это, а его лишили строгого — народного — контроля самих кооперированных охотников.

Просим вмешаться, пока еще не совсем поздно».

Под письмом подписи профессора Иркутского сельскохозяйственного института В. Скалона, старшего охотоведа И. Гуляева и бывшего председателя правления Свердловского общества охотников — охотоведа Г. Сосновского.

Бывший активный деятель Сибирской охоткооперации, таких писем Алексей получил несколько.

Отложив все литературные дела, он ринулся в битву на защиту родной природы. Прежде всего Алексей написал статью в газете «Социалистическое земледелие». Вскрывая историю вопроса и обстановку, в которой работала охоткооперация, привел мнение о ней таких мировых авторитетов в области охотоведения, как профессор С. А. Бутурлин и автор многотомного труда «Основы охотоведения» профессор Д. К. Соловьев. «Неуклонный и быстрый рост молодой системы охотничьей кооперации, естественно, вызывает недоброжелательное отношение тех организаций, которые с некоторым основанием или без него претендуют на сборку такого выгодного товара, как добываемая охотниками пушнина. Поэтому не раз и не два со стороны работников и старой системы потребительской кооперации, и молодого животноводсоюза по адресу охотничьей кооперации высказывались такого рода «кооперативные приветы», которых невозможно было бы ожидать со стороны идейных кооперативных работников и строителей социализма. А конкуренция государственной торговли в глухих местах доходит до того, что работникам охоткооперации приходится держать под рукою заряженные револьверы»,— докладывал Комитету Севера профессор Д. К. Соловьев, обследовавший Туруханский край.

Отправив статью, Алексей был уверен, что нависшую над охотничьим хозяйством и родной природой беду еще можно исправить: достаточно только раскрыть неприглядную подоплеку этой чудовищной «реорганизации», оставившей тайгу без единственно законного ее хозяина,

напечатав доказательную статью в центральной газете,— посыплются письма в редакцию, в ЦК.

«Важен только начальный шаг. Ты — как первый камень горного обвала. За тобой другой, третий, потом — лавина...»

В действительности все оказалось более сложным. Статья его не появилась в печати. Алексей прождал два месяца и позвонил в редакцию. Какой-то сотрудник раздраженно ответил ему, что статья не пойдет. Алексей написал вторую, как ему казалось, еще более убедительную, но и более резкую статью. Добился подписей под ней профессора Мантейфеля, писателей Бориса Лавренева, Ильи Сельвинского, Александра Яковлева, Ивана Арамилева.

В статье он писал, что лишить Охотсоюз огромных оборотных средств, получаемых от самостоятельной заготовки добываемой им пушнины, которые охоткооперация в значительной степени тратила на рационализаторские мероприятия по воспроизводству,— значит обречь его на жалкое существование лишь за счет членских взносов.

Напоминал, что первые законодательные акты, направленные на охрану природы, были подписаны Лениным, что Ильич сам писал, исправлял и дополнял проекты декретов об охоте и охране природы.

Передав пушнозаготовки всецело в ведение Центросоюза, занятого заготовкой сельскохозяйственных продуктов потребления, в котором пушнина занимает всего лишь около одного процента, убили дело разумного ведения охотничьего хозяйства...

Если труженик в его нелегком, часто опасном для жизни деле добычи пушнины будет лишен забот о продуманном снабжении его всем необходимым для промысла и о его духовном развитии — большое, государственной важности дело будет обречено на медленное умирание.

С ликвидацией охоткооперации ликвидировали всю культурно-просветительную работу среди охотников, проводимую восемнадцатью массовыми охотничьими журналами: «Охотник» и «Охотничья газета» в Москве, «Охотник и пушник Сибири», «Уральский охотник», «Украинский охотник» и др. Сейчас страна величайших в мире охотничьих угодий не имеет ни одного журна-

ла!.. Без воспитательной работы армия бракоиьеров будет катастрофически расти.

Статью Алексей иазвал «Недопустимое омертвеиие живого дела». Но и эта статья не появилась в печатн.

Алексей решил пойти в НКВД, к Яиу Карловичу, к которому ои обращался по поводу голодающих казахов. Несмотря иа краткость тогдашней их встречи, этот с виду суровый человек показался Алексею чутким и отзывчнвым, чекнстом из славиой когорты Фелнкса Дзержииского, способиым понять его тревоги и помочь ему. Но друг Яна Карловича, писатель Павленко, к которому сиова обратился Алексей с просьбой о пропуске, сказал, что Яи Карлович уже ие работает иа прежнем месте. Алексей все-таки узнал, куда ему следует пойтн.

Его приият совсем еще молодой румяиоликий человек.

Алексей подошел к столу н назвал свою фамилню. Молодой человек ие подиялся ему навстречу, не пригласил сесть, а в упор, молча рассматривал его. Рассматривал и хмурнл румяиое круглое лицо, изо всех сил стараясь прндать ему глубокомыслеино-строгое и даже угрожающее выражеиие. Казалось, ои уже зараиее зиал, с каким вопросом пришел к нему Алексей. Зиал, и не только не одобрял, но и подозревал его в чем-то весьма иеблаговндном.

Торопливо сказав о цели своего прихода, Рокотов не высказал и десятой доли того, что собирался сказать, как человек, оборвав его иа полуфразе, иеожидаиио сказал:

— Поиятно, поиятио... Зиачит, вы подвергаете сомиению действия Советского правительства, иесете какую-то несусветиую чушь якобы о злостиых ошибках, о неразумиости реоргаиизации.

Его выхолеиное румяиое лицо откормлеииого мамеиькииа сынка стало багровым.

Алексею хотелось сказать этому человеку, что и тогда, когда ои пнсал свои статьн в газету в защнту неправильио ликвндироваиной охоткооперации, и когда, отчаявшись в возможиости иапечатать их, решил прийти сюда, им владела внутреиияя тревога не только за охотииков-промысловиков и за родную природу, ио и тревога за дело партии, обмаиутой предприимчивыми ведомствеиинками.

Ведь иначе поступить он не мог. И хотя он и беспартийный писатель, но всегда считал и считает себя ответственным за дело партии, за все, что делается ее именем...

Но всем своим существом он сознавал, что сидящему перед ним молодому бюрократу не только глубоко безразлично, что́ он, Алексей, говорит ему об ущербе охотничьему хозяйству, родной природе, обреченной на расхищение, но что человек этот даже мысли не допускает о возможности какого-то иного решения вопроса, кроме уже принятого соответствующими инстанциями. И даже больше: в нем, в Алексее Рокотове, он уже видит опасного человека, осмелившегося оспаривать состоявшееся постановление.

— Простите, я, очевидно, ошибся адресом,— вспылил Алексей.— Я вижу, вы просто не понимаете всего существа, всей важности, всех пагубных последствий для охотничьего хозяйства, для природы от нарушения норм ленинского кооперативного плана...

— Ну знаете, ну знаете!.. В таком случае нам не о чем говорить. Мне время дорого,— перебил собеседник Алексея.

Отметив пропуск на выход, он не поднялся, не подал руки, а только, криво улыбнувшись, сказал:

— Пока...

Не ответив ему, Алексей вышел. И сумно и тревожно было у него на душе. Погруженный в себя, он медленно шел по длинному коридору с пропуском в руках и только на улице, глотнув свежего воздуха, немного успокоился. «Важным человеком себя почувствовал, ну, и, как водится, сейчас же свиньей стал...»

Каким образом всплыла в памяти эта фраза отца, когда-то поразившая его, Алексей не смог бы объяснить.

Это был тяжелый визит, убедивший Алексея, что дело, в фундамент которого в свое время он с такой горячностью вкладывал первые кирпичи, обречено на провал.

Удачно сложившаяся вначале писательская судьба Алексея тоже вдруг полетела под откос. Причиной тому была его способность наживать себе врагов среди людей, которые, как утверждала Вера, при других обстоятельствах могли бы быть добрыми друзьями. Примеров тому она уже знала вполне достаточно...

Разные это были люди и по положению в литературе, и по характерам: иные свои обиды вскоре же забывали, иные чуть ли не всю жизнь не только помнили, но и жестоко мстили за них. В разное время эти «друзья» были благоприобретены Алексеем в Москве.

В начале тридцатых годов вышла единственная в своем роде книга Адриана Топорова «Крестьяне о писателях». Учитель алтайской коммуны «Майское утро», энтузиаст-просветитель, за восемь лет перечитавший коммунарам вслух чуть ли не все крупнейшие произведения классической и современной литературы, записал изумительные по своей правдивости, остроте, чуткости и какой-то чисто народной уважительности к творчеству писателей высказывания нередко полуграмотных «Белинских в лаптях», как прозвали потом топоровских коммунаров. Руководимые верным и здоровым чувством истинной народной культуры, коммунары бесхитростно высказывали свое мнение о прослушанных книгах, а учитель лишь записывал их отзывы.

И вдруг Топорова начали травить.

«Барин, который не может забыть старого. Хитрый классовый враг, умело окопавшийся и неустанно подтачивающий нашу работу. Одиночка-реакционер. Ожегся на открытой борьбе, теперь ведет ее исподтишка...» — так характеризовала его местная газета. По этому поводу А. Аграновский в предисловии к книге А. Топорова писал: «И в этом духе — полполосы, пятьсот ядовитых строк!.. За что? В чем дело? Почему низвергли в бездну грязи на редкость заслуженного сельского интеллигента, вместо того чтобы поставить его в пример остальной нашей интеллигенции?! Почему?

Потому... что творить революцию в окружении головотяпов чертовски трудно, потому, что героев окружают завистники, потому, что невежество и бюрократизм не терпят ничего смелого, революционного, живого. Вот и все...

— Восемь лет... Понимаете? Восемь лет они... отбивают меня от любимого дела, восемь лет извращенно толкуют мою деятельность...— жаловался Топоров.— Ведь это, как хотите, хоть кого может привести к убеждению, что надо меньше работать, и тогда жизнь будет спокойнее. Отвратительное убеждение! Не правда ли?

И я все время отбрасываю его. Неужели мне не удастся взять себя в руки на этот раз?..

Учитель реабилитирован. К сожалению, на это понадобилось слишком много времени и слишком много сил. Но в той же газете появились иные пятьсот строк, иная статья, в которой партия вернула учителю его честное, незапятнанное имя...

Корни издевательства оказались — в зависти, невежестве и боязни перед учителем, ибо выяснилось, что он — один из лучших и старейших сибирских селькоров!»

Алексею было известно, что одним из недовольных книгой Топорова был и раскритикованный коммунарами тот самый маститый романист, которого он видел в Наркомате земледелия. Недовольны ею были и некоторые столичные критики-профессионалы: крестьяне вносят существенные поправки в безапелляционные их приговоры! И они прибегли в отношении книги Топорова к испытанному методу замалчивания...

Как-то в Гослитиздате было решено провести обсуждение романа все того же известного романиста. Вместе с другими московскими писателями пригласили на обсуждение и Алексея. Кого только не было здесь! Кроме сотрудников издательства, штатных и нештатных критиков, присутствовало много писателей. Они окружили величаво восседавшего в центре дородного, красивого, с пышной шевелюрой романиста.

Запоздавший Алексей и его постоянный спутник по охотам писатель Борис Губер с трудом протиснулись в большую комнату и встали в уголке: все стулья уже были заняты.

После длинного доклада работника издательства о значении романа маститого писателя один за другим выступали критики, восхвалявшие на все лады и роман, и его автора. Лишь два или три оратора коротко упомянули и о недостатках произведения...

Алексей несколько раз просил слова, но в густой толпе сидевшие в президиуме не видели его руки. После одного, особо усердствовавшего в похвалах литератора председательствующий объявил, что список записавшихся исчерпан.

С поднятой рукой Алексей решительно пробился к столу. Его увидел романист и, дружески ему кивнув, сказал председательствующему:

— Хотя и поздно, и список ораторов, как говорится, «исперчен»,— он улыбнулся,— я все же прошу дать слово и товарищу Рокотову.

Срывающимся от волнения голосом Алексей задал неожиданный вопрос:

— Где мы находимся, товарищи, и для чего собрались здесь сегодня?..

Гробовым молчанием ответили ему удивленные слушатели.

— Для того ли, чтоб добросовестным обсуждением романа помочь своему товарищу увидеть, осознать как свои достижения, так и недостатки? У меня создалось совсем иное впечатление о сегодняшнем обсуждении... А именно...— От волнения на лбу Алексея выступил пот, ему не хватало воздуха.— Собрались будто в кафедральном соборе, за немногим исключением, дьячки и кадят своему архиерею так, что в дыму ладана не видно уже ни архиерея, ни дьячков...— И, передохнув, возвысил голос: — Что роман — произведение злободневное и социально весомое, абсолютно верно. Автор его одним из первых поднял важную тему — тоже верно, и за это земной ему поклон. Но все ли благополучно у нашего товарища с композицией произведения, с образами, с языком, о чем мы в своем творческом цехе обязаны были дружески, но нелицеприятно поговорить сегодня? Я решительно заявляю: далеко не все благополучно! И если бы все собравшиеся здесь честно сказали об этом, то не обидели, а помогли бы автору в его дальнейшей писательской работе!..

Алексей вынул из портфеля выпуск «Роман-газеты» с опубликованным в нем романом и сказал:

— Начну со смысловой точности, вернее, с неточности языка: «...худой, как легавая собака...» Я охотник и в недавнем прошлом редактор сибирского охотничьего журнала, следовательно, в породах собак разбираюсь. Легавая собака никогда не являлась синонимом худобы, тощести. Наоборот, легавые собаки, а к ним относятся сеттеры, пойнтеры, спаниели, предрасположены к ожирению. И охотники перед открытием сезона часто бывают обеспокоены, как согнать со своих помощниц лишний жир, чтоб они не задыхались в летнюю жару. Синонимом худобы, тощести была и есть борзая собака, назначение которой догонять, ловить бегущего зверя...

— Хватит о собаках! — выкрнкнул кто-то нз-за шнрокой спины маститого романиста.

— Я ие о собаках, а о иеточиости языка писателя говорю,— парировал Алексей.— Но раз вы считаете, что хватит о точиости, я приведу прнмеры элементариой стилистической иеграмотиости:

«Бодая во все стороны на бычьей шее головой, ои рыкает басом, молодежь подхватывает его рык, парни кидают слова песни, залнваются девкн — и с утеса Разина трубой ударяется песня у подножья утеса, расхлестывается над Волгой».

Алексей привел еще ряд примеров.

— Довольио! Поздио, пора коичать! — снова оборвал Алексея голос из президнума.

Алексей положил в портфель выпуск «Роман-газеты» и достал кингу «Крестьяие о писателях» Адриаиа Топорова:

— Рекомеидую товарищам писателям н критикам прочесть во миогом справедливые высказываиия коммунаров о романе... Книга Топорова высоко оценена Максимом Горькнм! Очеиь рекомеидую прочесть, кто ие читал этой замечательной, ие замечеииой нашей критикой книги! — Алексей повериулся н пошел в свой угол, к Борису Губеру.

В комиате иависла тншииа. Но что больше всего удивило и даже растрогало иаивиого Алексея — это заключительиое слово маститого романиста, в котором тот поблагодарил его за критику:

— Спасибо товарищу Рокотову за его мужествениое выступление — учту все сказаииое нм сегодня и не забуду.

И он действнтельио не забыл.

Никогда еще так ие волиовалась Вера, как в этот вечер: она зиала миеиие мужа о романе, который обсуждался сегодия...

Половииа двенадцатого, Алексея все иет... Случалось, что ои возвращался с лнтературиых вечеров и миого поздиее, и оиа была совершеиио спокойиа. А тут...

Смутиая, неясная тревога томнла ее. Предчувствне беды, словио нависшая над головой грозовая туча в степн, овладело ею. Она то металась по квартнре, то оцепе-

нело сидела и прислушивалась к шагам на лестнице: «Конечно, наговорил лишнего!.. И это — перед самым выходом своей книги!»

Еще в передней, только взглянув на Алексея, Вера, как всегда, поняла все.

Вошел он с веселой улыбкой на лице, но она отлично видела, что улыбка эта деланная. Изо всех сил стараясь скрыть свое волнение, Вера спокойно сказала:

— Ну садись скорее, пей чай! Заждалась я тебя сегодня...

И Алексею тоже стало все ясно: «Измучилась. От нее ничего не скроешь!»

Молча глотнув из стакана раз-другой, он нервно отодвинул его и заговорил:

— Но поразительно, почему промолчал, не поддержал меня Борис?.. А он думает об этом романе так же, как я!..

— Не у всех манера резать правду в глаза: невыгодный товар — правда, слишком дорого она обходится. Да и мало ли у него причин могло быть! Я бы на твоем месте тоже промолчала...

— Ну и подло! Подло, Вера!..

— Как хочешь называй, а я отлично вижу, чего тебе стоит эта твоя правда, когда ты и сейчас еще горишь...

Алексей допил чай и ушел в свою комнату: он досадовал на себя, что вновь обеспокоил Веру. Последнее время он скрывал от жены все свои огорчения. Однако, как ни скрывал их, она угадывала все. Но, по свойственной ей деликатности, не расспрашивала, а терпеливо дожидалась его признаний. Алексей же упорно отмалчивался. А вот сегодня он не выдержал...

«Ну и глупо, что рассказал: теперь будет страдать, строить всякие предположения!.. Она постоянно думает только обо мне и о Гордюше, а не о себе: всегда счастлива больше давать, чем получать...»

И действительно, Вера любила мужа с каким-то слепым фанатизмом. Во имя этой любви она была готова пойти на любое страдание, только бы оградить его от огорчений. Но огорчения за последнее время сыпались как из рога изобилия. Правда, пока неприятности были в общем-то ничтожными, однако и они заставляли Веру страдать.

И все же, как Алексей ни осознавал разумом, что во многих его неприятностях — а следовательно, и в мучениях Веры — зачастую повинна была его резкость, он не мог изменить самому себе: с детства восхищался он смелыми поступками правдивых, гордых людей...

Прелестью ожидания жив человек.

По тому, как рукопись романа принял умный, опытный редактор Гослитиздата, по тому, что сказали Алексею о романе прочитавшие его взыскательные друзья Лидия Сейфуллина и Валериан Правдухин, он мог быть уверен, что многолетний труд его не пропал даром, что книга не останется не замеченной критикой...

Алексей и терзался и наслаждался этими понятными всякому литератору сладостными мучениями нетерпеливого ожидания, когда он возьмет в руки еще пахнущий типографской краской том, в котором не только каждая страница, но и каждая строка волнующе памятны.

Мучилась и Вера. Это была незабываемая пора их московской жизни: пора ожидания, когда каждый из них, особенно за вечерним чаем, вдруг смолкал и углублялся в самого себя.

Оптимист и мечтатель, Алексей представлял себе, как вскоре же после выхода большого романа об алтайском крестьянстве в газетах появятся сочувственные рецензии. Книгу заметят... Да и как не заметить: ухлопано столько лет!.. И важная тема, и не показанные еще никем характеры, природа...

Вера ждала выхода книги с тревогой: «Со своей горячностью, с нетерпимой резкостью — а неприятная правда всегда бесит — он уже столько нажил врагов!.. Простят ли они ему его прямоту?!»

Вере очень хотелось сказать мужу, что своим характером он подвергает риску не только книгу, самого себя, но и свою семью. Впрочем, она никогда не решилась бы сказать ему об этом: «Воображаю, как будет страдать и он, и все мы, когда роман обругают в печати!» А что книгу встретят плохо, ей подсказывало безошибочное ее чутье.

Писать Алексей сейчас не мог. Чтоб не пропадало время, он, по совету друга, крупнейшего академика-лесовода, на все лето уехал с семьей в верховья глухой

речки Боровлянки — собирать материалы для давно задуманной им «заветной» книги о родной природе — и пробыл там до осени.

Гослитиздат выпустил роман Алексея «молнией». Вскоре же в издательство начали приходить читательские письма с высокой оценкой романа.

Письма эти, радуя Алексея, лежали у него на столе. Однажды ему позвонил по телефону известный композитор и попросил принять его. Немолодой уже человек, в прошлом тоже сибиряк, пришел к Алексею с его книгой в руках.

— Читал всю ночь. Да ведь это же, батенька вы мой, трагическая поэма о прекрасной любви! У меня зародилась мысль написать оперу, при условии, что вы поможете создать либретто...

Ночью Алексей и Вера долго не могли заснуть. Вера давно собиралась поговорить с ним по волновавшему ее вопросу, но день ото дня все откладывала разговор. «А вот сегодня — обязательно, обязательно!» — решила она.

— Алеша,— робко начала Вера.

Алексей не отозвался, но она знала, что он не спит.

— Алеша, почему ты не вступишь в партию?

Алексей круто повернулся к ней:

— Этот вопрос, Веруша, мне не раз задавали и в Усть-Утесовске и в Новосибирске... Задавали члены партии... И я искренне отвечал им: партия столько вывезла на своих плечах, роль ее в нашей жизни так огромна, что до тех пор, пока я не внесу в ее дело какого-то очень большого вклада, считаю недостойным быть в ее рядах. Для себя же твердо решил: напишу, издам роман и, когда он получит высокую оценку, постучусь в ее двери...

На том и кончился их ночной разговор.

Старая истина: писатели, как и их книги, имеют свою судьбу. По-разному складываются, а иной раз и «складывают» эти судьбы и так называемые «не зависящие обстоятельства», да и сами писатели.

В судьбе Алексея и его книги, очевидно, было и то и другое. Появились уничтожающие рецензии на его ро-

ман. Алексей никуда не показывался. Удар, обрушившийся на его голову, оглушил его: Алексей вначале растерялся... думал, что, задушив его книгу, задушили и его. Но после многих бессонных ночей пришло удивившее и его самого, и особенно Веру необычайное спокойствие: «Пускай я потерял во мнении какой-то части общества, но я ни перед кем не должен заискивать. Умным людям понятно, что подобная оценка моего произведения предвзята, несправедлива. Для меня же этот разгром, может быть, даже полезен: над новой книгой буду работать с ожесточением. Докажу, что убить писателя одним ударом нельзя. Когда человека застигнет метель, нельзя сидеть сложа руки и думать о морозе — замерзнешь. Работать, работать!»

— Ну что ж, Веруша, умудренный житейским опытом отец мой в подобных случаях говорил: «Вёдро с ненастьем, а счастье с несчастьем рядом живут». Переможемся. И все, все начнем сызнова. Я напишу новую книгу, не похожую ни на одну из написанных о природе,— не признать ее не посмеют!..— утешал он Веру, но еще больше, может быть, самого себя.

Очевидно, в душе Алексея неистребимо жила та детская, инстинктивная доброта, которая способна оправдать любое зло. Даже его самого удивило пришедшее к нему вскоре же беззлобное отношение к очернившим его рецензентам: «Пожалуй, они и не повинны: их попросили, а может, даже и приказали, и они написали. Может быть, и действительно, это на пользу мне? Не разругай — зазнался бы, окабанел, как зазнались многие из удачливых...»

— А потом, Веруша, критики ведь тоже люди. И часто не только самые ординарные, но есть и просто тупые, лишенные слуха, слепые к великой правде жизни. А ты хочешь, чтоб они почувствовали то же, что чувствуешь ты... Иначе как бы они могли не заметить блистательной прозы Сергеева-Ценского?!

— Я пришел к твердому решению, Веруша,— как-то за завтраком неожиданно заявил Алексей,— чтоб успешно работать над моей новой книгой, необходимо уехать из Москвы. Я уверен, что теперь и не читавшие романа будут ругать и роман и меня. Вспомни слова Платона: «Кого я больше боюсь? Тех, кто меня не знает и говорит обо мне дурно». Конечно, подобная предвзятость груп-

повщиков мешает работе, но не предвзятости и групповщиков боюсь я. Нет! И не от них решил уехать из Москвы в леса. Уверен, что там я спокойно напишу новую книгу, не менее нужную, чем обруганный роман...

— Думай, решай — тебе видней. А мы с Гордюшей хоть в леса, хоть в пустыню — только с тобой,— с подчеркнутой твердостью сказала Вера.

Удары один за другим обрушивались на голову Алексея в злополучную эту осень. Как-то в полдень, когда он сидел у себя за столом и приводил в порядок блокноты с записями наблюдений в Боровлянском урочище, в передней раздался робкий — так обычно звонят нищие, собирающие милостыню,— еле слышный звон.

В квартире Алексей был один: Вера с Гордюшей уехали в зоопарк. И странно: этот еле слышный звонок точно электрическим током пронзил его. Он поспешно прошел в переднюю и открыл дверь. В первый момент Алексей не узнал стоявшего перед ним дурно одетого, с болезненно-желтым лицом человека. И только когда тот, протянув руку, сказал:

— Здравствуйте, Алексей Николаевич. Я вижу, вы не узнали меня? — неожиданно прозрел.

— Стрембицкий! — сдавленным голосом выговорил Алексей и невольно отступил в глубину квартиры.

Нежданный гость с мольбой и раздирающей душу робостью в глазах смотрел на него.

— Это какими же путями? Откуда? И как вы нашли меня?..

Алексей никогда не предполагал, чтоб он мог так растеряться, почти утратить дар речи.

— Амнистирован. Еду на родину — в Полтаву. Мне еще в Новосибирске дали ваш московский адрес.— Стрембицкий спешил. Очевидно, он все еще опасался, что Алексей не примет его.

— Раздевайтесь и проходите.

Вслед за Алексеем Стрембицкий прошел в комнату. И, хотя дома никого не было, Алексей плотно захлопнул за гостем дверь.

Стрембицкий опустился на край дивана. Сидел он как-то сгорбившись, уронив облысевшую голову на грудь. Во всем его печальном облике была все та же ро-

бость ищущего, опасающегося, что его вот-вот могут выгнать.

Алексей продолжал стоять. Не отрываясь он смотрел на загрубелые большие руки так рано состарившегося, когда-то богатырски сложенного, самоуверенного, заносчиво-гордого человека. От прежнего военрука остались только его усы, но и они из черных стали серыми. Старческим серым пухом обросли и длинные пальцы рук.

«Этими руками... Этими руками...»

Стрембицкий перехватил взгляд Алексея и, очевидно поняв его, поспешно спрятал огромные свои руки в карманы потертых штанов.

— Ну так о чем же мы будем?.. — все тем же сдавленным голосом спросил нежданного гостя Алексей.

Стрембицкий вскинул голову и, глядя Алексею в глаза, обрадованно, сбивчиво заговорил:

— О том, чего я никак не могу забыть... О чем я столько лет хотел рассказать тебе,— Стрембицкий перешел на «ты»,— именно тебе... И о чем тебе тоже, конечно, хочется знать. Загляни в свою душу...

И только Стрембицкий произнес последние слова, как и впрямь Алексею показалось, что все эти годы он хотел узнать, услышать от него все, что произошло у «них» в «те» дни в Зыряновске.

— Старик Шибельский умер. Остались я и ты. И я... И мне не с кем... Некому больше...— Голос Стрембицкого тоже срывался.— Я почти насильно увез ее. Она в дороге все порывалась вернуться, все твердила: «В чем-то и я не права...» Только отчаяние бросило ее ко мне. Она, как цветок без влаги, не могла жить без любви... Я терзал ее — спрашивал: «Ты все еще любишь его?» Она молчала из гордости. Но я-то знал...

Стрембицкий замолчал и снова опустил свою большую лысую голову.

— Там, на горе, лицо ее было белым как мел. А руки... Ни у одной женщины я не видел таких прекрасных рук,— отрывисто, тихо, со смертной тоской в голосе продолжил он.— Это была не женщина, а молния. И она сожгла меня. Я любил ее больше жизни. Я умолял, а она не могла... Таков был закон ее любви.— Стрембицкий перескакивал с одного на другое.— Я дошел до полной безнадежности и отчаяния. Я хотел убить и себя, но... И я... Я в безумстве...— он недоговорил.

Алексей не пророинл нн слова. Он чувствовал, что Стрембицкому иадо вылиться до коица — ииаче он ие сможет дальше жить.

И Стрембнцкий вылился н, словно опустошеиный, обмяк. Потом подиялся и сказал:

— А теперь прощай. Я выполнил свой долг. Какая это была мука!.. Она мне ие давала покоя все эти годы ни днем, ни ночью...

Ои протяиул Алексею руку и, подержав, выпустил.

— Вадим Рудольфович, вы иуждаетесь, я могу...

Стрембнцкий испуганио замахал рукамн:

— Что вы? Что вы? У меия есть на самое необходимое...— И, не оглядываясь, поспешио вышел в переднюю. Так же поспешно, ие попадая в рукава вытертой, заношеииой шииелн, оделся. Ои так спешил, точно боялся опоздать иа поезд.

Алексей вериулся в свою комиату и, виовь почему-то плотио прикрыв за собой дверь, опустился в кресло.

Словио в бурлящем водовороте билось сердце. Как иа экраие, возникла картииа разыгравшейся трагедин иа горе близ Зыряиовска. Белое меловое лнцо Тнны, дрожащие милые губы.

«Меия столько мучили!..

Меия столько мучили... В чем-то и я не права...»

«В чем?.. Во всем виноват я, только я!»

Как в костре под грудою пепла, в сердце Алексея, оказывается, все еще ие угас огоиь любви к этой метеором промелькнувшей жеищиие. «Ее ие забудешь, никогда ие забудешь...»

Алексей очнулся от Верииого звоика. В комиату уже иаплывали раииие осеиние сумерки. Вскочив, ои собрался с силами: «Только бы ие узиала Вера!..»

В передией н совсем было уже темио. Не включая света, Алексей открыл дверь. Возбуждеииый всем увиденим в зоопарке, Гордюша кииулся к отцу. Алексей схатнл мальчика иа руки н, крепко прижав к груди, вышел с инм из передией.

Вера включила свет, разделась, вошла в квартнру и, пытлнво посмотрев на мужа, спроснла:

— Алеша, у тебя был кто-то?

Алексей опустил сыиа иа пол и, чего раиьше ии Вера, ни он сам ие делали, приучая Гордюшу к самостоятельностн, стал расстегнвать ему пуговнцы пальто.

— Никого не было,— не поднимая головы, глухо ответил Алексей.

Вера постояла, подумала о чем-то, хотела спросить, но не спросила и прошла на кухню.

«Зачем ей знать: и так у ней забот сейчас... Что прошло, то прошло...»

Алексей сел за письменный стол и снова занялся боровлянскими блокнотами. Но как ни силился отвлечься — трагическая картина на горе, белое, меловое лицо Тины неотступно стояли перед его глазами.

«В леса, в леса! Заключу договор на переиздание повести и — за новой книгой...»

Удивительная вещь — писательская психика: во всемто она найдет лазейку, лишь бы привести тебя к необходимому душевному равновесию, лишь бы поскорее вновь усадить за каторжную и все же любимую твою работу. «Злоба и зависть пытались помешать тебе, они не помешали, а помогли. Встали на пути славы? А что такое слава?! Настоящий талант не нуждается в славе...»

Мысль о перемене образа жизни в связи с работой над новой — «заветной» книгой, давно стучавшаяся в сердце Алексея, после неожиданного визита Стрембицкого вызрела окончательно: он решил надолго уехать из Москвы.

«Новая книга будет поэтическим гимном русской природе. Она заставит полюбить, беречь ее как родную мать. Увижу, узнаю то, что не узнано другими».

О «заветной» книге Алексей мечтал давно. Иногда ему казалось, что мечта эта зародилась еще в Усть-Утесовске, со времени его поездки на Крутую речку, и незримо росла в его душе. Что все написанное им до этого было лишь подготовкой к главной его работе: поэме о русской природе.

Своими мечтами Алексей как-то поделился с Правдухиным. Тот помолчал, подумал и очень серьезно — о литературе он всегда и писал и говорил только серьезно — сказал:

— Все мы мучаемся несовершенством сделанного, все мечтаем о заветной книге, когда начинаем писать. Без этого, как без любви, и не зачать и не написать. А написав, охладеваем и находим в написанном недостатки. Мастерство не имеет границ. Спокойны, самоуверенны, очевидно, только бездарные люди...

«Читатель моей поэмы,— размышлял Алексей,— дол-

жен услышать шорохи листвы, погрузнться в зеленую лесную глушь, в душецелительную тишину... Каждая строка ее должна выливаться из сердца, а не из чернильницы... Буду жить одной жизнью с живой природой. Только в глубоком уединении созревает настоящее. В человеке заложено пращурами что-то извечное, звериное — то, чего нельзя постичь умом, но что неудержимо тянет к себе».

Память Алексея услужливо подсказала мысль Маркса о том, что современный город с его шумами и испорченным воздухом, разрушив естественную трудовую связь человека с природой, обеднил его; что только коммунизм может снова восстановить, оздоровить эту связь. Идеалом Маркса было физическое и духовное здоровье человека...

«А как же Гордюша?

Гордюша только выиграет. Детство — это ежедневное открытие мира, которое ярче всего в его возрасте. Что он видит в Москве? Чем дышит?..»

Перед глазами Алексея встало собственное далекое, милое детство. Широкий родительский двор; посреди — телега со свеженакошенной травой. И он, засыпающий под звездами. А утром, раскинув руки, просыпается на согревшейся под ним траве. От телеги на весь двор аромат березового дегтя, скошенной вместе с травой клубники...

«Вера и глазом не моргнула: «Хоть в пустыню, только с тобой». Ее никакая обстановка, никакой труд не испугают». Из всех знакомых ему писательских жен его Вера в эти дни казалась Алексею самой лучшей, многотерпеливой, воистину писательской женой.

«Целые дни с глазу на глаз с природой, а ночами писать...»

Его охватила тоска по природе, подобная беспокойству перелетной птицы...

«В работе забуду зыряновскую трагедию...»

Действенная натура Алексея лихорадочно отыскивала путь в будущее: «В лес, к новым своим героям, к зверям, к птицам!..»

Почти так же, как когда-то: «В Москву! В Москву!..»

И это не было отступлением перед встретившимися на жизненном пути трудностями, не было бегством от них — это был новый творческий поиск.

Часть третья

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ранним майским утром на вершине березы у опушки смешанного леса стрекотала молодая сорока. От волнения птица не могла усидеть на месте. Длинный хвост ее закидывался за спину. Она прыгала с ветки на ветку, поворачивала приплюснутую голову, пытливо осматривая дали.

Резкий голос ее был, наконец, услышан: в небе показалась качающаяся точка. Сорока не выдержала и полетела навстречу подружке.

Птицы опустились на крону самой высокой сосны и застрекотали:

— Чики-чики! Чек! Чек!

— Чур, я вперед!

— Нет, я!

— Я старше тебя!

— Вот еще новости, а я умней!

На их крик с пронзительным чекотаньем неслись другие сороки. Зеленая раскидистая сосна расцвела пестрыми живыми цветами. Лес наполнился неумолкаемой болтовней, ссорами, криком. Наконец самой благоразумной, старой куцей сороке удалось восстановить порядок.

— Не все сразу! Непослушные будут иметь дело со мной! В домик обходчика приехал не то ученый-лесник, не то писатель.

Сороки замерли. По фиолетовым хвостам их прокатывалась дрожь нетерпения.

— Не может быть! — не выдержала одна из молодых сорок и тут же получила затрещину от старушонки.

— Большебородый, в высоких сапогах...— От волнения рассказчица потеряла нить повествования.— В бородатых сапогах...— зачекотала она снова, и сороки дружно засмеялись.— Его жена,— не смутившись нисколько, тараторила рассказчица,— чистила рыбу...

— Рыбу! — вскрикнула самая голодная в это утро сорока и устремилась к домику «ученого-лесника». Но

другие по-прежиему сгорали от нетерпеиня узнать все о новоселах и поделиться свонми новостямн.

— На рассвете в Дубравиике лесник наловил рыбы. И жена чнстила ее на пие, иедалеко от домика. Я славно позавтракала потрохами. Там же вертелся мальчик — озориик, как все мальчишки. Он запустил в меия камием, ио я все же ухватила кусочек из-под самого иоса собаки...

— Как, и собака?

— У лесинка — мальчншка и собака, похожая и на волка и иа лису! — старалась перекричать всех рассказчица.— Берегите малеиьких сорочат!

Но лишь только смолкла болтуиья, как другие воспользовались этим:

— У Тереитьевиы вылупились тетеревята. В терновиике, иа кочке.

— Волчица задавнла барсука!

— Лисеиок подавился костью!

— У филииа повыпадали перья, н ои теперь стал инвалидом!

Птицы трещали, ие слушая одна другую.

— За рыбиымн потрохамн! — подала снгиал старая куцая сорока и сорвалась с сосны. Худая, взъерошеиная — летающий пучок перьев,— оиа вызвала смех молодых. Но куцехвостка была самая умиая нз всех, н большннство болтуний полетелн за иею.

— К волчице, задавившей барсука! Навериое, там есть остатки!

— К гнезду Терентьевиы! Охотиться на глупых пискуиов! — азартио вскричала молодая отважиая сорока и тоже увлекла с собой ватагу смельчаков.

Пестрые живые цветы осыпались с кроиы сосны. Бахромчатые ветвн покачались и замерлн.

...Погожий день тихо катился в прогретом лесу. Горько н свежо пахло березами, хвоей, цветущнм брусничииком. Нарядиые шмели льиули к медовым чашам. Солнце золотой паутиной обвивало бархатные ели: полдеиь. Птнцы смолклн. Зверн забилнсь в иоры. Только Алексей с восьмилетним сыиом Гордюшей иеутомимо работали на новоселье.

Зоркие глаза новоявлеиного лесиика, как н глаза его сыиа, пристальио смотрели иа зеленый разлив лесов, точно вндели нх впервые. Сосредоточеииое спокойствне,

даже мечтательность были на его лице. Иногда он улыбался, и мальчик тоже невольно начинал улыбаться.

Алексей уверял сына, что хорошо понимает птичий язык, и перевел ему болтовню сорок в это утро...

Гордюша никогда не уставал слушать рассказы отца о жизни зверей и птиц, а отец не уставал рассказывать. В каждом из его рассказов сын узнавал «характер», образ жизни того или иного животного. И сама жизнь с родителями в лесу представлялась ему нескончаемой увлекательной сказкой.

Отец спиливал сухостоины, гнилые, зараженные деревья, обрубал сучья, ветви. Орудовал он пилой и топором весело, безо всякого напряжения: мальчику казалось, будто отец играет в занимательную игру.

Гордюша собирал «короединк», «захламленик» и сваливал в пылающий костер. Рыжий, пляшущий вихрь огня испепелял «усачей», «точильщиков» и «древогрызов».

Домик на поляне был виден Алексею и Гордюше.

Серо-дымчатый пес Дымок, «похожий и на волка и на лису», лежал на крыльце, внимательно наблюдая и за работой хозяев, и за курами, только что выпущенными из клетки, и за белой козой, которая жадно щипала траву.

Занимали Дымка и сороки, с назойливым стрекотаньем перелетавшие с дерева на дерево. Время от времени одна из птиц с развернутым веерообразно хвостом бросалась вниз и, выделывая в воздухе замысловатые повороты, опускалась у пня, где недавно Вера чистила рыбу. Воровато поглядывая на собаку, сорока боком делала прыжок, схватывала с земли перламутровую чешую, внутренности и тотчас взлетала на дерево. Кончики острых ушей собаки вздрагивали, когда сороки, ободренные безнаказанностью, начали подбираться и к рыбе: янтарных распластанных язей Вера повесила на шестик вялить, приказав Дымку сторожить их.

Счастливая новосельем, хозяйка мыла окна в домике. Золотое колечко дважды сползало с намыленного пальца Веры. Чтобы не потерять его в траве, она положила колечко на ступеньку крыльца рядом с собакой:

— Не урони, Дымушка!

Пес радостно застучал хвостом.

Дымка не на шутку начинала раздражать дерзость сорок. Особенно злила его куцехвостая нахалка. Она дважды садилась на шестик и отрывала по большому ку-

ску рыбы. Пес с лаем прогонял ее на дерево и снова возвращался на крыльцо. От возбуждения поднявшаяся на хребтине шерсть у собаки долго не опускалась. Дымок сердито взвизгивал, в глазах его вспыхивали огоньки.

Сороки собрались на ветвях ближайшей к домику ели и застрекотали, точно сговаривались о чем-то.

Вдруг они разом бросились к шестику с рыбой и начали поспешно долбить язей. Дымок сорвался с крыльца и, высоко подпрыгивая, стал озлобленно лаять на разбойниц.

Куцехвостка, кружившаяся над домиком, камнем упала на крыльцо, схватила ярко блестевшее на солнце колечко и взвилась вверх.

С негодующим визгом Дымок устремился за воровкой. Сорока летела в глубину леса. Пес мчался за ней что есть духу, пока она не пропала из глаз. Дымок поднял голову в небо и завыл, точно заплакал от горя и обиды.

Вера видела, как куцехвостка опускалась на крыльцо, видела погоню собаки за сорокой и поняла все.

— Алеша! Але-е-шенька! — закричала она и призывно замахала рукой.

Алексей и Гордюша побежали к домику. Широкогрудый, бородатый — перед отъездом в леса он запустил бороду,— похожий сейчас на капитана Гранта из любимой книги Гордюши, отец легко опередил сына.

— Кольцо, мое... кольцо! — Вера чуть не плакала.

— Бесхвостая, говоришь?

— Куцая, как огрызок. Это я точно заметила!

— Видели и мы этот кукиш! Одна она такая в лесу, заметная. Не огорчайся, Веруша! Мы ее с Гордюшой и Дымком на дне моря сыщем! — Алексей положил руку на плечо жены.— В гнездо она унесла кольцо. Одним словом, в точности как в сказке: «Вот тебе наказ, Иван: поезжай на океан...» Как в сказке, началось наше новоселье,— засмеялся Алексей так весело, что и Вера улыбнулась сквозь слезы. И все вокруг огорченного горем матери Гордюши вдруг тоже заулыбалось, «избушка на курьих ножках» сказочно засверкала вымытыми окнами.— Нет, Дымка-то, профессора-то нашего, как обвели вокруг пальца! Слышите, воет.— Все повернули головы к лесу и насторожились.— Это значит, потерял он воровку,— объяснил Алексей.— Попробуй угонись за птицей!

После ужина Алексей молча ходил по комиате из угла в угол. Окна домнка были распахиуты, н в ннх широким потоком текли запахи облитых росой цветов н молодой травы. За перегородкой спал Гордюша, еще ие утративший детской привычки сладко чмокать во сие губами.

Утомлеиная хлопотамн, но счастливая Вера сидела иа раскрытой постели и боролась с одолевавшим ее сном: ей ие хотелось ложиться раиьше мужа. Ресиицы ее смыкались, Вера вскидывала глаза иа Алексея, силясь улыбнуться ему, н ие могла.

Чериые, вьющиеся иа висках ее волосы рассыпались, закрылн лицо, плечи. Привычиым движеиием оиа хотела поправить нх, но подиятые руки бессильио опустнлись, голова склоиилась на подушку.

За длиииый деиь, заполиеииый хлопотами по устройству иовоселья, Вера смертельио устала. Далеко не просто было ей отказаться от привычиых московских удобств и обосноваться в заброшениом лесиом домике, где до этого хозяйиичала, очевидио, порядочиая грязнуля.

Но для любящей жеищииы всякое самоотречеиие — неисчерпаемый источиик радости. По нскоииым заветам русских женщии, Вера с ее жертвеииым сердцем с первых же дией супружеской своей жнзни решила, что иитересы мужа — ее иитересы, что для полиого семейиого счастья иеобходимо, чтоб одии из супругов в какой-то мере поступился своей волей.

То, что многие современиые жеищииы расценивали бы как рабство, Вера оправдывала любовью н великодушием.

И теперь, видя, как вдали от Москвы, иа щедрой природе Междуречья, Алексей воспряиул духом, оиа была счастлива его счастьем: ие было для иее большей радости и выполнять долг, и покоряться тому, кого любишь...

Алексей бережио укрыл одеялом уснувшую жеиу и сел за стол. Весь деиь ои с волиеиием ждал этого момеита н теперь наслаждался полиым спокойствием, увереииостью, что никто не помешает ему.

Однако иачать писать от избытка новых впечатлеиий не мог. Слушал доносившийся невнятный переплеск струй Дубравиикн на перекатах, последине строфы певчего дрозда, умостившегося на самой верхушке ели, тои-

кие высвисты вечериих певуиий малиновок, отрывистую, светлую, с залихватскими прищелкиваниями многоколенную песню сродиого брата соловья — варакушки.

Но вот и шум реки, и вечерние концерты певуиов словио бы умерли: перекрывая все и вся, страстиым щелкаиьем, пулькаиьем, рассыпиой серебряиой дробью гряиул державиый властелии майской ночи — соловей, загнездившийся в речиой уреме.

Да так гряиул, столько силы, отточеииого мастерства и щемящей душу громоподобиой торжествеииости было в каждом его колеие, что казалось, дрогиули и земля и лес от восхищеиия.

Положив перо, Алексей жадио слушал, пока ие смолк изнемогший от любви певец.

И страиио, междуреченский соловей с произительиой ясиостью воскресил в памяти Алексея точио только вчера пережитые им ощущеиия на берегу Черепаиовского затоиа — свидетеля первой его любви, когда ои лежал в пашенном шалаше, вот так же слушая соловья, и думал об Аииочке Самостреловой. «А вы ездили иа рыбалку, Алеша? Видели дедка Картошку? Какой он удивительиый, правда? Мие ои чем-то старичка-полевичка иапомииает...» — словио только что сказаиные, припомиились ее слова в их предпоследиюю тогда встречу.

Как давно это было, а как защемило сердце!

Недвижио, долго, задумавшись, сидел иад чистым листом бумаги Алексей.

Казалось, так и ие начиет он писать сегодня. Но примириться с этим ои ие мог. И имеино сегодня, в эту первую иочь его иовой жизии в Междуречье, с которой было связаио столько иадежд.

— Не развиичиваться ии при каких обстоятельствах! — прошептал ои и, стисиув зубы, закрыл глаза.

Сколько времеии просидел Алексей с закрытыми глазами, он не смог бы сказать. Но вот, словио из тумаиа, одиа за одной послушио выплыли непоседливые сороки и закачались перед ним.

Сиова Алексей увидел радужио-яркую игру их оперения. Услышал голоса лесиых болтуний. Белоиогие березы на опушке леса, распустив зелеиые косы, зашептались, заискрились под солицем. Неразлучные спутники их — простеиькие, скромиые ромашки взгляиули на него медово-золотистыми зрачками.

Трава, дымчатая от росы. Свежесть раннего утра. Синие колокольчики, как кусочки неба, упавшие на траву...

Алексей писал не отрываясь. Писал и улыбался:

«Создать картину жизни родной природы — что может быть благородней и прекрасней! Разве не стоит для этого поступиться удобствами городской жизни? Никогда не узнает дорогу тот, кто сам не прошел по ней. Нельзя писать о том, чего не прочувствовал до дна...» Писал, но лицо его хмурилось больше и больше. Он бросил перо и, откинувшись на спинку стула, стал смотреть на залитую лунным светом поляну с растущими по краям ее молодыми березами. Девически нежная атласная кожица их в свете луны выглядела голубоватой. Казалось, выбежали они из темной глубины леса шумной толпой на поляну и, покачиваясь из стороны в сторону, подрагивая блистающими плечами, повели веселый хоровод. «Надо будет проследить, как начнут они розоветь перед восходом солнца».

Алексею захотелось пойти к ним, лечь в середину их хоровода, вместе с ними дожидаться утра, но он поборол это желание, решив записать хотя бы начерно все пережитое, увиденное им за этот день.

Но написанное начерно тотчас же исправлял, переписывал и снова исправлял. Как и его отец, неустанно отыскивавший нужный ему кусок дерева, стали, любовно нянчивший каждую деталь «венской» своей коляски, Алексей тоже отыскивал в авторском самообольщении казавшиеся ему самыми точными, самыми яркими слова и эпитеты для выражения чувств и мысли. Его законом был девиз какого-то неизвестного ему француза: «Ласкай фразу, пока она не засмеется».

И он ласкал. Но, как всегда, сомнения мучили Алексея. И сейчас, встав из-за стола, он зашагал по комнате, негромко разговаривая сам с собою:

— Может быть, и моя новая книга только мечта, неосуществимая мечта.

Не по-туристски, с рюкзаком за плечами, на месяц — на полтора, чтоб записать в блокнот наблюдения и впечатления, а всей семьей, надолго, пускай не навсегда, но «пока не напитаюсь до краев, не напишу книгу, в Москву не вернусь»,— приехал Алексей в этот тихий лесной

массив, соседствующий с Междуреченским заповедником.

И выбрать место, и устроиться на работу лесником в Междуречье Алексею помог все тот же его друг — известный ученый-лесовод.

— Междуречье, богатейший лесной массив с его знаменитым Гулким холмом,— одно из красивейших мест во всей этой обширной области. Благодаря особенностям геологического строения его склонов с бесчисленными родникамн и ручьями, он является как бы живым музеем —скопищем чуть ли не половины всех дикорастущих цветковых областн. Неопровержимым, наглядным примером гидрологической значимости лесов для водного режима наших рек, что пытаются оспаривать некоторые псевдоученые дяденьки из лесного министерства.— Последние слова умный, всегда спокойно-сдержанный старик выговорил с оттенком необычной, суровой горечи в голосе.— Целому коллективу ученых и только благодаря вмешательству Владимира Ильича удалось создать там заповедник,— голос старика вновь обмяк.— И будешь ты наш первый «писатель-лесник». Лучший уголок трудно подыскать: поле для разносторонних наблюдений и деятельности широкое. Это как раз то, где ты с твоей жадностью к работе сможешь показать, что может сделать даже один культурный человек в лесу. Через месяц ты сам себя не узнаешь и все свои литературные беды забудешь!

И с сообщением и со снабжением в этом районе дело обстоит лучше, чем где-либо: рядом — заповедник, там любую помощь и тебе, и Вере Васильевне окажут. Да и лесничий Антон Антонович Рясенцев — строгий, замкнутый, но добряк и страстный лесолюб. Правда, и заповеднику и лесничеству не легко там: ретивые администраторы одолевают — отхватывают то один, то другой массив; поможешь своим пером...

Так семья Рокотовых оказалась в Междуречье, настолько удалившись от своей прежней московской жизни, как будто они переехали в новый мир: ничего привычного, что было еще несколько дней назад, новый мир у самого порога домика. Словно первые люди на Земле, где все надо создавать самим. И это очаровывало прелестью новизны, радостью преодоления трудностей.

Прав был старый ученый друг: лучшего средства за-

быть горечь пораженя, трагнческую нсторню Тииы придумать было нельзя.

«В Москве нередко я растрачивал себя по пустякам: собраиня, заседаиня, бесполезные споры. Здесь все просто, разумио, как проста и разумиа природа».

— Слушай, Веруша, что написал в своей кииге «Жизнь в лесу» Торо: «Я... хотел... иметь дело лишь с важиейшими фактами жизни и попробовать чему-то от иее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделкамн вместо жизии — она слншком драгоценна для этого...

...Я хотел погрузиться в самую суть жизнн н добраться до ее сердцевииы, хотел жить со спартаиской простотой, изгнав нз жизин все, что ие является настоящей жизиью. ...Если оиа кажется нсполиеииой высокого смысла, то показать это на собствеиином опыте н правдиво рассказать об этом в следующем моем сочииеиии».

— «Твой дом — мой дом, твое дело — мое дело, твоя жизнь — моя жизнь»,— отвечалн когда-то библейскне жеиы, Алешенька! — Вера засмеялась. Оиа была счастлива уже тем, что с момеита сборов и устройства на новоселье Алексей, человек крайиостей, увлекающийся до самозабвеиня, забыл московские огорчеиия н всецело отдался иовой работе иад «заветиой» своей кииrой. Вера взвалила иа свон плечи иелегкий труд. С утра до вечера вела лесиое свое хозяйство: стряпала, вознлась с курами и козой Машкой, подареиными им иа иовоселье добряком лесничим Рясеицевым.

За работой время летело стремнтельио. Не успели огляиуться, как Дубравиика вошла в берега. Наступнло пролетье. А весиа и лето в этом году выдались отличиые: вовремя перепадали теплые спорые дожди, вслед за нимн — яркое сияло солице от утра до вечера. Все росло, подиималось, как на опаре.

В густой траве заалела земляинка, а там подошла и тройчатая рубииовая костяиика, засизел, словно дымком подериутый, гонобобель.

За ягодами полезли из земли грибы.

Больше всего, казалось, жизнь в Междуречье иравилась Гордюше. Часто раио, чуть прорезывалась заря, оставив сторожить дом Дымка, всей семьей Рокотовы ходилн на Дубравинку с удочкамн. Кристально-прозрачная в роднnковых своих верховьях, лесная таинственная

Дубравинка — прибежище разнопородных рыб. Вдоль тенистых, с косматыми ивами крутых ее берегов глубокие омуты, украшенные белыми бантиками лилий, смотрятся в небо золотистыми очами.

Толстые, глянцевые лопухи с сидящими на них стрекозами вдруг взрывались от всплеска крупной рыбы. То пятнистая, как рысь, речная хищница щука торпедою метнулась к своей добыче, а широкий, точно медная сковородка, карась, блеснув чешуей, ушел от нее в темень омута. Потревоженные стрекозы, с сухим звоном покружившись над лопухами, опустились на зыбкое свое подножие. И снова тишь и первозданная благодать. Качаются снежно-белые лилии на тихой волне и понемногу роняют лепестки на дно. Благостно и тихо на душе. Росно, чуть знобко и от родниковой свежести реки, и от мучительно-сладкого предвкушения ловли.

Осторожно, без всплеска, лесу надо закинуть непременно в центр омута: между лилий и лопухов. Закинул и жди. Легкие пробковые поплавки маячат на глади темной воды. Сидеть, смотреть на поплавок, ждать воровато-робкой поклевки точно из серебра отлитого, резвого на уде язя и жадного, «взаглот», рывка полосатого, как тигр, упористого окуня — сладостно до сердцебиения. И вдруг поплавок дрогнул, накренился и так косо и пошел, пошел в сторону и в глубь омута...

И каким же восторгом светились лица, как тряслись руки, когда добыча снималась с крючка!

Сотни запахов цветов и трав, деревьев и кустарников щекотали ноздри... А заря все разгоралась и разгоралась, и все румянели и румянели омуты таинственной Дубравинки.

А как разливались, звенели междуреченские соловьи в уреме!

Воспоминания о Москве отодвинулись далеко.

— Бедные горожане — спят сейчас в каменных своих мешках. Порою их тоже одолевает тоска по этим росным просторам, по цветам и травам, по сладкому воздуху, не отравленному городской пылью и вонью. Нет и не может быть человека, которого не тянула бы, не звала бы к себе природа, не томила бы какая-то частица души его далеких предков.

На днях я встретился и разговорился со старым лесником Мартьянычем, у которого обход на северных скло-

нах Гулкого холма в вершине Чержени. Живет один, как выпь на болоте: все его дети ушли в город. Но старик — философ, каждое слово с двойным смыслом. «Не тянет к детям в город?» — спрашиваю. А он: «Не тянет: там все машины да машины, а я человек лесной, к душевному и всяческому простору привержен. Весна ли, лето, осень, зима ли — для меня все едино: куда ни гляну — благолепная красота. А в городу — сплошной камень, железо и утесненье. Народу, как мурашни, и каждому до себя. Живут ровно бы с завязанными на природную красоту глазами. Боюсь, как бы и мне в городу-то, как моим деткам, душою не оскудеть, не ожелезиться — под машину не угодить. А здесь, сами видите, хорошо-то как!» Ведь правда же, Веруша, хо-ро-шо здесь! Как первым людям в раю!

— Хорошо! — подтвердила Вера. Но в том, как она согласилась с ним, Алексей уловил что-то не досказанное ею.

— Не бывать бы счастью, да несчастье помогло. Я так счастлив здесь,— проговорил он.— Но... тебе, конечно, тяжело без московских удобств. Не всякая бы женщина справилась...

— Я уже привыкла. Главное, что тебе хорошо пишется... Насчет же горожан, мне думается, ни ты, ни Мартьяныч твой несправедливы... не всем жить в природе. И в городе у каждого своя цель, свои радости... Да и город — это же, это же, Алешенька, вечное биение передовой мысли...

— Конечно, конечно! Но я ни на какие городские радости не променял бы сегодняшнего нашего похода на Дубравинку.

И каждый раз во время этих походов Рокотовым встречались звери, зверьки, птицы и птички. Один раз на реке видели выдру, ведущую необычайно скрытый образ жизни. А как-то наблюдали косулю с косуленком. Каждый случай представляется редкостью, лишь однажды.

ГЛАВА ВТОРАЯ

«Описывать — только то, что познано лишь достоверным опытом авторитетных натуралистов и личными наблюдениями, по возможности — не один раз». Отсту-

пать от правила абсолютной точности ради занимательности рассказа Алексей отказался, и потому иногда целыми днями, искусно маскируясь, он ходил «по пятам своих героев».

«Чтоб изображать жизнь зверей и птиц, их надо не только хорошо узнать, но и понять сердцем. Только поняв сердцем, можно убедительно домыслить и их поступки».

Чаще всего в лесу Алексей ходил без ружья: наблюдаемые им с дружественным интересом звери и птицы, словно угадывая мирные его намерения, нередко тоже оглядывали его с доверчивым любопытством.

И чем больше Алексей наблюдал новых своих «героев», тем все больше утверждался в справедливости слов одного из старых натуралистов, прочитанных им еще в юности, смысл которых, сохранившийся в незаурядной его памяти, сводился к следующему: «Еще никто до сих пор не мог точно установить, что такое инстинкт, где он кончается и где начинается сознательный ум. Или показать, в чем первоначальные инстинкты ребенка отличаются от инстинктов всякого другого животного. Кто близко наблюдал за животными, может судить, что мотивы, управляющие действиями животного, часто очень схожи с нашими. Вся разница в том, что побуждения его проще и естественнее, чем у нас».

...Только что вылупившийся из яйца, самый крупный в выводке тетеревенок первый обрадовал мать: он забрался к ней под уютное, теплое крыло.

Беспокойно-заботливая Терентьевна вздрогнула от прилива материнской нежности, слегка приподнялась, чтоб смог угнездиться пушистый первенец на хрупких, как соломинки, лапках у самого ее сердца, и, словно ладонью, прижала его крылом к своему телу.

Цыпленок закрыл черные бусинки глаз и задремал. Так началась жизнь тетеревенка.

Во время кормежки Терентьевна не спускала глаз с любимца и то и дело тревожно и ласково окликала его:

— Ко-ко-ко! (Где запропал? Поди сюда, сорванец!) Кек? (Замри!)

Это мамаша заметила изогнутые серпом крылья сапсана. Острые когти этого хищника рассекают спину и

взрослого тетерева, точно брнтвой. Первенец был иеобыкновенно шаловлнв, своеволен, н мать часто давала ему трепку. Сердитым окрнком подозвав проказника, Терентьевна стукала малыша легоиько клювом по затылку, потом подталкнвала его головой в середнну выводка. Недовольно вытянув шею, выушала ему правнла поведення. И, тотчас по-матернискн забыв обнду на резвое днтя, решительно двнгалась вперед, а тетеревята следовали за нею.

Жнзнь выводка иачниалась с зарей. В росные и дождлнвые утра мать подинмала детей с ночевки позднее: легкое оперенне тетеревят плохо защнщало нх от сырости, а промокшне крылышки в момент опасностн моглн подвести при взлете.

Самые счастлнвые для Терентьевны н ее птенцов мннуты былн по окончаинн дня.

На ночевку оиа прнводила тетеревят в хорошо знакомый Алексею густой колючий шнповннк. В середиие зарослей — покннутая муравьями кочка. Рядом — площадка, ладоии в трн-четыре, для нгр детей. На кочке, в разрытом углубленнн, н вывела и сохраияла тетеревят ночамн Тереитьевиа. Лучшее место трудно было найти: нн с воздуха, нн с земли ие опасеи был птеицам инкакой враг. Даже бесшумная, словно тень, ласка илн гибкий и быстрый гориостай не моглн подобраться к месту иочевки, не выдав себя в колючем, хрупком кустарнике.

Измученная за длнный летний день, Терентьевиа всегда поспешно вела семью в иадежное прнбежнще. Здесь перед сном тетеревята весело нграли, наскакнвая однн на другого с воннственным вндом. Лазнлн к матери под крылья, под уютиый навес хвоста, вскакнвалн ей иа спину. Заннмалнсь вечериим туалетом: крошечиымн клювнкамн перебнралн рыхлые, детские перышкн, лапками прнчесывалн загрнвок.

Заря отцветала в небе. Зарозовевшне верхушкн шнповннков темнелн. Терентьевна, полупрнкрыв глаза, дремала под убаюкивающнй говор н возню птенцов. Изредка она прнкрикнвала на расшалнвшнхся не в меру тетеревят, но делала это без злобы, больше по прнвычке: «Ко-ко-ко...» Как говорят матерн своим малюткам: «Спать, спать, детн». Но до сна лн разыгравшнмся шалунам! После нзнурительиой дневной жары оин, задыхавшнеся в разомлевших травах, теперь, в час упоительной прохла-

ды, были полны кипучей жизни. Каждому хотелось показать себя, померяться силами, блеснуть ловкостью.

Но угас день. Отпылали алые паруса зари. Возня и игры прекратились. Оживленная болтовня тетеревят становилась невнятней, тише: один за другим они постепенно засыпали. Только самые неугомонные вполголоса перешептывались о чем-то, но вот успокоились и они. Синюю луговину неба засеяли звезды. А вон и луна выплыла из-за леса. Пискнул сонный тетеревенок. Проскользнула мышь. Ночь обняла землю.

Спят травы, спят цветы, свернув нежные лепестки. Тихо так, что тишину можно слушать, как музыку. Только изредка свистнет бессонный перепел да проскрипит коростель.

Терентьевна дремлет вполглаза, все время ощущая вокруг себя горячие мягкие комочки угомонившихся детей.

Очевидно, как и Терентьевна, Алексей был счастлив, что полный опасностей день тетеревиной семьи и сегодня окончился благополучно: птенцы мирно спали в родном своем уголке. Он тихонько покинул засидку.

Алексей наперечет знал тетеревиные выводки в окрестностях своего домика. Знал он и множество гнезд хищников, вмешивался в жизнь леса, становясь на сторону слабейших и полезных.

Сколько тайн раскрыл он в зеленых кущах! С какими хитростями и уловками зверей и птиц встречался на каждом шагу! Порой даже и он становился в тупик, разгадывая их головоломки. Совершенно неожиданно обнаружил Алексей, что в грозу лисы взлаивают тоненько, как щенята...

Однажды в дальнем конце массива, у Гулкого холма, его застиг ураган с таким ливнем, что он поспешил укрыться под навесом скалы, известной, как думал он, только ему. Промокший до нитки, оглушенный громовыми раскатами, ослепленный нестерпимо ярким накалом молний, он застал под скалой удивительную компанию: в самом дальнем углу, прижавшись к скале, сидел, очевидно отбившийся от матери, бурый медвежонок, месяцев четырех от роду. Почти рядом с ним лежал заяц, и тут же, припав на брюхо, растянулся лисовин, по-летне-

му легко одетый, с неприглядно-тонким свалявшимся хвостом.

Черное небо с сухим треском раздирали электрические разряды. Лес ревел, гнулся в дугу под напором урагана. Водопадом хлестал дождь. Длинные, толстые жгуты его, бичуя землю, сверкали в свете молний, как гигантские клинки сабель.

Тогда-то и услышал Алексей брех лисы на каждый удар грома. Матерый, хорошо знакомый ему по прежним встречам лисовин при появлении человека только плотнее прижался к земле, но не прекратил лая.

Медвежонок негромко, недовольно ворчал, а заяц трясся, точно в лихорадке. Верхняя, рассеченная губка его вздрагивала, как у обиженного ребенка. При вспышке молний он косил глазом то на лисовина, то на медвежонка. В левое ухо зайца впился клещ, раздувшийся, как боб; Алексей потом жалел, что не вырвал клеща из уха перепуганного насмерть зайца.

«А мог бы»,— говорил он дома жене и сыну.

Человека звери, казалось, не замечали, пока совсем не прекратились пушечные раскаты грома. Первым вымахнул из пещеры заяц. Прыжок его мимо Алексея был подобен полету птицы. Следом за зайцем пришел в себя лисовин, и позже всех — медвежонок. Испуганно рюхнув, он шлепнулся в лужу у скалы и побежал в глубину леса.

Ночью, под свежим впечатлением, Алексей сделал запись о грозе в своей «Поэме о лесах». И утром прочел написанное семье. Вместе с Гордюшей они придумали и слова, какие ворчал себе под нос медвежонок, и что шептал перепуганный, плачущий заяц: получился рассказ. На другой день Алексей перечитал его про себя, и рассказ против обыкновения понравился ему: он чем-то напоминал сказки его бабушки, очарование которых владело им до сих пор.

Знакомых зверей и птиц Алексей встречал в лесу не один раз. Он был убежден, что и куцую сороку выследит, и похищенное кольцо вернет жене.

Алексей не любил сорок за наглый разбой в лесу. Не один раз видел он, как нападали они не только на беззащитных тетеревят, но забивали даже зайчат.

Много драм и комедий подсмотрел Алексей в жизни природы и записал в свою книгу.

Наблюдения свои он не только записывал, рассказывал сыну и жене, но и зарисовывал на полях рукописи.

Но и этого казалось мало Алексею. Он воспроизводил голоса своих «героев» на усовершенствованной для него знакомым московским музыкантом дудочке, подобной дедовской жалейке.

Часто Алексей брал с собой в лес Гордюшу, учил его наблюдать повадки зверей и птиц. Все радовало их в лесу: и изобилие грибов и ягод, и пение птиц.

Алексей ходил по лесу и смотрел вокруг так, словно трогал взглядом каждое дерево, ласкал каждого зверька, пичугу. Шли, с наслаждением вдыхая настоянный лесными ароматами воздух.

— Хорошо! — говорил отец сыну.

— Хорошо! — соглашался мальчик и смотрел на отца расширенными глазами. Он прижимался к отцу, и тот без слов понимал, что творилось в его сердце.

— Счастье мое, что я живу и работаю теперь среди всего этого,— Алексей обвел рукой синий росплеск лесов.

Над их головами деревья шумели верхушками, словно добрые друзья тихонько передавали веселую новость по кругу. Выпуклый лобик мальчика в темных кудряшках и такой же, как и у отца, детски нежный очерк пухлых губ, задумчивые голубые глаза — все говорило о какой-то напряженной мысли, но он таил ее, а отец не спрашивал, давая созреть ей в душе сына.

Тихо сидели они, прислонившись к стволу дерева на опушке леса, и слушали, как дрозд-пересмешник, насвистывая на своей флейточке, выпевал звучным голосом забавную пригласительную песенку, запомнившуюся Алексею еще с детства от его учителя — великого подражателя голосам птиц — Матюши Коноплева: «Кум, иди, иди чай пить! Иди, иди, чай пить!..»

Погруженный в воспоминания, Алексей блаженно улыбался. Чему-то своему улыбался и Гордюша.

Солнце заливало лес потоками света: кроны сосен были переполнены им, как малахитовые чаши; казалось, вот-вот польется оно через край и затопит лес золотой испепеляющей лавиной.

Орел парил в вышиие, роняя иа землю сухой клекот. Величествеииый, безмятежиый мир размореино дремал, иежился в полуденный знойиый час.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мягкий, точно плюшевый, с влажиым чериым носом и чериыми, еще бессмысленными глазками щеиок попал к Рокотовым, когда Гордюше было шесть лет. Двухиедельиым его привез из Сибири в подарок Алексею знакомый охотиик-промысловик.

— Вырастишь — собаке цеиы не сложишь: мать у иего — одиа такая иа всю округу. Умна, как человек. Идет и по птице и по белке. И что редко — неотвязиа и по соболю и по медведю...

Вера выкормила Дымушку соской. Алексей любил смотреть на возию жеиы с малышами. Раскрасиевшаяся, похожая иа девочку, увлечеииую иитересиой игрой, Вера подогревала в кастрюльке молоко и делила его пополам: щеику в бутылочку с резиновой соской, Гордюше — в фаяисовую кружку.

Дымка она брала на руки, и иачииалось кормлеиие. В волиеиии щеиок сучил лапками. Бархатиые их подушечки, с чуть наметившимися коготками, щекотали колени кормилицы. Брови Веры шевелились, она с трудом удерживалась от смеха.

Алексей, присев на корточки, смотрел то на иее, то иа влажиую от молока мордочку щеика. В его глазах тоже вспыхивали веселые искры. Дымушка спешил, давился и уморительио, с сытым довольством, причмокивал. Раздувшийся, насосавшийся щеиок затихал, позевывал, смешно открывая рот, и закрывал глаза. Вера осторожио укладывала его иа коврик, и ои тотчас же засыпал, пригиув иакрытую лапами мордочку к горячему розовому животу.

Бегал щеиок вначале тоже смешио, как-то раскорякой и боком. Болтавшиеся мягкие ушки его вскоре окрепли, выпрямились, как рожки. Вынесениый в садик, ои любил валяться иа песке и лаять тонеиьким голоском, выражая радость.

Все привлекало виимаиие щенка: и коричневый жук иа песке, и пестрая бабочка, пролетевшая над головой.

Ушки Дымушки вздрагивали, черные глаза горели любопытством, крутой кренделек хвоста возбужденно шевелился.

Длинный солнечный нож рассек зеленую крышу лип так неожиданно, что щенок попятился.

— Собакин! Дымушкин! Глупышок! — Рука Веры погладила щенка по голове, и он осмелел настолько, что сделал вначале один прыжок, потом еще и еще, пытаясь прижать золотое пятно своими лапками. Но как быстро он ни прыгал, как ни хватал — солнечный зайчик беззвучно ускользал из-под самого его носа. Дымок набрал полный рот песку и разлаялся.

Так еще в Москве Дымок вошел в жизнь Рокотовых, а теперь стал полноправным членом их семьи.

Как уже известно читателю, закончив и сдав в печать роман, ранней весной Алексей увез семью из Москвы на все лето в верховья речки Боровлянки со знаменитыми когда-то бобровыми запрудами, а ныне больше чем наполовину вырубленное, к тому же сильно зараженное вредителями лесное урочище.

И еще там целыми днями Алексей пропадал в лесу, делал беглые записи для книги о жизни природы. А ночью он не мог удержаться, чтоб увиденное и наспех занесенное в блокнот не развернуть хотя бы в коротенькую, но законченную новеллу.

«Писать, ежедневно писать,— пускай даже по одной страничке!»

Алексей не разрешал себе большую передышку между книгами: «Не утратить бы навыка!»

«Пришло время не только говорить о любви к природе в приевшихся уже газетных статьях и на собраниях, но и художественным словом прививать эту любовь другим. А для этого слово должно быть ярким — действенным».

По просьбе того же близкого ему друга, устроившего его теперь в Междуречье, Алексей попутно со сбором материалов для своей книги изучал вредителей смешанных лесов, собирал коллекции короедов, пядениц, совок. Испытывал средства борьбы с ними. С собой он привез чемодан книг и походную лабораторию с пробирками и препаратами.

Весело жила и работала семья Рокотовых в верховьях

Боровлянки. Вера вела хозяйство, входила во все творческие замыслы мужа, помогала ему чем могла. Гордюшу отец учил читать великую книгу природы.

В это лето и Дымок показал себя верным другом семьи Рокотовых. Ему исполнилось десять месяцев. Был он еще по-щенячьи угловат, остроморд, нескладен, голос срывался в подвизг, но решительность характера уже определилась у молодой лайки.

Однажды Алексей возился с зараженными, полузасохшими деревьями. Вера неподалеку собирала грибы, уложив уснувшего Гордюшу в шалаше. Дымок остался у лесного домика.

Был жаркий полдень. Сосны пустили янтарные потеки. От яркого солнца стволы их словно бы еще сильнее забронзовели, а березы, засиявшие ослепительней мраморных колонн, на фоне сосен выделились еще заметней: к ним, как к белолицым девушкам-горожанкам, солнечный загар не пристает. Смолой, земляникой, грибами пропах бор.

По стуку топора Вера определяла, что муж нашел и добывает из трухлявой колодины нового «подопытного кролика», как он называл вредителей.

Она собирала грибы. После теплого ночного дождя по лесным полянам много выгнездилось их. Крепкие, хрусткие, в серебристом пушку, как в дыму. Не ты их, а они тебя ищут...

Вот могуче поднимает макушкою прелые листья, просится в корзину торжественный, как памятник, грибной полковник — крупный белый боровик. Сломила его: он бледно-розов, свеж, пахнет ночным туманом. А вон поднялась на цыпочки алая сыроежка величиною с блюдце. У корневищ сосен, в сосновых иглах, одинаково ровные, круглые, как медные пятаки,— рыжики. В тени берез дымчатые подберезовики. А вот, под разлапой елкою — липкий, золотой масленок. Врезавшаяся в него сухая былинка надвое разделила тяжелую, сырую его шляпку с прикленвшимися к ней хвоинками. Сломленный, он холодит ладонь, обрызгав ее чистейшей слезой не то грибного сока, не то росинки, с утра просверкавшей у него под застрехой.

Желтые, как цыплята, лисички рассыпались гнездами. Их много — не оберешь. Вера махнула на них рукой. И вдруг нежданно негаданно, у самого ботинка, грибной

младенец — крошечный белячок, как пальчик с золотым иаперстком. От роду ему ие более часа. А как ои пахуч и нежеи! Лукошко полно, а грибам — нн коица, ии края.

Лицо Веры горит, глаза блестят. Движення быстры, бесшумны, ей кажется, что оиа ндали чует грнбы. Весело на душе оттого, что вокруг сказочиое летиее плодородие, леииые сытые птнцы, взлетающие с ягодииков из-под самых ног, что она любит н любима. А вот и шалаш, где спит Гордюша. Вера загляиула в шалаш и обмерла: мальчнк разметался во сне, а сверху, как раз иад иим, спускалась змея. Длиниая, чериая, с сизым отливом. Хвостом обвилась вокруг талииы и, разматывая спираль за спиралью, с шипеньем медлеино сплывала инже н ниже. Раздвоеиный язык ее шевелился, желтые глазки сверкали. Вероятио, мальчик спал иа ее иоре...

Вера хотела крнкиуть н не могла. Сердце остановилось. Жили только налитые ужасом глаза.

Но от домнка уже бежал Дымок. Заметил ли ои испугаиный взгляд хозяйки нли услышал шипение гадюки, только пес бросился иа иее — еще секуида, н она упала бы на Гордюшу...

На весь лес вскрнкнула Вера. Просиувшийся Гордюша тоже закричал. Дымок вцепился в шею змеи, сорвал с талнны и стал свирепо трястн ее. Потом, выскочив из шалаша, он выпустнл ее, стал прыгать вокруг и лаять отрывисто, злобио: так лают все собакн иа змей. А гадюка шнпела, как раскалеииый уголь, попавший в воду.

Вера, схватив палку, ударила гадюку по плоской малеиькой голове. На крик прибежал Алексей и топором разрубнл змею иа извивающиеся кускн.

Когда все, взволиоваииые, испугаииые, шли домой, Дымок бежал впереди. Обласканный, ои то уносился к самому домику, то снова возвращался, прыгал, визжал, лизал руки Веры горячим, шершавым языком, благодарио заглядывая в глаза. Возбуждеине хозяев так сильио разволиовало его, что он под коиец не выдержал — бросился со всех ног за выпорхнувшей пичужкой, далеко прогиал ее лесом и, усадив на дерево, с лаем стал прыгать вокруг н грызть и царапать ствол. Гулкий лес вторил лаю: точио кто-то звоико звякал золотым топориком по иаковальие.

...Дымушка день ото дия заметио взрослел, но та же щеиячья ласковость н безграничиая преданность светилнсь в его глазах.

Писатели-натуралисты утверждают, что волк и даже тигр будет с величайшей нежностью заглядывать в глаза, если человек выходит его с малых лет, станет ему вместо матери. А у собак перед всеми зверьми особенная любовь к человеку. Собака, выхваченная из дикой жизни, сохранила, вероятно, чувство утраты всей матери-природы и на веру отдалась человеку, как матери. По собаке заметнее всего, какая возможность любви заложена в звере...

Как-то Вера развешивала для сушки связки грибов, Гордюша и Дымок играли недалеко от домика. Алексей с ночи еще ушел в лес — к «своим» зверям — и до сих пор не вернулся. Вера волновалась, то и дело поглядывая в сторону леса. Она знала, что Алексей не щадит себя в работе, что ради книги он нередко рискует своей жизнью, она и гордилась его смелостью, и каждый раз испытывала мучительное чувство страха за него.

Лишь охотникам да натуралистам ведомо волнение, с каким ожидается появление зверя. Но чем дольше ждал Алексей, тем увереннее становился: «Придут, обязательно придут!»

Под купами деревьев — темь, сырость, папоротники. Жили там дикие кабаны, откармливаясь на желудях. Водились рыси. Многих Алексей «знал в лицо». Не один раз наблюдал он жизнь зверей, писал о них, фотографировал, зарисовывал в альбом.

Лес был щедро обрызган из голубой небесной кропильницы. Крупные зерна росы, дрожа, перекатывались на лопухах и папоротниках.

Раннее солнце стоцветно вспыхивало в них. Чудесное росное утро: и цветы, и ягоды, и птицы!

Прижавшись к дубу, Алексей слушал тишину леса. Взгляд скользил от одного солнечного пятна к другому. И всюду он отмечал интересную жизнь природы, стремясь проникнуть в нее не только взглядом ученого, чтобы понять ее как сцепление биологических причин и следствий, но и как художник, улавливая поэтическую ее сущность.

Рядом, на трухлявой колодине, обросшей травами, на узенькой прорези солнечного припека, в холодный утренний час собралось самое невероятное общество: крапчатая, вся в бородавках, зеленая, с мученически выпученными глазами жаба, бабочка с огненно-палевыми, в черной кайме, крылышками, серая, узкая, как веретено, ящерица, три рубиново-красные мушки и рогатая, вся

прозрачная гусеница. Коричневый рог гусеницы возвышался, как султан, и она, наклоняя и поднимая его, словно любезная хозяйка, приглашала собравшихся «откушать хлеба-соли».

Алексей обладал острым зрением охотника, схватывающего одновременно и пятна ржавчины на листьях осины, и появившегося на опушке леса мокрого от росы зайца. Опустив одно и приподняв другое ухо, заяц неторопливо перепрыгивал полянку. Темная стежка в обитых росных травах, спокойный вид гуляющего зайца — ничто не ускользнуло от глаз Алексея.

Озабоченная его близким соседством, вертелась горихвостка: рядом у нее было гнездо, и в нем два взматеревших птенца. С кузнечиком в клюве она перепархивала с ветки на ветку, вертела головкой и глядела на Алексея бусинкой-глазком.

Впечатление за впечатлением прятал натуралист в кладовые памяти, где все сохранит свежесть и аромат, прозрачность и красочность, пока писатель не возьмет их для работы.

Алексей понял теперь, что для него всякая иная страсть, кроме страсти познавать и поэтически отображать окружающий его мир, прививать людям любовь к живой природе,— уклонение с прямой дороги.

Он нередко пренебрегел опасностью. Ночью, без оружия, с блокнотом, карандашом и фотоаппаратом пришел в эту глушь, но даже в случае опасности он не стал бы стрелять здесь, распугивать зверей. Ружье было бы только помехой. Стоял неподвижно, знал: одно неосторожное движение — и прощай увлекательная страница из его книги! Кабаны одарены острым зрением, слухом и обонянием. Подойти к ним по ветру невозможно. Алексей встал в таком месте, где сильная воздушная струя с реки спасала его от тонкого звериного чутья. Неподвижный предмет не вызывает опасений в лесу, но даже неосторожно устремленный взгляд, движение ресниц может выдать: кабан бросится на человека. Спастись от него на чистом месте невозможно: клыкастый вепрь отсекает охотнику ноги, вспарывает ему живот.

Но какой истинный натуралист думает об опасности!

...Звери появились бесшумно. Вначале из стены зарослей выставилось круглое дымчатое рыло с влажными раздувающимися дырочками ноздрей. Сквозь полуопущенные

ресницы Алексей отлично видел его. Зверь нюхал воздух, осматривал ржавую топь болотца. Потом высунулась голова с маленькими, в густой щетинистой шерсти, глазками и большими волосатыми ушами. Малейшее подозрение — и зверь исчезнет в орешнике, как поднявшаяся из глубины омута рыба.

Алексей затаил дыхание. Минута, другая, третья... Кровь прилила к голове, в ушах звенело.

Инстинктом охотника он вдруг почувствовал, что наблюдает за кабанами и ждет их выхода на поляну не только он. Алексей еще не знал, кто этот другой, но что здесь есть еще кто-то, сомнений не было.

Зверь выскочил из зарослей. Это была длинная, поджарая свинья с низко опущенными сосцами. Вздыбленная от загривка до хвоста черно-бурая щетина делала ее еще выше и грознее. Весь вид зверя в этот момент, казалось, говорил: «Вот я! Кто тут есть? Я готова к битве».

Лес был тих. В болотце шлепали лягушки. Веприца негромко хрюкнула, и тотчас на поляну выскочили пять полосатых, юрких поросят.

Алексей перевел дух, даже негромко кашлянул, прочищая горло: он знал, что прыгающие, хрюкающие поросята мешают матери слушать.

На соседнем дубу, на нижнем его суку, распластавшаяся рысь тоже сделала движение онемевшими от ожидания когтистыми лапами, сверкнула зелеными, как крыжовник, глазами. Кисточки ее ушей вздрогнули, по пятнистой шкуре заструилась волна дрожи. Алексей тотчас заметил ее и понял теперь, что так же, как и он, она сумела оценить это место, учесть спасительную струю воздуха из речного ущелья.

Веселые, забавные поросята, подкидывая задки, бросились было к болотцу, но тревожное хрюканье матери на глазах Алексея произвело чудо: поросята вдруг точно провалились сквозь землю. Только насторожившаяся свинья, приподняв длинное рыло, продолжала обнюхивать воздух. Солнце, прорвавшееся сквозь дубовые кроны, золотистыми пятнами рассыпалось на стеблях травы: полосатых поросят скрывала их покровительственная окраска. Пятна на шкуре растянувшейся на суку рыси тоже маскировали ее.

Алексей и рысь следили за каждым движением веприцы. В гибком теле рыси чувствовалась сила свернутой

стальной пружииы. Казалось, мускулы ее вибрировалн от кисточек иа ушах до коичика короткого, точио обрублеииого, хвоста.

Напугавший свиинью ленивый жириый барсук со сверкающей серебряиой остью на спиие иеторопливой поступью бродяги подошел к болотцу и стал жадио лакать воду коротким розовым язычком. Свииья разглядела его и иегромко хрюкиула. Полосатые дети ее возиикли точио из-под земли.

Барсук сделал нспугаиный прыжок, застрял было в болотце и, ускребаясь всеми четырьмя лапкамн, пробуравил тиииистую поверхиость до укрывшей его осоки. Свииья и поросята бросились в болото. Веприца погрузилась в грязь по самые иоздрн.

Алексей поймал ее в вндоискатель аппарата и щелкнул затвором. Какой выстрел охотиика мог сравнпться с этим мгиовеиием!

Рысь упала иа замешкавшегося поросеика н сломала ему спииу. Пронзительно-жалобиый визг детеныша свииья услышала, когда рысь, бросив бьющуюся на земле жертву, взлетела на спасительный сук. Пушистые бакеибарды хищиицы раздулись. Прнжав ушн к голове, она втянула в рот тоикие чериые губы и выставила клыки. Алексей был потрясен стремительностью движений разъяреииой веприцы. Точно на крыльях перелетела оиа из болотца к умирающему поросеику н грозно встала иад иим. Вепрята сбилнсь к ней под брюхо, задкамн вместе, рыльцамн врозь, и отчаяино расхрюкалнсь, точио дети расплакались. Клубы пены выступили иа оскалеииых челюстях разъяреиной веприцы, обиюхивающей воздух.

Вдруг оиа учуяла человека н бросилась иа него. Алексей, все время державший ее в поле зреиия объектнва, машинально щелкиул затвором аппарата н отскочил в стороиу. Свииья, как снаряд, проиеслась мнмо. «Какой снимок!» — радостио подумал он и в два прыжка очутился за другнм деревом. Но веприца снова кинулась иа него. И сиова он увериулся от стремнтельного ее напора и перескочил к дереву по направлению к дому. Разъярениая гибелью детеныша, свинья не прекращала преследования (об этом Алексей инкогда ие читал и ии от кого ие слышал). Веткн сорвалн с головы Алексея фуражку, исцарапали ему лицо, руки, пот заливал глаза.

Потеряв на минуту врага, свинья останавливалась, нюхала воздух. Бока ее ходили, точно у загнанной лошади. Обнаружив Алексея, она бросалась на него, и снова начинались молниеносные прыжки. В один из таких прыжков веприца задела Алексея. Он отлетел в сторону, упал, невольно вскрикнув, но все-таки успел укрыться за стволом дуба.

Вдруг он услышал какой-то шум сзади. Оглянувшись, увидел Дымка. Пес мчался от домика к лесу. Острые его уши мелькали в высокой траве. Со злобным лаем Дымок набросился на свинью и вцепился ей в ляжку.

Веприца стряхнула с себя собаку и накинулась на нее. Но, как и человек, собака сделала прыжок в сторону, и свинья пронеслась мимо. Дымок снова налетел на нее и, рванув, отбежал в сторону, отвлекая свинью от своего хозяина. Алексей поспешил к домику. Навстречу ему Вера бежала с ружьем в руках. Бледная, испуганная, она протягивала ему двустволку и чуть слышно шептала:

— Лешенька! Лешенька!..

Визг свиньи и лай Дымка откатились в сторону. Алексей приблизился к лужайке. Разъяренная веприца стояла, прижавшись задом к дереву, и только хрюкала, не решаясь больше нападать на увертливого, неуязвимого Дымка.

Увидев человека, свинья теперь испуганно шарахнулась от него, успев все-таки рвануть зубом Дымка. Тот завизжал, покатился в траву.

Вера и Алексей подняли собаку и понесли домой. Левый бок Дымка был разорван от плеча до живота. Дома они положили его на стол, промыли, зашили и забинтовали рану.

Пес лежал неподвижно, тихонько повизгивал, лизал руки своей хозяйки.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лето для тетеревиной семьи прошло как один длинный день, полный познания жизни, накопления опыта.

Чему только не научила Терентьевна проворных и резвых своих птенцов! Тетеревята уже перепархивали над зеленым морем травы на детских своих крылышках. По окрику матери превращались в невидимок, замерев, где случится: под листом лопуха, между бородавками кочек,

в сплетениях корневищ. Овладели искусством лова кузнечиков. Увертливые и глазастые, как долго те были неуловимы и как изводили тетеревят!

Нескладный еще, длинноногий тетеревенок, подпрыгнув, бросался на кузнечика, но промахивался и, перевернувшись в воздухе, падал вверх лапками.

Терентьевна видела это и как бы смеялась про себя над неопытностью своих детей. Потом, затаившись в траве с вытянутой шеей, без суеты и прыжков, на глазах у всего выводка склевывала одного, другого кузнечика. Еще и еще. И вся орава на всю жизнь усваивала наглядный урок.

А уменье распознавать врагов по еле уловимым признакам! Они уже знали, от кого надо вспорхнуть, от кого спасаться бегством, а взлетать ни в коем случае нельзя.

Все эти занятия не мешали тетеревятам набивать зоб. И сколько же лакомств научились находить они! Но как измучилась с беспокойным своим семейством Терентьевна! И особенно с самым своевольным из всех — первенцем. Упрямый, он считал, что муравьиные яйца, зеленые гусеницы, ягоды земляники и костяники, отысканные самим, во много раз вкуснее найденных матерью.

— Кью-кью!..— волновалась Терентьевна, с риском для себя и всего выводка поднимаясь на колодины и кочки, чтобы разыскать непослушного сорванца.

В самом раннем младенчестве, когда хвостики птенцов еще кончались тупой щепотью мягких, наполненных кровью пеньков, тетеревенок далеко убежал от выводка и был поражен неожиданной встречей: на кочке, свернувшись в красивое серое кольцо, лежала змея.

Обеспокоенная Терентьевна призывно и взволнованно сыпала свое «ко-ко-ко!», а он замер у кочки с приподнятой от удивления лапкой.

Холодные глаза гадюки, не мигая, уставились на него, он ощущал и парализующий страх, и желание клюнуть змею в глаз. То же испытывает ребенок, когда его неудержимо тянет лизнуть белую от морозного накала железную скобу или сунуть руку в огонь. И тетеревенок клюнул. И тут же от сильного толчка в грудь перевернулся на спину, а змея, сверкая чешуйчато-серой кожей, точно переливаясь с одного места на другое, скрылась в кустарнике.

На отчаянный писк стремительно бросилась Терентьевна, а за ней и весь выводок. Перья обезумевшей от страха матери взъерошились. Оправившись от испуга, тетеревенок долго сидел, втянув голову в плечи. Острый ожог в груди и сонную одурь во всем теле он почувствовал тотчас же. Солнце показалось ему менее ярким, трава не такой зеленой, и совсем не привлекали его даже муравьиные яйца. Задыхаясь, он бродил до вечера с разинутым клювом, с непомерно раздутой грудкой. Жажда томила его. Ночью тетеревенок исчез.

Кто дал ему спасительное лекарство? Как среди безбрежного разлива зелени нашел он жесткое, с остренькими листочками растение? Кто указывает и собаке ту же самую траву — противоядие от укуса гадюки?..

Выхудавший, с облезлой грудкой, но совершенно здоровый, появился он в выводке только через неделю. Вскоре на месте укуса у тетеревенка выросли белые перья. Алексей стал звать его Белогрудым.

Первое серьезное приключение резко изменило характер Белогрудого: он покончил с опасным бродяжничеством.

К осени от многочисленного тетеревиного выводка уцелели только серенькая тетерка, названная Алексеем Клу-Клу, угрюмый, хроменький заморыш — Недопарыш и он, убравшийся в сине-черное перо, с чудеснейшим лироподобным хвостом и карминно-красными бровями, совсем уже взрослый красавец тетерев — Белогрудый.

Три тетеревенка попали на зубы «чумы здешних мест» — старой желтоглазой лисы. Двоих, отбившихся в сторону, задолбила куцехвостая сорока. Одного унес сапсан. Жалкий писк братишки в кривых ногах хищника научил Белогрудого, прежде чем вылетать из спасительных кустарников, так же как и мать, поднимать голову и оглядывать небо.

В эту пору лета лес был полон молодыми бродягами: зайчатами, барсучатами, лисятами, только что поднимающимися на крыло птенцами. Они делали «первые шаги», учились жизни. Многие погибали.

Однажды чуткое ухо Алексея уловило шелест травы: невдалеке появился нескладный еще, круглоголовый лисенок-«позднышек» Длинный его хвостик был плохо опушен, и весь он, в короткой белесо-рыжей шерстке, больше походил на ушастого котенка. Лисенок подкрадывался

к кому-то. Желтые глаза его были расширены, черный нос вздрагивал, тело напряжено.

Алексей затаил дыхание. Вдруг лисенок прыгнул. Но того, что произошло в следующий момент, ни звереныш, ни человек — свидетель первой самостоятельной его охоты — не ожидали. Терентьевна налетела на лисенка, как буря. Шум от удара крыльев разносился по всей опушке...

Оглушенный лисенок выпустил пойманного им Недопарыша, завизжал, обхватил голову лапками и попятился чуть не под самые ноги Алексея. Терентьевна била лисенка крыльями по голове. Но вот растерявшийся вначале звереныш рассвирепел, бросился на птицу и вцепился ей в крыло. Тетерка опрокинулась на спину и, вероятно, погибла бы, если бы ей не удалось клюнуть лисенка в глаз. Лисенок взвизгнул, бросился бежать. Терентьевна поднялась и, волоча прокушенное, окровавленное крыло, заковыляла к задавленному тетеревенку. Измятая, слабая от потери крови и отчаянной борьбы, мать пыталась головой поднять беспомощно вытянувшегося Недопарыша, заходила то с одной, то с другой стороны и как-то по-особенному поквохтывала, точно упрашивала его встать. Казалось, она плакала. Потом, очевидно поняв бесцельность своих усилий, Терентьевна собрала уцелевших детей и заковыляла с ними подальше от опушки.

Прокушенное, испачканное кровью ее крыло волочилось, как перебитая рука.

Дома Алексей и записал и зарисовал подсмотренную им драму в лесу, так живо изобразив и крадущегося большеголового лисенка, и самоотверженную, воинственно взъерошенную мать, что Гордюша с трудом удержался от слез, так ему было жалко хроменького Недопарыша.

— Как ни грустно, а придется отстрелять и старую Терентьевну!.. Иначе лиса и ее задавит, и остальных тетеревят передушит.

...В домике, затерявшемся в лесах Междуречья, все давно уже спали. Не спал лишь Алексей, сидевший за рукописью своей поэмы.

День, проведенный с глазу на глаз с природой, казалось, намного обогатил его. Он вобрал в свою душу и воркующие кристально-чистые роднички, и немолчный лепет таких же прохладных, светлых ручьев Гулкого холма,

свист, щебет птиц, потаенную жизнь лесных обитателей. И от этого сам стал чище, светлее.

Ему было жаль людей, лишенных счастья слияния с жизнью природы. Они, думалось ему, в немоте городских своих казематов живут с закрытыми глазами, тогда как перед ним ежедневно открывается мир, полный тайн и чудес, которые он видит и о которых расскажет людям.

Размышляя так о горожанах, Алексей и сам как бы умышленно надевал шоры на свои глаза. Такова уж была его натура: влюбленный в тему, он погружался в нее весь. И, как во всякой иной любви, любимое заслоняло от него остальной мир.

Чтоб писать, ему необходимо было глубокое убеждение в нужности, важности своей работы. Новую книгу Алексей считал своим — сыновним — долгом по отношению к матери-природе.

Он верил, что его книга позовет человека в лес. А общение с природой, где все просто и мудро, сделает человека духовно богаче, а его сердце — более отзывчивым и чутким.

Родные места лесной поляны! Как памятны они Белогрудому муравьиными кочками, ягодами земляники и костяники, кустарниками черносмородиннника, где так сладко было вытянуться в летний зной на прохладной земле! А серебристый песок на отмели у ручья, где столько раз принимал он горячие целебные ванны под неусыпным взглядом заботливой и осторожной матери... И все же Белогрудый покинул родные места. Это произошло неожиданно. Рано утром, когда на блеклых, схваченных первым инеем травах еще дрожали ртутные капельки росы, у излюбленного места жировки тетеревиной семьи, на брусничнике, появился бородатый охотник с ружьем, с мальчиком и остроухой собакой...

— Сейчас появятся они: видишь, муравейник только что расчесан их лапками,— шепнул Алексей сыну. Гордюша понимающе кивнул: на развороченных кочках он увидел и оброненные тетеревами перышки.

Терентьевна чуть слышно «кекнула». Белогрудый замер между двух кочек, усыпанных брусникой. Мать и Клу-Клу были почти рядом. Огромная собака шла пря-

мо на них, морда ее была приподнята против ветра, ноздри влажного черного носа шевелились...

Сердце Белогрудого билось часто-часто, но он лежал, не дрогнув ни одним перышком. Он видел и собаку, и людей-великанов, и лежавшую невдалеке мать.

Собака совсем близко. Но что это? Терентьевна поднялась и, сгорбившись, как старушка, побежала, волоча раненое крыло, прямо на собаку. Раненое крыло задевало о стебли травы и кочки, она тихо стонала.

Белогрудый не мог оторвать глаз от матери. До собаки уже не более трех-четырех прыжков: огромный зверь увидел птицу. Сейчас он схватит ее. От страха за мать Белогрудый на мгновенье закрыл глаза, а когда открыл их, между Терентьевной и собакой было не более одного прыжка.

— Киик! Киик! (Лети! Лети!) — услышал он голос матери и, оттолкнувшись сильными ногами о землю, с шумом взлетел.

В тот же миг перед самым носом собаки подпрыгнула и Терентьевна, намереваясь отвести опасного зверя в сторону от своих детей.

Оглушительный удар взорвал тишину поляны. Коричневые перья закружились над землей. Но этого не видел Белогрудый: в стремительном полете молодой черныш рассекал грудью холодные струи прозрачного осеннего воздуха.

Дальше, дальше улетал он от родных, обжитых мест.

Гордюша поднял убитую Терентьевну. Алексей взял Дымка за ошейник и отвел в сторону от уцелевшей Клу-Клу.

— В будущем году здесь будет новый выводок тетеревов,— негромко сказал он сыну.

В Междуречье Алексей вскоре перезнакомился с окрестными лесниками, с охотоведами заповедника — со всеми, кто любил природу, охранял ее.

«Как можно глубже запустить корни в землю,— записал он у себя в блокноте,— а когда запущены корни и почва для них подходяща, непременно появятся ростки и потянутся вверх — к солнцу...»

Под корнями Алексей понимал себя со своей неукро-

тимой страстью к познанию природы и человека. Под землей — людей, окружающих его.

«Есть горюны-плакальщики о природе, считающие, что, чем сильнее горюют они о ней, чем больше проливают слез о ее гибели, тем достойнее выполняют гражданский долг свой. Нужно не только негодовать и сожалеть о ее гибели, но и делать все возможное, чтоб сохранить ее, помогать ей.. Человек в конце концов добивается того, что ставит себе целью. Моя цель — книга, которая должна привить не только платоническую, но и действенную любовь к природе; ведь любить — это значит творить!»

Эти свои мысли Алексей подкреплял, читая Вере отрывки из книги того же уолденского мудреца — Генри Торо.

— Послушай: «Теперь мы не знаем, что значит жить под открытым небом, и жизнь наша стала домашней больше, чем мы думаем. От домашнего очага до поля — большое расстояние. Нам, пожалуй, следовало бы проводить побольше дней и ночей так, чтобы ничто не заслоняло от нас звезды, и поэту не всегда слагать свои поэмы под крышей... Птицы не поют в пещерах...» Природа и лучший пример, и великий лекарь. Горожанин, даже одно воскресенье проведший в лесу, возвращается набравшимся сил на целую неделю.

Алексей понимал: нельзя замыкаться только в своей семье, в своей книге, на одном своем лесном обходе... Он старался связать свою работу с ближайшими школами. «Нештатный учитель лесной премудрости» — с улыбкой называла его Вера.

— Мне хочется,— отвечал он ей,— чтобы все полюбили природу с детства, а в букварях, в школьных учебниках так мало говорится о ней!..

И на новоселье, сразу же после знакомства с лесником — старым, житейски мудрым Мартьянычем, сторожка которого была в дальнем углу массива, Алексей пошел в дубравинскую школу. Пустые классы — ученики были отпущены на летние каникулы,— уставленные партами, классные доски с не стертыми еще решениями экзаменационных задач, следы чернильных пятен на полу — как все это было дорого его сердцу!..

Только что назначенная заведующей школой полная, румяная Галина Герасимовна, узнав, кто он и по какому

вопросу пришел, обрадовалась и поспешно повела гостя в пришкольный садик с десятком чахлых кустиков малины и крыжовника, сиротливо приютившихся в уголке на заросшем бурьяном пустыре.

С двух слов они поняли друг друга.

— Алексей Николаевич! Помогите!..— сказала Галина Герасимовна. И Алексей ушел из школы только после того, как был составлен план его первой беседы в дубравинской семилетке.

Объявления о беседе вывесили в сельсовете, у почты и на воротах школы.

В сентябрьский воскресный день на встречу с писателем-лесолюбом собрались не только ученики дубравинской школы, но и их родители — колхозники, работники лесничества, комсомольцы, служащие почты и сельмага.

Пестро и шумно было на школьном дворе.

Галина Герасимовна распорядилась вынести парты из всех классов на двор.

Со смехом и шутками размещались на партах и ученики и взрослые. Бабку с седым волосатым подбородком усадили поближе к столу. Старуха, поставив костыль, посматривала вокруг любопытными глазами из-под клочкастых серых бровей.

На первую парту, рядом с собой, Галина Герасимовна посадила Гордюшу.

Мальчик с обожанием смотрел на отца. Алексей был в пиджачной паре и шляпе. Он, как всегда, немного волновался перед началом беседы. Вот он подошел к столу, положил на него толстую папку, снял шляпу. Стало так тихо, что Гордюша услышал свист синицы.

Ветерок шевелил волосы на голове и бороде Алексея.

Внимательным взглядом он окинул ряды сидящих перед ним и, все еще волнуясь, заговорил:

— Полустолетие тому назад население земного шара было потрясено грозной новостью. Известный английский ученый — физик Вильям Томсон подсчитал, что запасы атмосферного кислорода катастрофически иссякают. Он уверял, что поглощение кислорода дыханием людей и животных, сжиганием каменного угля в стремительно развивающейся промышленности угрожает всему живому на земле гибелью от удушья. «Пройдет не более пятисот лет,

и все, что живет и дышит, будет застигнуто смертью...» — вещал английский ученый.

Алексей рассказал, что подсчеты и доводы знаменитого физика были так доказательны, авторитет его так огромен, что вся мировая печать только и занималась обсуждением грозного пророчества. Газеты даже требовали запретить сжигать каменный уголь на фабриках и заводах — призывали назад к ручным станкам. И вдруг в хоре растерянных, испуганных людей прозвучал спокойный и решительный голос из России: «Томсон ошибся. Ни люди, ни животные не исчезнут с лица земли — они будут спасены зеленым листом растений».

Молодой русский профессор — ботаник Климент Аркадьевич Тимирязев, отдавший много лет раскрытию тайны жизни зеленого листа, выступил против ошибочных выводов знаменитого английского ученого.

«Лес, хлебные злаки, травы во время роста поглощают вредный для человека и животных углекислый газ и вырабатывают в зеленой своей лаборатории кислород. Томсон недоучел спасительную роль растений и потому ошибся. Один гектар леса может поддержать дыхание тридцати человек, гектар кукурузы — ста пятидесяти человек. Лесов на земле три миллиарда гектаров. Леса нужно беречь, и они спасут человечество от гибели»,— писал Тимирязев.

— Вильям Томсон,— продолжал Алексей,— изучил возражения молодого русского профессора и, согласившись с ними, печатно признал свою ошибку...

Из этого примера вы видите, что лес — источник здоровья человека. Но лес и друг земледельца: он смягчает климат, охраняет поля от губительных суховеев. Лес — наша гордость. Чем больше мы узнаем его, тем больше любим. Но мало только любить лес, надо научиться разумно хозяйствовать в нем, растить и охранять его!..

Девушка-комсомолка в голубой кофте, опоясанной черным лаковым пояском, сидела близко к столу. В синих детски чистых глазах и во всем лице ее была такая радость, точно это не Тимирязев, а она посрамила ученого Томсона.

Огромный, тучный кудрявый лесник в суконной поддевке снял с головы фуражку и в волнении мял ее. Сидевшая рядом с ним высокая сухощавая женщина хозяйственно отобрала у него фуражку и положила на парту,

— Как он ее, английскую-то знаменитость, на весь мир усадил в лужу, батюшки! — не сдержавшись, восхищенно сказал лесник утробным басом, ни к кому не обращаясь.

На лицах большинства сидящих было гордое торжество за достижения русского ученого, за его победу над знаменитым англичанином, напугавшим человечество неминуемой гибелью. Но обостренным сознанием Алексей ощущал, что нет еще у слушателей настоящего понимания роли леса в жизни человека, что законное чувство торжества в их душах, вызванное победой русского ученого, вытеснило и заслонило все другие чувства.

Алексей сделал минутную паузу, оглядел окрестности школы, стоявшей на бугре. Утром прошел дождь. Высокое, по-осеннему холодноватое солнце закрыла тучка, и все вмиг потускнело. Оловянная от лужиц дорога вела к широкой вырубке. На месте сведенного леса, среди пней топорщилась молодая березовая поросль, измученная, обглоданная скотом. Крупный — «мачтовый» сосняк, точно в испуге отбежавший от людского поселения, казалось, притих, задумавшись о надвигающейся угрозе электрических пил, снежных бурь, жгучих зимних морозов...

Алексей оторвал взгляд от высокой ровной стены желтых стволов, от зеленых вершин и с жаром, точно защищая близкого друга, заговорил:

— «Дерево — вечная красота»,— писал Лев Толстой. «Леса учат человека понимать прекрасное»,— устами доктора Астрова выразил свое отношение к лесу другой наш замечательный писатель — Чехов.

А теперь послушайте, что сказал писатель Мельников-Печерский в романе «На горах» об отношении русского человека к этой «вечной красоте»: «Русский — прирожденный враг леса: свалить вековое дерево, чтоб вырубить из сука ось либо оглоблю, сломить ни на что не нужное деревце, ободрать липку, иссушить березку, выпуская из нее сок либо снимая бересту на подтопку,— ему нипочем. Столетние дубы даже роняет, обобрать бы только с них желуди на корм свиньям».

В его словах много горькой правды: чтобы вырастить дерево, требуются десятки, а иногда и сотни лет, спилить — минуты. И потому вырубать лес нужно разумно.

Любимцем Алексея был сибирский кедр — могучее

и драгоценное дерево, о красоте и ценности которого он всегда говорил особенно горячо.

Все — от величественного его шатра, необычайно густой, длинной, темно-бархатной хвои, красивой, словно мглистый мех булгунского соболя, до кедровых шишек, полных вкусных орешков,— он живописал, как любимую женщину.

— Кедр! Нет краше этого дерева в нашей стране! Мои земляки — сибиряки говорят: «В черном пихтаче да в ельнике — на погосте лежать. В березняке — хороводы водить, плясать и веселиться, а в кедраче — богу молиться».

Алексей сообщил своим внимательным слушателям, что нет более ценного по своей калорийности и вкусовым качествам продукта, чем кедровое масло. Жирность кедровых орешков достигает восьмидесяти процентов, а кедровые сливки, приготовляемые сибиряками, в три раза питательнее сливок из коровьего молока. С одного кедра снимают урожай орехов от двадцати килограммов до центнера. Продолжительность жизни кедра в три-четыре раза дольше сосны. К почве кедр на редкость неприхотлив — растет даже на голых скалах, на суглинках. Не боится ни летней жары, ни пятидесятиградусных морозов...

— Гектар кедровников, по подсчетам ученых, дает немногим меньше, чем гектар сельскохозяйственных угодий. Но этот гектар не надо ни пахать, ни обсеменять. В кедрачах добывают ценнейших соболей и белку. А на родном моем Алтае кедровники безжалостно уничтожаются лесозаготовителями на древесину. Это все равно что рубить голову курице, которая несет золотые яйца!

Комсомолка в голубой кофточке с синими детски ясными глазами вскочила с парты и, по школьной привычке подняв руку, остановила докладчика:

— Дайте, дайте мне сказать!

Алексей подошел к девушке и сказал:

— Пожалуйста.

— Да как же, как же можно терпеть эдакое преступление? Товарищ Ленин за срубленную елку... Помните, помните, в парке,— строго карал...— Девушка так волновалась, что теряла нить мысли.— Кому же, каким деревянным душам доверен драгоценный кедр, раз они на дровяные кубометры режут?!

— Ну, может, не на дрова, на карандаши и на другие поделки, но все равно, не выборочные, а сплошные рубки кедровников на Алтае ничем оправдать нельзя.

Алексей увидел, что все его слушатели, как и комсомолка, возмущены преступной бесхозяйственностью лесозаготовителей.

— При хорошем уходе,— продолжал беседу Алексей,— кедр начинает плодоносить с двадцатилетнего возраста. И если каждому из вас вот на этом пустыре удастся вырастить хотя бы одно-два дерева, получится красивейшая кедровая роща, которая будет давать вам и детям вашим ценнейший продукт до старости... Здешние почвы — благодатнейшие для посадок кедра. Трехлетних кедренышей мы возьмем в нашем лесничестве.

По лицам ребят, по тому, как загорелись у них глаза, Алексей чувствовал, что слова его не пропадут даром.

Говорил он и о песенной исконно-русской березе. О кудрявой ее листве, о стволе, подобном колонне из белого мрамора, о железной твердости древесины.

Рассказал Алексей и старую сибирскую легенду о том, как, одолев Уральский каменный пояс, за несколько лет до прихода Ермака, на берегах родного его Иртыша неожиданно стали вырастать березы. Кучум приказал под корень рубить белые деревья. Но на месте одной срубленной березы вырастала целая дубрава. А вслед за березами в Кучумово царство пришли русские люди. И где только ни ступала нога нашего землепроходца — тотчас же появлялись березы.

— Ученые, раскрыв законы жизни леса, его неустанную борьбу за свое место под солнцем, объяснили появление светолюбивых берез от Уральских гор до Тихого и Ледовитого океанов их легкими — крылатыми семенами...

Самое долголетнее дерево в нашей стране — тис. Растет на Кавказе и доживает до трех тысяч лет. Наша береза растет до ста пятидесяти, дуб — до трехсот, сосна — до четырехсот, а лиственница — до пятисот лет. Некоторые ели доживают до тысячи двухсот лет.

В Африке сохранилось исполинское дерево — баобаб, возраст которого, по определению ученых, около шести тысяч лет.

Самые высокие в мире деревья — эвкалипты. Они растут в Австралии, а теперь и у нас, в Грузии, их высота достигает более ста пятидесяти метров.

— Матушка ты моя! Сто пятьдесят метров! Да как ее этакую и валить-то, сердешную! — снова, не сдержавшись, забасил дородный кудрявый лесник. И снова сидящая с ним сухая длинная женщина с белыми ресницами хозяйственно-строго посмотрела на него.

— Рисунки и снимки этих редких деревьев у меня с собой, и я вам их покажу в конце беседы.

Алексей развязал папку. Сидящие неподвижно на партах слушатели зашевелились, зашептались. Некоторые из ребят с задних рядов подвинулись ближе.

— В нашей стране растет треть лесов всего земного шара,— продолжал Алексей.— Это наше народное богатство — «зеленое золото», как справедливо называют лес. Потребовалось бы много времени, чтоб только перечислить применение его в жизни человека. Не буду говорить того, что известно всем, а скажу только, что из дерева вырабатывают искусственные шелк и шерсть, дерево-металл, по прочности превосходящий железо, древесный и винный спирт, сахар и глицерин, пищевые дрожжи, лаки, ароматические вещества, скипидар, пихтовый бальзам, целлюлозу, кинопленку, камфару, канифоль, витамины, лекарства и многое другое...

Гордюша не спускал глаз с отца. С соседней парты до него донесся сдержанный голос бородатой бабки:

— Я-то век прожила, только ягоды и грибы знала и искала в бору, а в нем, оказывается, и сахар и спирт...

Мальчик покосился в сторону бабки. В умных глазах старухи плескались лукавые искорки.

— Не только в царской России,— продолжал Алексей,— но и в Америке, и в западноевропейских странах при хищничестве частных хозяев не было обстановки ни для развития лесной науки, ни для развития высокой техники использования древесины. Нам не у кого было учиться, самим пришлось перестраивать лесное наше хозяйство на основах науки. Русские ученые первыми в мире создали цельное, стройное учение о лесе. Сейчас в нашей стране вопросы сбережения леса, разумного его использования, лесовозобновления, создания новых, быстрорастущих, красивых и полезных деревьев, развития садоводства — одна из важных забот Советского

правительства. А у вас, ребята, школьный участок зарос бурьяном! Под окнами ваших домов нет ни одного кустика.

А какая, если бы вы только знали, увлекательнейшая работа — вмешиваться в жизнь растений! Низкорослых делать высокорослыми, ускорять зрелость, улучшать качество древесины.

Он взглянул на часы и удивился, как быстро пролетело намеченное для беседы время.

— В следующих встречах я вам расскажу о кружках юннатов, о том, как они изучают нашу природу, помогают лесникам беречь лес, охраняют полезных птиц и зверей от браконьеров.

Щеки Алексея раскраснелись, он уже видел преображенным этот школьный пустырь и изуродованную скотом березовую поросль на вырубке за деревней, видел обсаженные дороги, облесенные овраги, молодые шумящие лесосады. Видел прекрасный завтрашний день родной страны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Алексей любил глухую, задумчивую пору осени в смолкшем лесу, когда березы с едва уловимым шорохом роняли на землю золотые кованые листья, когда седая паутина, как нетающий иней, висела на елках и соснах, радужно переливаясь на солнце.

А как после ночного дождя и первого раннего заморозка на рассвете ломко потрескивали под ветром оледенелые стволы и ветви берез!

Печальная краса смирившейся, готовой погрузиться в глубокий зимний сон природы трогала его не менее волнующего пробуждения земли весной. Как и летом, целые дни он проводил в лесу, жадно вдыхая сладковатый аромат опавшей листвы, любуясь переливами багряных, бледно-розовых, охристо-желтых и пунцовых красок.

И без того скупое солнце окутано туманом. В лесу тихо. Печальное цвинькание синицы да дробный перестук дятла — все, что осталось от летнего многоголосья.

Тихо и в душе Алексея. Спокойно, ясно и чуть грустно — московские раны, отболев, затягивались, почти не ощущались.

— Да, любить можно только то, что хорошо знаешь!— убежденно сказал Алексей и окинул глазом зубчатую стену леса.— По-настоящему активной, творческой любовью любят лес, мне кажется, только труженики-лесоводы, а зверей и птиц — охотники-натуралисты, зоологи, охотоведы...— Алексей думал вслух, что случалось с ним только в минуты душевного покоя.

Он подошел к молодой сосне с голубовато-зеленой раскидистой кроной, с блестящей, сочной, точно отлакированной хвоей, поднявшейся на несколько метров над своими захудалыми сверстницами, и погладил прямой золотистый ее ствол. Алексей давно не был в этой отдаленной части «своего» леса и чувствовал даже некоторое смущение: ему казалось, что деревья смотрят на него с укором: «Что же ты бросил-то нас?»

— Шумишь!.. Ну расти, расти... Ишь ты, какая вытянулась!..

Молодая сосна с розовой мякотью древесины, с ярко отграничившимися годичными кольцами казалась ему здоровой, сильной, красивой девушкой.

Биография любого дерева открыта Алексею. Он хорошо понимал, почему сосна эта поднялась выше других, а близкие ее подруги скривились и зачахли.

Еще в ранней юности незабвенный его друг — фанатик садоводства и лесоводства — самоучка Матюша Коноплев рассказывал ему, от чего зависит сила роста мужающих деревьев. Вместе с ним Алексей занимался исследованием почв, опытами с пересадками молодых деревьев, разреживанием и скучиванием их. Они рассматривали в лупу изящные кружевные рисунки сосудов и волокон древесины, подсчитывали, какое огромное количество деревьев гибнет в возрасте от двадцати до тридцати лет. Задумывались, что и как нужно делать, чтобы войны между деревьями не было, чтоб жили они, не уничтожая одно другое.

Позже юношеские свои познания Алексей углубил чтением классиков лесоводства. И теперь, когда ему представилась возможность широкой практики, он превращал вырубки, гари, пустыри в опытные участки. Внимательно следил за жизнью своих питомцев, производил обмеры, делал записи: стремился доказать и самому себе, и московскому ученому — своему другу, что

и один человек в лесу может сделать не так уж мало. И что самое важное для человека: оставить хотя бы и небольшой по себе след — дело, которым ты жил.

Из дому Алексей вышел на рассвете: в дальнем конце обхода, у границы Междуреченского заповедника появились лоси. До полудня он наблюдал лосиху с теленком и сохатого-рогаля. Подкрался к ним из-под ветра так тихо и стоял так незаметно, что, как ни вывертывал лопушистые уши могучий ветвисторогий бык, как ни раздувал широкие ноздри — ничего не услышал и не учуял. Алексей ушел, не потревожив гостей. Он рад был их приходу. Думал, как бы удержать лосей на этом болоте всю зиму, где они вполне застрахованы от пули браконьера. И долго еще перед ним стояла подбористая, как скаковая лошадь, саврасая матка с фиолетовыми глазами, в которых залегла лесная дрема. И сейчас он бережно хранил в себе эту радость: лосиху, темного, почти черного сохатого, легко схватывающего на ходу зубами, точно стальными клещами, ветки толщиною в руку, и тычущегося в вымя матери рыженького лосенка он зарисовал в альбом. Радостно было думать, что бродячую эту семью лосей со страниц его книги увидят миллионы читателей среди живой, вольной природы, а не за перегородками зоопарков.

Алексей сидел неподвижно, прислонившись спиною к стволу сосны. К ногам его упала шишка: ее обронила белка. Разглядывая, куда она упала, белка заметила человека. Зверек спустился в полдерева и, забыв про шишку, стал рассматривать бородатого великана.

Алексей давно заметил белку и потихоньку наблюдал, как она, преодолевая страх, стала спускаться еще ниже. Маленькая ушастая головка с черными глазами, поднятый трубой хвост были совсем близко от него, но белка уловила колебание груди человека и, испустив громкое: «Цоцо!», вспорхнула по стволу до самой кроны.

Тревожный крик ее помог Алексею обнаружить сидевшего в гуще ветвей на соседней сосне старого глухаря. Птица вздрогнула и, собираясь лететь, подобрала крылья, передвинулась на открытую, закачавшуюся под нею ветку, но, увидев белку, успокоилась, стала перебирать клювом перья. Время от времени глухарь, вытянув шею, прислушивался к невнятным шорохам леса.

Заряженное ружье стояло рядом, но Алексей не притронулся к нему: голубино-сизый отлив на груди старого глухаря чем-то напоминал ему фиолетовые глаза лосихи.

Вдруг в чаще осинника назойливо застрекотала сорока. Алексей взял в руки ружье. «Идет волк. Уж не к моим ли лосям?» — тревожно подумал он и поднял курки, но зверь, сопровождаемый, как всегда, сороками, прошел стороной. Алексей с сожалением прислонил ружье к дереву: «Метров бы с сотню полевее, и я бы избавил моих лосей от опасного соседа».

Тучи набухали весь день. Ниже и ниже опускались на землю. Вот они почти над самыми соснами. Повалил первый снег.

Торжественно-тихо стало в лесу. Закинув ружье за спину, Алексей вышел из-под защиты ветвей. Глухарь, сорвавшись с дерева, быстро пропал из глаз. Крупные мягкие хлопья, кружась, падали на мокрую землю, и Алексей охотно подставлял им свои плечи, точно собирался унести первые снежинки, как подснежинки, с собою в дом.

Радость хозяина, оберегающего родную землю, усилилась при виде ожидающих его жены и сына: подставив головы первому снегу, они стояли на крыльце. Где-то невдалеке «плотничал» дятел. Алексею захотелось позоричать: он поднял сосновый сучок и несколько раз отрывисто постучал им по дереву. Непривычно ново разнесся звук в побелевшем мертвом лесу. Дятел смолк, а вскоре почти над самой головой Алексея раздался его пронзительно резкий крик: «Кек! Кек!»

Прячась за деревьями, Алексей перебежал на другое место и вновь постучал сучком по стволу. Дятел снова подлетел к нему и, сев на дерево, стал высматривать неизвестно откуда появившегося в его владеньях «чужого дятла». Алексей спрятался за ствол сосны под окном домика и воинственно «кекнул» — в точности, как дятел.

— Спрячьтесь!— шепнул он смеявшимся Вере и Гордюше.

Пестрый красноголовый дятел опустился на сосну так близко, что все они рассмотрели яркий его кафтанчик, сильно потертый хвост — там, где работяга дятел опирается на него, лазая по деревьям.

Вытягивая шею, «плотник» озирался по сторонам, вверх, вниз, отыскивая дерзкого собрата.

Вера и Гордюша, едва сдерживаясь от смеха, глядели на прячущегося за сосной Алексея и на одураченного им дятла. Алексей вышел из-за сосны.

— Хоть ты и Феофан Туктуков, а дурак! — сказал он дятлу.

Дятел с испуганным криком сорвался с дерева и, часто махая крыльями-нырками, полетел к лесу.

Алексей ходил по комнате. Теплое чувство домашнего уюта, охватывавшее его всегда по возвращении из леса, теперь сплелось с переполнившей все его существо новой большой радостью: первые главы его книги и статья о фауне наших хвойных лесов сегодня получили признание. На столе лежало только что вскрытое и прочитанное им письмо от его старого друга. Известный академик давал им высокую оценку.

Алексей взял письмо и прочитал вслух:

— «Совсем другую картину, вернее, полную противоположность описанных тобой лесов, представляют устроенные леса, точнее, не леса, а парки Европы. Можно без натяжки сказать, что в них на счету каждое дерево. Не им, Западу, учить нас, русских ученых, создавших, как тебе отлично известно, первыми стройное учение о лесе. И не нам механически переносить к себе их опыт. Еще полстолетия тому назад Г. Ф. Морозов справедливо сказал: «Миновала пора «неметчины», то есть простого переноса западноевропейских, преимущественно немецких, образцов хозяйства на русские леса». И не у американцев, погубивших свои леса, учиться нам...

Парковое лесоводство Западной Европы вызвано тем, что их леса исчезают. Но нам, советским ученым, необходимо неустанно воспитывать наш народ в духе бережливого, разумного хозяйствования в чудесных наших лесах. Каждый вид растений и животных, вытесненный и окончательно исчезнувший с лица земли,— потеря для будущей культуры...

Наши школы недостаточно еще прививают детям любовь к родной природе. На людях, изучающих жизнь природы, лежит благодарная обязанность — внушать обществу активную любовь к лесу, к зверям и птицам, зажечь его желанием оплодотворять землю трудом, изменять лицо нашей Родины...» — Алексей посмотрел

на гордых его радостью Веру с Гордюшей и улыбнулся.— «Я очарован первыми главами твоей книги для юношества. Только ясная, вся сосредоточенная на созидательно-творческой любви к природе и к человеку душа могла так поэтично раскрыть движение весны. Такое проникновение в сокровенные тайники природы, к великому сожалению, утрачено не только так называемыми «практическими» людьми, но даже и многими пишущими о природе.

Прости мне мою, может быть, старческую чувствительность (я, наверное, такой же неукротимый мечтатель, как и ты), но я полюбил твою Терентьевну, твоего Белогрудого. Разреши мне эти главы послать в соответствующее издательство. Наш народ, а особенно дети — любят природу. Книги про зверей и птиц, про разумного хозяина в лесу — любимые книги, а их так мало.

Ничему нельзя научиться, ничего нельзя понять «до дна» с наскока, с чужих слов: получится лишь приблизительное — полузнание, полуискусство.

Полностью мир раскрывается лишь тем, кто погружается в него весь, подолгу остается с ним с глазу на глаз. Кто жадно внимает и понимает шум леса и ветра, голоса птиц и переводит их на человеческий язык.

Ты неотделим от своего материала, сплавлен с ним воедино всей душой: звери, птицы, лес, человек в лесу — твоя жизнь, твоя тема. Отдавайся же ей целиком. И обязательно, обязательно не только страстно, но и пристрастно. Уверен, у тебя получится настоящая книга!»

Алексей схватил Гордюшу и, подкинув к потолку, поймал его своими большими, сильными руками.

Как всегда, он сомневался в воздействии своего творчества на души читателей. Письмо ученого-старика и рассеяло мучившее его неверие, и наполнило такой радостью, что Алексей не удержался от искушения, достал бережно хранимую усовершенствованную дедовскую жалейку, обтер ее и приложил к губам.

Инструмент ожил. Комната наполнилась необычными звуками. И звон колокольчика желтоголовой овсяночки, и тонкую, переливающуюся свирель пеночки услышали Вера и Гордюша. Мальчик прижался к матери и закрыл глаза: он любил игру отца на жалейке.

Призывно-страстно замамакал перепел. «Пиули-ти, пиули-ти!» — заиграл на скрипочке куличок-перевозчик. Протодьяконски-октависто отозвалась певунам выпь-ухалица. Захохотала чайка, заплакал чибис. Легкие и прозрачные, как паутина, звуки птичьего хора то усиливались, то сникали до одинокого нежного голоска крошечной певуньи — камышовки. Большие, загрубелые пальцы Алексея перепархивали с клапана на клапан: в птичий хор вступали новые и новые голоса.

Алексей знал, что он начисто лишен музыкальных способностей. Об этом ему говорила еще в школе учительница, попробовавшая привлечь его в ученический хор. Но дядя Матюша, искусно подманивавший к самому шалашу и селезней на весенних разливах, и тетеревов на току, и перепелов в полях, побудил и Алексея постигнуть необходимое для охотника искусство: в конце концов он одолел и подражание птичьим голосам. Но как груда кирпичей — еще не дворец, так всякое наивное подражание, почти механическое копирование звуков, не оплодотворенное таинственной гармонией музыкальной мысли,— не искусство.

Однако Алексей, отлично сознававший свою музыкальную беспомощность, в минуты душевного волнения все же брался за жалейку.

— Нет, какой чудесный старик! Как он тепло отозвался, Верушка! — Алексей помолчал и неожиданно добавил, доставая блокнот: — Вот что я сегодня записал в лесу: «Падает первый снег. Замолк бор. Колонны берез кажутся высеченными из лилового мрамора. Заструились свежие, неведомо где собранные зимние ароматы, более тонкие, чем запахи весенних первоцветов».

...Алексей не спал. Бывают бессонницы не только от забот и огорчений, но и от радости.

В домике все давно затихло. Алексей зажег лампу и, взяв разруганный критиками свой роман, страницу за страницей — в который уже раз! — стал перелистывать его. И за каждой страницей перед ним снова встали дни и ночи минувших годов, полные и горьких сомнений, и тихих радостей.

Отложив книгу, Алексей придвинул рукопись своей поэмы и, как живое существо, погладил ее.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Новый, совсем не похожий на прежний мир. Снег, укрывший и лес, и травы, и кустарники в сверкающую белизною горностаевую мантию, напугал Белогрудого. Весь день тетерев просидел вместе с табунчиком таких же, как и он, молодых чернышей под разлапистыми елями.

А снег все падал и падал. В зобу тетерева было пусто. Брусничники, трухлявый колодник с жирными личинками — все безнадежно погребено под пухлой сверкающей бéлью.

Высоко подняв лапку и осторожно вытянув ее, Белогрудый осмелился шагнуть на снег. Еще и еще. Глубокий след цепочкой протянулся за ним.

На поляне росли высокие, раскидистые березы. На одну из них с знакомым шумом крыльев опустилась стая тетеревов и жадно начала клевать мочку.

Белогрудый оттолкнулся от непривычно мягкой пороши, оставив при взлете на снегу отпечатки зубчатых полукружьев, уселся на ту же березу и долго цапался за гнущуюся под его тяжестью ветку.

Снег наконец перестал. Тетерева набили зобы и сидели тихо, готовясь ко сну. Задремал и Белогрудый.

Совсем стемнело. В небе зажглись звезды. От далекого их сияния снег заискрился холодными блестками. Ничем не нарушаемая тишина царствовала в лесу в этот первый зимний вечер. И вдруг с верхушки березы старый косач, сложив крылья, как пловец в воду, ринулся в сверкающее пухлое ложе. Попадали в снег и другие тетерева. Белогрудый упал последним. Он пробил в снегу глубокую лунку, повернулся влево, вправо, углубляя келью. Потом, действуя головой, как тараном, прошел под снегом и остановился.

Убежище получилось чудесное: тепло и мягко, только немного душно. Белогрудый проделал головой отверстие и чутко заснул. Заснул и белый лес.

Чуть брезжил рассвет за окном. Алексей поспешно оделся. Волнение, как в первые выходы на охоту, охватило его. Бесшумно двигаясь по комнате, он прошел в кухню и, открыв дверь на крыльцо, жадно вбирал в легкие крепкий, точно настой из антоновских яблок, морозный, до колючести острый запах молодого снега и хвои.

Угрюмо темнел лес. Звезды гасли.

Алексей надел приготовленные с вечера лыжи и пошел к лесу. Голубые пенные следы лыжни стелились упругими лентами. Вокруг — первозданная устойчивая тишина, какая бывает только в лесу зимой.

Алексей спешил: ночью он начал работу над главой о зимнем лесе, и ему хотелось встретить солнце на любимом Гулком холме, среди сосен. Побывать в уремнике реки Дубравинки: в царстве рябинников, можжевельников и крушины, где ютилось большинство зимних птиц: красные и голубые снегири, клесты, синицы.

По дороге к Гулкому холму недалеко от домика на поляне — один из его опытных участков: рассаженные руками рокотовской семьи, там растут совсем еще беспомощные, как новорожденные дети, кедреныши и саженцы скорорастущих пород.

Алексей не мог забыть наказ ученого своего друга: «Обязательно заложи опытные плантации, внимательно следи, веди записи: уже столько написано о том, что введение новых скорорастущих пород дает исключительный результат по облесению больших площадей на невозобновившихся лесосеках, а научно обоснованных таблиц не создано...»

Взглянуть на спящих своих питомцев, укрытых пуховыми покрывалами, записать в книжку глубину первого снежного покрова над корнями контрольных саженцев... Без этого нельзя быть вполне спокойным весь день, счастливым ночью — за работой над рукописью.

Эпиграфом к своей книге он поставил слова Гете:

> Много в природе цветов,
> Но одно лишь искусство
> Может в венок их сплести.

Алексей смотрел на прекрасные зимние цветы: на острые шпили елей, на широкие разлетистые подолы их в тяжелом уборе снега, на кроны мачтовых сосен. Все сказочно, пышно, как морозный узор на стеклах окон!..

А вот и Гулкий холм — точно вычеканенный из бронзы и серебра.

Вблизи холма, тоже на поляне, пушистые, как вздыбившиеся зайцы, саженцы скорорастущих деревьев... И надо всем этим — густо-синее, почти ультрамариновое, ежеминутно меняющееся в рассветный час небо...

Алексей взбежал на один из отрогов Гулкого холма с раскрасневшимся лицом. Снял шапку, кудрявый парок поднимался от горячей, влажной его головы. Заревым — розовым и голубым — искрился снег. Волны спящих лесов, убранных в нежнейший иней до последней иголки, обступили Алексея со всех сторон.

Небо начало стремительно розоветь, и вдруг окраек его залился жидкою позолотой: это выплыло солнце. Искристый зимний день покатился над белыми пушистыми лесами. На самый верх выметнувшейся на поляну елки сел красногрудый снегирь. Нарядный, словно рождественская игрушка, он повернулся навстречу солнцу, отрывисто свистнул и полетел на кормежку в можжевельник.

Последнее, что запечатлелось в памяти в это розовое тихое утро,— кружевная заиндевевшая паутина, вытканная еще осенью пауком между двух сосен. Под утренним солнцем она сверкала, как бриллиантовое ожерелье.

Домой возвращался по окрепшей атласистой лыжне, ощущая себя точно вымытым, с чистым и новым сердцем.

После этой первой ранней прогулки на лыжах Алексей без обычных для него сомнений почувствовал, что глава, к которой он так долго готовился, созрела в его душе.

«Итак, всю зиму, все длинные вечера — писать, писать...»

Отзвенел морозный январь. Эти дни тетерева проводили в снежных своих кельях, вылетая только утренними и вечерними зорями на заиндевелые березы, чтоб наскоро набить зобы горькой мочкой.

Отшумел вьюжный февраль — месяц песен больших синиц. А вскоре и зародилось то безумие, которое долго не оставляло Белогрудого.

Карминно-красные брови тетерева с каждым днем набухали все больше и больше. Белогрудый стал непоседлив, стремителен в полете: в глазах у него рябило, встречная струя ветра так сжимала грудь, что трудно было дышать, а он все убыстрял и убыстрял полет.

Садился черныш на самые макушки берез. С мерзлых ветвей низвергался косматый поток инея, и долго еще сверкающие его иголки, точно звездная пыль, радужно переливались на солнце.

Но мучительное беспокойство не оставляло Белогрудого, куда бы он ни залетел, казалось, оно гонится за ним...

Розовым мартовским вечером Алексей восхищенно смотрел на знакомого ему двухгодовалого сине-стального тетерева с белой отметиной на груди, усевшегося на вершину березы близ Гулкого холма. Оранжевый, стекленеющий закат охватил полнеба. Последние стрелы солнца били в кроны сосен. Пятна света дрожали еще на поляне опытного участка, а меж колонн деревьев уже расползались синие тени. И тогда с юга, еле ощутимый, мягкий, пробежал по вершине теплый ветер. Дотронулся до чуткой груди тетерева. Встрепенулся Белогрудый. С сухим треском распустил он сильные свои крылья, вздыбил лироподобный хвост и, откинув голову, неожиданно для себя издал воинственный звук: «Чч-уу-ффышш!»

Алексей вздрогнул: «Пришла, матушка! Значит, конец тихому зимнему моему труду. Теперь знай слушай и смотри: каждая весна красна по-своему...»

Первый боевой клич тетерева точно кнутом ожег Феофана Туктукова.

Неутомимый работяга, он до головной боли колотил долотом своим, будто сваренным из крепчайшей стали, по деревьям всех пород, по еловым и сосновым шишкам. И этот-то труженик, с потрескавшимися мозолистыми лапками, от голоса тетерева подпрыгнул в своей столярне, восторженно-дико вскрикнул: «Киик! Кик!..» («Внимание! Внимание!» — перевел Алексей), сорвался с сухостоины и, ныряя, точно челнок, полетел на тетеревиный голос.

И все дятлы в лесу, услышав позывные Туктукова, разом прекратили работу и полетели каждый к своему музыкальному инструменту. Угольно-черные и красные, и пестрые, большие и малые — вскоре они уже сидели на излюбленных пнях и дуплистых деревьях, откинувшись на жесткие свои хвостики, точно на стулья, и замерли с занесенными для первых ударов стальными клювами.

Бородатое лицо Алексея осветилось мечтательной улыбкой. А Феофан Туктуков, которого он давно прозвал дирижером, сидел над его головой на сухой сосне, приготовившись к любовной трели.

Напрягшийся, с распущенными крыльями, с вытянутой шеей, Белогрудый пробежал по суку, остановился и еще более грозно бросил вызов: «Ччч-ууу-ффф-ыш-шш!»

«Слушайте! Слушайте все!» — отстукал по звонкой, как гонг, сушине точками и тире, тире и точками Феофан Туктуков. «Да здравствует любовь!» — разом ударили черные, красные и пестрые дятлы в звонкие свои инструменты. Лес наполнился звуками ликующего весеннего концерта дятлов. Они стучали, жужжали, дребезжали на все лады.

Большой черный дятел прицепился к сухой вершине ели и ожесточенно бил клювом по одному месту, отчего сухостоина дребезжала протяжно-певуче, точно флейта.

И немногие еще зимние лесные птицы: пепельно-дымчатые глухари, ржаво-коричневые рябцы, радужные сойки, голубые и красные снегири, хохлатые лазоревки, — охваченные предчувствием весны, слушали и оглушительный концерт дятлов, и боевой клич тетерева.

Белогрудый повернулся на суку влево, вправо, нагибая голову, точно раскланиваясь, и, притопнув одной, потом другой ногой, вначале робко, как бы пробуя голос, бульбукнул. Еще, еще, громче, громче. Страстное бормотание полилось из напряженного горла тетерева теперь уже непрерывно. Казалось, это ожившие речка Дубравинка и многочисленные ручьи Гулкого холма зазвонили в серебряные бубенцы.

И сердца всех птиц и зверей в лесу, услышавших первые весенние песни, наполнились боевым пылом.

Белогрудый замолк и победно оглядел отпылавший закат. Смолк и концерт дятлов. Тихо стало кругом. Обломленная тетеревом ветка, перезванивая по сучкам березы, мягко упала в снег. Сумерки затягивали дали. Темь разливалась по заснеженной поляне опытного участка, точно река затопляла долину черной водой.

Алексей пошел к домику. Еще лежали кругом зернистые снега, но в песне тетерева все обитатели леса почувствовали и близкий звон отворяющихся ручьев, и волнующее пробуждение земли.

Услышали Белогрудого и серебряный, отощавший за зиму барсук в норе, и еж в ворохе сухих листьев. Все они перевалились на другой бок на мягких своих постелях, все открыли заспанные глаза и сладко потянулись.

А ремесленники-дятлы с того вечера побросали свои столярни. Целыми днями они перепархивали с дерева на дерево, цепляясь за стволы кривыми, как ноги у кавалеристов, сильными лапками, спиралью устремлялись к вершинам, будто совсем забыв о личинках и насекомых.

Все звери и птицы в охватившем их томленье, тоже, казалось, позабыв о своих желудках, носились по лесу, не скрываясь, не опасаясь один другого. Даже заяц Ванька и тот метался как ошалелый, под самым носом лисы по колючим кустарникам, развешивая всюду клочки изношенного за зиму белого своего халатишка.

— Ну, Гордюша, весна пришла, готовься к охоте! — еще с порога крикнул Алексей сыну, вернувшись домой.— Косач голос подает, дятлы в барабаны ударили!..

— Па-паа! — Гордюша сорвался со стула. Алексей прижал сына к груди и внимательно посмотрел ему в глаза. На лице мальчика были и восторг, и неверие в ожидавшее его счастье.

— Возьму! Обязательно возьму!

Алексей поставил сына на пол. Мальчик вспомнил о матери и метнулся к ней. Улыбающаяся Вера отвернулась к окну. Гордюша бросился к ней на шею:

— Мамочка! — Сердце у него билось так сильно, что она чувствовала его удары.

— Алеша! — Вера укоризненно посмотрела на мужа.— Опять он по ночам спать не будет...

— Буду! Буду! — крепко сжимая шею матери, выкрикивал мальчик.

— Это наше, мужское дело. И ты уж нам не перечь, пожалуйста,— смеясь, сказал Алексей.

Вера только рукой махнула.

Ночью загудел сосновый бор. Густой влажный ветер метался в нем до утра. А на заре дождевые облака набежали, и стало тихо: слышно было, как падали комья снега с ветвей.

Теплый дождь зашелестел по крыше леса, не переставая, шел все утро, день и следующую ночь: тогда и умер снег.

Немощно-бледный лежал он в низинах. А на холмах задымился парок: земля там раскрывала глаза и дышала легко, радостно, как проснувшийся ребенок. В глубине, у самой границы Междуреченского заповедника, пучи-

лось, глухо вздыхало моховое болото, в эту пору всегда окутанное туманом.

Было еще совсем темно, а все проснулось в лесу, все ждало, готовилось к встрече солнца.

Феофан Туктуков не один раз высовывал железный свой клюв из дупла и снова прятался. Белогрудый выбрался из крепи чапыжника, с места ночевки, и направил свой полет к токовищу у Гулкого холма.

Проснулись и Алексей с Гордюшей. Тихонько вышли за дверь и прислонились к стене домика. Поднялся и Дымок, звонко зевнул, потянулся сначала на передние, потом на задние лапы и ткнулся холодным, влажным носом в руки Алексея и Гордюши, слушающих таинственные звуки весенней ночи.

В воздухе творилось что-то необычайное. Казалось, он до отказа был набит живыми крылатыми существами: птицы неслись стая за стаей. Высоко меж звезд по синим прогалам неба с радостным гоготаньем проплывали длинные клинья гусей. Чуть ниже с характерным звоном крыльев могуче вымахивали лебеди. Их певуче-нежные клики «гонг-гонг» падали на землю, как хрустальные капли.

Еще ниже, почти над самыми верхушками деревьев проносились многочисленные стаи уток. Гордюша уже безошибочно узнавал басовито-сочное шавканье крыжневых селезней, азартный писк и треск чирковых.

Охваченные пролетною лихорадкой, с восторженным говором птицы, подобные живым магнитным стрелкам, неукоснительно-твердо неслись на север, где их ждала радостная пора любви. Шум и говор крылатых странников проникал в души мальчика и его отца.

Какое-то неизъяснимое, неведомое и в то же время знакомое, как рука матери, как теплое ее дыхание у щеки, чувство трепетало у них в сердцах, не давало им спать в весенние ночи, неудержимо влекло в лес.

Еще яркие звезды висели над головой. Только-только зазеленел окраек неба. Тихо и торжественно отсчитывала последние минуты ночь.

И вдруг из глубины заповедника, с мохового болота, полились серебряные звуки, словно через все небо протянул кто-то невидимую струну и неторопливо трогал ее. Или это в серебряную свою свирель заиграл сказочный Лель?

Чище и чище льются на весь лес ликующие звуки: то проснулись прилетевшие в заповедник ночью журавли и объявили миру начало праздника Пробуждения и Любви.

Так иачалась весна.

...Наконец-то отец сказал:

— Ну, Гордюша, собирайся, пора: солнце на покой поехало!

Мальчик выбежал во двор, подождал и — снова в дом, а отец все еще одевался. С каким укором Гордюша посмотрел на мать, когда она предложила ему выпить кружку молока!

Собаку привязали во дворике и пошли. Вера смотрела в окно, Дымок визжал и рвался...

Кочкастая, точно в бородавках, луговина — в лужицах талой воды, и в них, по-весеннему ясное, отражается небо.

С кочки сорвался чибис и, ныряя в воздухе, бросился на охотников.

— Чьи-вы? Чьи-вы?..— пронзительно закричал он, прогоняя незваных гостей с занятой им поляики.

— Мы-то Рокотовы. А вот ты чей, голоштанник? — засмеялся Алексей.

Гордюше было забавио и слышать разговор отца с птицей, и видеть, как «голоштанник» чибис, со смешной своей косичкой на голове, опустился и, мелко перебирая морковно-красными ножками, воинственно распушившись, побежал им навстречу, взлетев только в нескольких шагах от них. Набрав высоту, чибис падал, выделывая в воздухе невероятные курбеты. «Хозяин поляики» преследовал их, пока они не вошли в голый апрельски-прозрачный березовый лес.

В березнике охотники встретили еще более забавного чудака. Как и чибис, он обнаружил себя криком:

— Го-го-го! Хо-хо-хо!..

Вслед за бесовским хохотом раздался такой оглушительный треск крыльев по дуплу колодины, точно вдруг загремели в барабаны или забили в ладоши.

— Ишь развоевался, буян! — Алексей указал иа самца белой куропатки.

Куропач, казалось, сошел с ума или был пьян. Он подпрыгивал и перевертывался через голову. Вскакивал на кочки, на колодины. Распушится, перебежит, припадет

к земле и захохочет. Куропач еще по-зимнему ослепительно бел. Вздыбленный хвост, взъерошенный ожерелок и раскинутые крылья делали петушка вдвое больше. Да, куропач был пьян запахами согревающейся земли, набухающих почек.

Пьян был и бекас, кувыркающийся в воздухе. И невидимый жаворонок в поднебесье. Но, конечно, сильнее всех были пьяны бесившиеся недалеко от шалаша, на лесной полянке, два зайца...

Все, что подсмотрели в лесу в тихий весенний вечер отец и сын, походило на сказку, на чудесный весенний сон. Они сидели на мягкой подстилке в шалаше и смотрели, и слушали шум леса, охваченного волшебным ликованьем.

День кончался прекрасным, жарким закатом. В небе пылали бахромчатые края облаков, похожих на острова. Малиновое солнце медленно опускалось за гриву. На багровом фоне заката прямые корабельные сосны Гулкого холма вырезались, как струны.

На поляне было еще светло, и Гордюша в десятке шагов от себя увидел выкатившегося неизвестно откуда уморительного пегого зайца Ваньку — так они с отцом прозвали его.

Изодранный в клочья белый его халатик был наскоро заштопан грязно-желтыми заплатками. Заяц примчался на поляну с такой стремительностью, точно за ним гнался орел.

Тем удивительнее показалась Гордюше остановка Ваньки. Как подстреленный, он перекувырнулся через голову, вскочил и, вскинувшись столбиком, вдруг заплясал, запрыгал с ноги на ногу, точно на горячих углях.

Алексей подтолкнул локтем сына и указал глазами в другую сторону. Мальчик перевел взгляд и увидел там пегую зайчиху Зойку, тоже уморительно прыгающую с лапки на лапку, точно и у нее под ногами были угли.

Зайцы, казалось, приветствовали друг друга. Зойка нежным голоском протяжно запищала. Ванька подпрыгнул, потом замер, постриг ушами, огладил усы и мордочку и торопливо пошел навстречу подруге на задних лапках, все время горделиво осматриваясь по сторонам. Весь вид его говорил: «Смотрите, смотрите, какой я хват!» Онемевшему от изумления Гордюше почудилось, будто Ванька даже ощерил длинные свои зубы в улыбке.

Так на дыбашках н подкатил Ванька к прыгавшей ему навстречу зайчнхе. Но, похоже, он еще смущался заплатанного своего халатика и немного робел.

Щеголь, всю ночь и весь день носнлся он по крепям шиповника, чтоб скорее нзбавнться от грязных лохмотьев и надеть летннй серенький сюртучок. С Зойкой ему очень хотелось встретнться в новом костюме. Вот почему н замер он (объяснил Гордюше отец) на всем скаку, перекувырнувшись через голову, от неожиданной встречи.

Но оказалось, что и платьнце Зойкн тоже было в заплатках, н он, рассмотрев это, запрыгал от радостн. И смущенная щеголнха, увндав рваный его халатншко, тоже запрыгала... Зайцы садились на заднне лапкн н, приплясывая, боком-боком, кружилнсь однн вокруг другого, кувыркалнсь, бегалн взапускн. Кто знает, до какого безрассудства дошел бы Ванька, еслн бы на поляну вдруг неожнданно не выкатнлся еще однн — голенастый, мокрый, весь какой-то трепаный, озорннк н заднра Семка.

Ванька остолбенел. Но Зойка, наоборот, страшно обрадовалась ему. В два прыжка она оказалась рядом с Семкой н потянулась к нему рассеченной, вздрагнвающей от волнення губкой, точно собнраясь поцеловать озорннка в пуговнцу черного лакнрованного носа. Это было уже выше Ванькнных сил: он бросился на соперника. От первой же сшнбкн онн оба покатилнсь по мокрой лужайке. Такой озлобленной дракн Гордюша никогда не наблюдал до этого. Побежденный Семка обратился в бегство. Все негодованне свое ревннвец Ванька перенес на вероломную зайчнху. Как налетел он на Зойку! Как забарабаннл по ее легкомысленной голове н спнне переднмнн лапамн! Гордюша нспугался даже за жнзнь зайчнхн. И нензвестно, чем бы кончилось наказание Зойкн, еслн бы Ванька не учуял злейшего своего врага — лнсу. Только невероятные прыжки зайцев вверх н вбок, в разные стороны, спасли нх от острозубой пасти.

Лнса услышала невольный вскрнк мальчика и исчезла в ельннке.

Павлнннй хвост зари выцвел. Набежали тени, окутали пнн н деревья. Над поляной, похоркнвая, пролетел вальдшнеп. В лнцо пахнуло теплом. Запахи земли стали острее.

Небо расцвело золотыми розами. Серп луны, как лодка из тростников, вынырнул из таинственных глубин и поплыл по небесному саду. Кроткая тишина обняла землю. Алексей встал.

— На Гулком холме у меня сушнячок запасен, пойдем, сын, разожжем костер.

...Вокруг костра нависла плотная темнота. Отец и сын разобрали сумку. Охотничий рюкзак — всегда маленький сюрприз Веры: и яйца, и масло, и молоко, и любимые Гордюшины коржики...

Угли в костре с неожиданным треском взрывались, точно ракеты. Сырые веточки пахучего можжевельника изгибались в огне, как живые, пищали на разные голоса, пускали белые курчавые струйки дыма и, разом вспыхнув, обращались в золотые, быстро меркнущие кружева... От жара охотники отодвигались глубже в темноту.

Весенняя ночь у костра! Сколько их встретил и провел Алексей! И каждая из них по-своему запечатлелась в его душе.

Вот он, пятилетний карапуз, «неотвязный погонялка», со старшими братьями на берегу Иртыша.

Братья варят уху из только что снятых с переметов налимов. От бурлящего котелка валит густой ароматный пар.

Алеша лежит под зипуном, притворившись спящим: «Разбудят? Не разбудят?..»

Братья достают ложки и ковригу хлеба.

— Вставай, Алешка!..

А вот он с отцом на пашне. Кругом голые — «мертвые» еще поля. Над головой полчища облаков бегут и бегут в бескрайние просторы вселенной.

Отец готовится разводить костер: на оглобле телеги, подпертой дугою, висит закоптелый чайник. Под чайником — горка сухой полыни. Большими руками отец примял топливо, собираясь поджечь полынь.

Вокруг черная, тихая ночь. Алеша ждет, как от вспыхнувшего костра ночь вздрогнет и отпрянет за телегу...

А сегодня он сам с сыном жжет веселый жаркий костер в лесу, и мягкая, влажная ночь качается на черных ветках. От обступивших со всех сторон деревьев идет могучий запах. Каждое из них пахнет по-своему... И черносмородинным вареньем, и раздавленной на зубах морковью, и смолой, и сладким березовым соком...

В душе Алексея нарастала тихая радость, смешанная с какой-то сладкою грустью. Радость — животворного весеннего возрождения, сладкая грусть — утраты далекого детства.

Алексей глубоко, во всю грудь, дышал, вбирая и дымок костра, и запахи оживающих деревьев.

Ему казалось, что в эту теплую весеннюю ночь он вместе с сыном неразрывно слит со всем окружающим их миром. Что это и есть та высшая точка сближения человека с природой, когда глазам его вдруг открывается дверь в ее чудесный мир, когда становятся понятны и детский лепет ручья, и шелест леса.

— Папа, мне кажется, что я уже давно-давно когда-то вот так же сидел с тобой у костра в лесу. Тогда в точности так же пахли деревья. А может быть, все это я видел во сне...

Гордюша смущенно замолчал: он не знал, как выразить чувства, смутно зарождавшиеся в его душе в эту колдовскую весеннюю ночь.

Отец внимательно посмотрел на сына и негромко отозвался:

— Это бывает, сынок... И со мною случалось весной.

Гордюше казалось, что с того самого момента, как вышли из дому, они все время думают с отцом об одном и одинаково. Чибис, и куропач, и зайцы, и лисица, и месяц, как лодка, и костер, как рыжий фыркающий зверь... Во тьме вызванивала талая вода. Гордюша прижался к отцу и счастливо сощурился. Заснул он незаметно и, как показалось ему, на одну минуту, а отец уже будил его.

Мальчик потянулся. Дымок от затушенного костра пощипывал заспанные глаза. Отец стоял с ружьем в руках.

— Пора,— сказал он.

Гордюша вскочил — сна как не бывало.

За ночь золотая ладья уплыла далеко по звездным волнам. Небо было все такое же густо-синее и только на востоке чуть хваченное отбелью...

Все было таинственно в это утро. И как шли в темноте к шалашу, и как сели, затаившись.

Возня ежа в листопаднике, урчание белки над головой, стукнувшая о землю сосновая шишка взрывали ти-

шину и, как выстрелы, отдавались в сердце Гордюши. Еще ничего нельзя было различить в предрассветной мгле, а лес уже наполнялся гулом кипучей жизни. Задушенные всхлипы совы, писк, фырканье зверушечьей мелкоты, хрюканье хоря... В корневищах, недалеко от шалаша, призывно пропищала самочка ласки. И тотчас же во тьме ей отозвался, замурлыкал самец — громче и громче. Лес запевал древнюю свою запевку, нарастающую с каждой минутой.

В отверстия шалаша, устроенные на зорю, чтобы можно было стрелять, как только будет видна мушка, просвечивало зазеленевшее небо. Начали вырисовываться уродливые, похожие на пни, кочки. Сказочной зубчатой стеной высился Гулкий холм.

Ноги Гордюши затекли: он сидел не шелохнувшись. И вдруг неожиданно, над самой головой, захлопали крылья. У мальчика пересохло в горле. В трех шагах от шалаша сел сине-черный тетерев. Напряженно вытянутая шея и красные брови были отчетливо видны из засидки. Гордюша хотел повернуть голову к отцу и указать ему на черныша, но тетерев сорвался и опустился в глубине токовища.

— Ой! — вырвался придушенный стон из груди мальчика. Алексей положил ладонь на плечо сына и тихонько погладил его: он понимал, что творилось в душе будущего охотника.

А на ток со всех сторон, хлопая крыльями, падали и падали тяжелые, сильные птицы.

— Ччууффышш! — как команда к началу единоборства, раздалось в середине токовища.

— Ччууффышш! — отозвался сидевший недалеко от шалаша тетерев, и слышно было, как он, шурша распущенными крыльями по сухобыльнику, побежал на вызов. Дорогой тетерев остановился, раздалось сердитое его бульбуканье и вслед — сухой треск крыльев: это начали первый бой «хозяин» тока — старый черныш, токовик, и его соперник.

Далеко, в заповеднике, на моховом болоте проснулся страж весенней зари — журавль. Он вытянул длинную шею, увенчанную малиново-сизой головой, задрал в небо огромный клюв и, молодецки напрягшись, подал долгожданный сигнал. Все птицы услышали журавлиный клич и запели во весь голос.

Лес уже гудел от песен. Казалось, пело само небо, сама земля, каждая ветка темного леса в искрах росы.

Восток зарумянел, светало,— словно полотнище огромного занавеса, медленно раздвигаясь, открыло поляну, усыпанную кочками, пнями, со стоящими кое-где не одетыми, а лишь чуть задымившимися еще березками.

Корабельный лес Гулкого холма открылся глазам. И на всей поляне — токующие тетерева. Сколько их! Откуда собрались они на блистательный свой турнир?

Вздыбленные, лироподобные хвосты их, точно белые султаны, развевались повсюду. Отдельных голосов различить было уже нельзя. Казалось, в горле каждого из певцов журчал ручей, растекался по земле и сливался в единый рокот большой реки.

В десяти шагах от засидки дрались два черныша, равные по силе бойцы. Они то отступали с опущенными до земли шеями, состязаясь в силе и красоте голосов, то сшибались грудь в грудь. Перья летели во все стороны, бойцы падали навзничь. Но и свалившись, не прекращали боя. Уцепившись за щеки крепкими клювами, они рвали, пригибали один другого к земле. Обессилев, не двигали шеями, а лишь конвульсивно подергивали лапками. Потом, вскочив, снова разбегались...

На березку в середине токовища с призывным квохтаньем опустилось несколько тетерок. Что стало с бойцами! Даже самые измученные снова ринулись в бой. А как закипели, заклокотали песни!

Тетерки беспокойно вертелись, вытягивали шеи, рассматривая соперников, не переставая подбадривать их поощрительным квохтаньем. На одну только минуту спускались они к избранному рыцарю и улетали с ним в темный сосновый бор.

Жарким костром разгоралось утро. Алексей смотрел, слушал, думал: ему не хотелось прерывать песни, нарушать выстрелом торжественную красоту птичьего праздника. Но время тока кончалось. Он выбрал пару ближних к шалашу бойцов и выстрелил. Эхо подхватило выстрел, бросило его на Гулкий холм, и долго еще он грохотал там, дробясь о бронзовые стволы сосен.

Птицы, срезанные дробью, упали, но за облаком порохового дыма ни Гордюша, ни Алексей их не видели.

Выстрел только на мгновенье прервал песни и схватки, через минуту тетерева запели с новым азартом. Дым

рассеялся. Убитые черныши лежали, вытянув шеи, точно утомленные и заснувшие певцы.

Солнце поднялось над горизонтом. Ток затихал. Тетерева разлетались. Алексей и Гордюша собрались было вылезти из шалаша, как увидели двух птиц. Впереди, с устало волочащимися крыльями, бежал старый крупный петух. Следом — опьяненный первой победой молодой белогрудый атлет. Это были последние бойцы. Алексей вскинул ружье и выстрелил в старика.

И снова грохот на Гулком холме долго сотрясал воздух, а облако порохового дыма колыхалось над поляной. Когда дым рассеялся, они увидели убитого старого петуха. Белогрудый же как-то странно подпрыгивал и падал между пней и кочек.

— Ранен! — сказал отец. Гордюша вскочил, повалив шалаш. Шапка упала с головы, но он не наклонился за ней. Отец что-то прокричал вслед — Гордюша не слышал. Подпрыгивающий на бегу черныш — только его видел мальчик.

Кочки, пни. Гордюша падал, вскакивал и снова бежал... Белогрудый спешил к спасительному Гулкому холму, взмахивая здоровым крылом. Мальчик кинулся наперерез. Птица заметно утомилась, но и Гордюша еле передвигал ноги.

Не более десяти шагов отделяло Гордюшу от птицы, но тетерев снова побежал. На помощь сыну приближался отец. Увидел ли черныш бежавшего навстречу охотника или окончательно обессилел, только вдруг он лег и замер. В агатово-черных глазах тетерева застыл страх, но он даже головы не поднял, когда люди подошли к нему.

Гордюша схватил Белогрудого. Черныш клюнул мальчика в руку. Сердце птицы билось часто-часто.

— Мамочка! — Гордюша издалека заметил мать. Она поджидала охотников на «Чибисовой полянке».

— Гляди! Тетерев!..

Вера побежала навстречу, радостно улыбаясь и своему девически быстрому бегу, и возбужденно-счастливому лицу сына. Выбившиеся из-под платка вьющиеся волосы ее трепетали на загоревшихся щеках.

— Вот, с белой грудью! — Мальчик крепко держал

птицу в руках. Мать поцеловала сына в потный, разгоряченный лоб.

За ночь из влажной, согретой солнцем земли поднялась густая щетка зелени. По всему кочковатому лугу просверкнули полоски золота.

А щедрое солнце все заливало и заливало луг, дивно преображенный за одну ночь.

Разбрызгивая лужи, с обрывком веревки на шее, мчался от домика Дымок. Он налетел на Гордюшу, поднялся на задние лапы, лизнул друга в щеку.

Тетерев долбанул Дымка в нос. Растерявшийся пес опрокинулся навзничь. Но, рассмотрев обидчика, он с лаем стал подпрыгивать и бросаться на поднятого Гордюшей над головой тетерева.

— Дымка, свой! Наш! Это наш, Белогрудый! — закричали на собаку и Вера и Гордюша.

Пес перестал лаять и, повизгивая, воззрился на краснобрового черныша.

С убитыми тетеревами в руках подошел Алексей. Лицо его так же, как и лицо сына, было радостно-взволнованным, слух насыщен пением птиц, душа — красотой тихого весеннего утра.

Вера с гордостью счастливой женщины смотрела на подходившего мужа. Ей хотелось сказать ему и о том, как она уже около часа, прислушиваясь, ждала их, и как визжал и рвался с привязи Дымок. Но она ничего не сказала, а только взглянула ему в глаза и взяла у него из рук тяжелых черных птиц.

— А мы вот тебе с сыном Белогрудого принесли. Ты ведь у нас доктор от всех болезней — вылечи ему крыло. Срастется — и выпустим его: тетерева редко приручаются...— Алексей тоже не сказал ей, что было у него на душе, но и без слов они понимали один другого.

— Чьи-вы!..— над самыми головами их закричал вдруг неожиданно появившийся чибис и набросился на Дымка, норовя клюнуть его в голову. Дымок подпрыгнул и щелкнул зубами. Но чибис взмыл и потом снова с криком и свистящим шумом крыльев низринулся на собаку.

— Пойдемте! — сказал Алексей.— Это его именье — у него тут гнездо в кочках...

Чибис проводил их до самого домика и только тогда улетел в «свое именье», курившееся легким парком.

Через залитую солнцем поляну пролетала пара лебедей. Серебристые тела их с вытянутыми шеями зыбко качались в голубизне неба.

Птицы перекликались между собой — грустно, звучно...

Дальше, дальше уплывали они. Вот уже чуть видны всплески их крыл: точно платком с уходящего в море корабля помахала дорогая невидимая рука.

Алексей держал Белогрудого за ноги и за голову. Вера промыла раненое крыло тетерева, залила йодом и, искусно сложив сломанную косточку, тонкими ловкими пальцами накрепко забинтовала.

Гордюша и Дымок присутствовали при операции. Раненый вначале отчаянно защищался клювом, но, очевидно поняв бесполезность борьбы, стих, только испуганно смотрел на людей черными, как спелая черемуха, глазами.

Тетерева решили поместить в садике, у самого окна: в кустах малинника и черносмородинника корму было вполне достаточно. От лисы Белогрудого должен был охранять Дымок.

Лишь только выпустили черныша в воротца садика, он юркнул в кусты, забился в дальний угол. Все, не исключая и Дымка, через загородку следили за каждым движением птицы. Странно было видеть белогрудого черныша с набухшими ярко-красными бровями под окном человеческого жилья. Он лежал в малиннике, не дотрагиваясь до крошек хлеба, зерен пшеницы и даже личинок майского жука, которые принес для него Гордюша.

На ночь Алексей перенес будку собаки к загородке садика.

— Береги, псина, Белогрудого, как свой правый глаз! — приказал мальчик. Дымок покорно улегся в будке.

Три дня тетерев не прикасался к пище, а на четвертый — утром Гордюша ворвался к матери в кухню:

— Мама! Белогрудый! Все, все склевал!..

Через две недели, вопреки ожиданиям, Гордюша так приручил тетерева, что черныш брал у него еду из рук и позволял даже гладить себя по голове. Не дружил он только с Дымком. Как-то пес зашел с мальчиком в садик и попробовал схватить корочку хлеба, принесенную Гор-

дюшей тетереву. Но черныш так иалетел на собаку, что Дымок растерялся. Шерсть иа его загривке подиялась. Не сгибая ног, Дымок двиинулся иа Белогрудого. Глаза его уже не улыбались дружелюбио — он совсем было собрался проучить тетерева.

— Ты что такое придумал, безобразиый, семь раз иекрасивый псище! — подражая отцу, иакиинулся иа Дымка мальчик.

Дымок поджал хвост, повернулся к воротцам. Но лишь только пес шагиул, как черныш сиова подскочил и клюнул его в задиюю ногу раз, другой. И клевал все время, пока Дымок ие вышел за ворота. Пес шел медлеиио, не оглядываясь, сохраияя полиое достоиисгво.

За воротами Дымок лег, положил голову на порожек. Весь вид собаки говорил злому тетереву: «Хорошо, я отличио понял, что там, в садике, хозяин ты, но... здесь я тебе не позволю самоуправствовать».

Белогрудый тетерев, отбитый Алексеем у лисы, полузадушениый, выхожениый Верой зайчоиок Борька, выпавший из гнезда сорочоиок положили основаиие Гордюшиному зоосаду. За зоосадом сына не без иитереса иаблюдали и родители.

Нередко в зоосад и даже к Вере на подоконник кухни навсдывались за кормом «свои» белки, жившие неподалеку от домика в дупле старой сосиы.

Дружба семейства Рокотовых с белками возиикла в первую же зиму. Алексей и Вера решили порадовать Гордюшу новогодией елкой. Тайком от сыиа — иочами — готовили игрушки. Но как ни изощрялись они, без разноцветных свечей и фонариков, золочеиых орехов и гирлянд их елка выглядела бы жалкой. И тогда Алексей вспомнил о вычитаином им давио-давно трогательиом, распростраиенном в Норвегии обычае — в рождественский сочельник устраивать елки для птичек с подвешеиными к ветвям живых, растущих деревцев пучками необмолоченной пшеиицы, проса, льна, коиопли.

Мысль о «елке для птичек» выросла в организацию «зимией столовой», в устройстве которой самое деятельное участие прииял и Гордюша. Стоявшие рядом с домиком сосиа, ель и даже подоконник кухни с подвешеиными гроздьями калины, рябииы, с подвязанными корытцами,

наполненными хлебными крошками, сосновыми, еловыми и кедровыми шишками, обращенные в «кормовые столики», в первую очередь привлекли белок. Насытившись, они тотчас же затевали игру.

А сколько радости доставили Гордюше посетившие «столовую» пухлые, словно надутые, толстоносые, с багровыми грудками и белоснежными надхвостьями снегири!

— Мама, генерал (так называл снегирей отец)! — выкрикнул наблюдавший в окно Гордюша, и сердце мальчика запрыгало.

А ярко-красные, чуть крупнее воробья, доверчиво-добродушные клесты, с веселым цвирканьем развесившиеся на елке!

Мороз прижимал к человеческому жилью желтоголовых овсянок, беспокойно юрких синиц. Однажды, соблазненный гроздьями рябины, на «птичью елку» прилетел рябчик. Строгий, подбористый, с задорным хохолком, точно в короне, воровато озираясь на домик, обитатель сумрачных лесных кущ поспешно набил зоб и улетел.

И сколько же прыгающей, летающей — голодающей братии «зимняя столовая» Гордюши спасла в эту зиму!

Она же помогла мальчику открыть неведомый ему дотоле лесной зимний мир. А познав, он полюбил его.

Зоосад Гордюши с каждым днем заметно расширялся. Забавнее всех обитателей зоосада оказался озорной и даже нагловатый сорочонок, подружившийся с Дымком.

Молодую сороку Рокотовы назвали Варькой. Она настолько не боялась Дымка, что бесстрашно выхватывала из миски пса лакомые кусочки, а тот не только не прогонял ее, но покорно отходил в сторону и терпеливо ждал, когда Варька насытится.

Но что больше всего поражало и Рокотовых, и случайных посетителей их домика, так это собачья служба, которую добровольно взяла на себя в отсутствие Дымка Варька. Достаточно было приблизиться к домику незнакомому человеку, когда Дымок с Алексеем были в лесу, как Варька взлетала на крышу конуры и начинала неистово, подражая своему четвероногому другу, прыгать и стрекотать, оповещая хозяйку о пришельце.

Весело, дружно жила семья Рокотовых в это последнее, как позже говорила Вера, счастливое междуреченское лето.

Веселье начиналось с возвращения из обхода леса

отца и Дымка. Гордюша бежал встречать их далеко на кромку бора.

Мальчик и пес мчались навстречу друг другу. Дымок, подпрыгивая, срывал с головы Гордюши фуражку и во весь дух несся с нею к домику, а мальчик возвращался с отцом, слушая свежие лесные новости.

— На кромке мохового болота кормилась семья лосей с новорожденным лосенком,— рассказывал Алексей сыну.— Было очень тихо. Старая ель стояла задумавшись. Лосенок сосал лосиху. Сохатый и бычок-второгодок паслись. Вдруг наскочил ветерок, и ель закачалась. Лосенок оторвался от вымени матери и с мокрыми губами, с ртом, полным молока, насторожив лопушистые ушки, уставился на черную елку, машущую лапами. Темные глаза лосенка были полны детского любопытства. Лосиха стояла спокойно. Ветерок убежал за деревья, лапы елки перестали качаться. Стало тихо. Расставив задние ножки, лосенок вновь уткнулся в теплое вымя матери...

Домашние дела наших зверей и птиц идут своим чередом: лес полон тетеревят. А на озере, в пойме Дубравники, мы с Дымком встретили три выводка толстозобых утят кряквы. В семействе Ваньки и Зойки появились зайчата второго вывода. Сами с кулачок, а усы, как у гусаров...

Нередко Алексей приносил Гордюше «подарок от зайца»: то дикую морковь, то сладкую репку.

— Иду, а навстречу зайчище, еле плетется, кряхтит, целую вязанку моркови на спине тащит. Остановился, пот лапкой со лба смахнул. «Возьми, говорит, своему шалуну и нашему Борьке от меня и от моих сорванцов зайчат морковочку. Пусть погрызут — глаза зорче станут, зубы болеть не будут». Ну, я и взял...

Дымок с Гордюшиной фуражкой мчался к Вере: там его ждал сытный завтрак. Не добегая до домика, пес вдруг поджимал заднюю ногу и, забавно прыгая на трех лапах, появлялся у крыльца.

Вера давно уже увидела возвращавшихся мужа с сыном и поджидала их на крыльце.

— Дымушка! Бедная, больная собака! — встречала она скачущего на трех лапах пса и отбирала у него Гордюшину фуражку.— Опять лапку поранил? Опять несчастье с хорошей, умной собакой! — притворно-сочувственно говорила Вера и никак не могла удержать

улыбки, глядя в черные глаза внимательно слушавшего Дымка.

Пес знал, что сейчас Вера пойдет в дом и, вернувшись, даст ему кусочек сахара. Взвизгивая от нетерпения, он ждал, не опуская заднюю лапу.

Но лишь только Дымок получал лакомство, как тотчас начинал прыгать вокруг Веры на всех четырех ногах. За этот номер Гордюша называл Дымка притворой. Додумался до этого пес после того, как осенью, преследуя лису, он сильно поранил заднюю лапу. Вера тогда промыла, забинтовала лапу и угостила Дымка кусочком сахару.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Рокотовы так обжились и полюбили Междуречье, писалось Алексею так хорошо, Гордюша так заметно подрос и окреп, что всем им казалось: о чем-то другом и мечтать не стоит.

— Жизнь, она, Веруша, везде, важно только, чтоб каждый день ее был наполнен полезным радостным трудом, как чаша вровень с краями. А сколь приятно ощущение здорового — волчьего аппетита к вечеру!

Заработавшись на посадках, задержавшись в обходе или у соседа Мартьяныча, Алексей любил подходить к лесному своему домику и издалека, от самой кромки леса, увидеть вздутый заботливой рукою жены желтый теплый свет огня в окнах: «Ждут!»

Поставив повыше, как маяк, лампу на подоконник, Вера и Гордюша выходили на крыльцо — поджидать Алексея и слушать вечер.

Они сидели, так близко прижавшись один к другому, что ощущали биение сердец друг друга.

С сумерками, с прохладой еще острей, тоньше потекли запахи леса, кустарников, молодой травы. Словно приблизившийся переплеск воли Дубравинки зазвучал таинственней и величавей.

Точно закипая, в воздухе возникли и все нарастали и нарастали мягкие басовые звуки: то начался массовый вылет шмелей. Один из них с тупым стуком ударился о раму окна, упал и, словно в обмороке, недвижно замер. Полежав с минуту, он зашевелился, зашуршал в траве. Гордюша только на мгновение скосил глаза в сторону

шмеля и снова уставился в таинственную глубину ночи. Ему показалось, что, завороженный вечером, запахами земли и леса, он весь как-то сладостно оцепенел.

Почти рядом с веселым переплеском текла куда-то в темноту Дубравника, а над головой, меж провалами облаков, в немую бездну текла звездная река: «Куда текут они? И кончится ли когда их бег? Нет, они будут течь вечно, как вечно буду жить и я, и отец, и мама. И все, все будет жить вечно...»

От реки пахнуло холодом. Гордюша вздрогнул. Мать молча накрыла его концом пухового платка. Гордюша еще теснее прижался к ней. От матери исходило родное, знакомое с детства тепло. И от земли тоже пахло теплом, знакомым с детства. Но все было еще так зыбко, так неясно в душе Гордюши, что он уже перестал думать и о Дубравнике, и о звездах и, как звереныш, весь отдался этому одному ощущению радости — впитывать в себя животворное материнское тепло.

Вера чувствовала состояние сына и, точно боясь спугнуть его, тоже сидела не шевелясь: «Да, жизнь во всем и всюду. Сидеть вот так и слушать ночные шорохи, и вдыхать ароматы земли, и ощущать рядом с собой это родное существо, и ждать любимого человека — это такое счастье!»

И действительно, это было на редкость веселое и счастливое лето семьи Рокотовых.

Около месяца у них гостили два молодых лесовода — друзья Алексея.

Задумав работу над книгой о родной природе, он близко сдружился с несколькими известными лесоводами Москвы.

Старый его друг, академик, прислал еще одно письмо:

«Приеду — хочу посмотреть подопытные твои плантации саженцев скорорастущих лиственниц, тополей и осины. Проблема «преодоления времени», подгонка скороспелости леса — одна из важных в Институте леса Академии наук СССР»,— писал ученый.

Он приехал с одним из своих учеников. Гости рано утром вместе с Алексеем уходили на его опытные участки и иной раз задерживались там до вечера. Тогда Гордюша, сопровождаемый Дымком, относил им приготовленный Верой обед.

Мальчнк очень любнл слушать споры взрослых о «подгонах», о «законе большого периода роста» различных деревьев, о предпрнятнях нового типа, которые по роду своей деятельностн нн в какой мере не будут походить ни на теперешиие леспромхозы, ни на лесхозы.

— Процесс рубкн сейчас оторваи от процесса восстановления леса. Необходнмо практическн решать вопрос на объединении всех работ в лесу, начиная с выращнвания, ухода за лесом н кончая заготовкамн, вывозкой и переработкой его.

Правда, Гордюша ннчего не понимал в их спорах, но ему иравнлось, как они, горячась, говорнли, как казалось ему, не слушая одии другого.

Но еще больше нравилось Гордюше, когда все мужчнны отправлялись на Дубравинку купаться. И он купался вместе с иими, ынрял, плескался, подиимая фонтаны брызг. Дымок обычио не выдерживал таких шуток своего друга н иачииал громко лаять иа иего, возбуждеиио прыгать по берегу.

— Это он бонтся, чтоб Гордюша не утонул,— объяснял волнение собаки Алексей.

Выкупавшнсь, все любнлн посидеть над рекой, смотреть, как струились глубокне светлые воды в крутых зелеиых берегах.

Вечерами «Общество учеиых робинзонов», как шутя прозвала мужчин Вера, слушало главы поэмы хозяина.

Но вот и эти друзья уехали обратио в Москву, и жизнь в лесиом домике вошла в привычиую колею.

На восходе солица поднимались Алексей и Вера. Еще роса лежала иа деревьях, цветах и травах. Над Дубравинкой н по мочагам плавал тумаи.

Солнце торжествеиио выезжало нз-за зубчатой стены Гулкого холма иа золотой своей колесннце. Из леса наносило запахами ягод, грибов, хвои...

Свистиув Дымка, Алексей отправлялся в обход.

Вера долго смотрела ему вслед. Потом шла в свой малеинькнй огород к тугим кочанам капусты, к пахучнм кудрявым кустам иаливающихся помидоров.

На кочанах появнлнсь капустницы, и Вера собирала их — любимое блюдо Белогрудого...

Гордюша относнл гусеииц тетереву, потом бежал на «Чибисову полянку», где давио уже вывелись н взматерели забавные, голеиастые чнбисята,

Мальчик до бронзовости загорел, окреп. Волчий аппетит и непробудно-каменный сон нагуливал он за день!.. Вера любила смотреть, с какой добросовестностью Гордюша очищал с тарелки все, что ни подкладывала ему она. «Какое это счастье, что мы увезли его в Междуречье!» — не один раз подумала она, вспоминая переболевшего в Москве всеми детскими болезнями бледного своего заморыша...

Как-то с почтой, доставленной из лесничества, Вера получила из Москвы письмо от одной из своих подруг и, быстро пробежав его, гневно раскраснелась.

— Леша, оказывается, многие москвичи называют нас с тобой блаженненькими донкихотствующими чудаками, обратившими время вспять, отвергшими все плоды цивилизации.

Ты послушай, что пишет Ольга Быстрогорская: «Уж не лучиной ли вы освещаетесь там? И не шьешь ли ты из звериных шкур зимнюю одежду мужу и сыну?!»

Милая Ольгуша, до чего же она «ожелезилась» в Москве, как говорит о своих детях твой философ Мартьяныч. А у меня здесь хватает времени и новые журналы почитать, которых она в Москве никогда не читает, и подумать о жизни...

Мне кажется, что только Междуречье по-настоящему научило меня понимать прекрасное!..

Да и не только Ольга, но и многие из москвичей проживут жизнь и, кроме как за решеткой зоопарка или на картинке, не увидят оленя, какого я видела во всей его красе сегодня...

И она рассказала Алексею, как это случилось.

— Он вышел из-под крутого яра Дубравинки, должно быть, только что переплыл реку. Вначале выставились рога. Словно куст из земли вырос. Потом показался весь олень. Встал, вскинул голову к солнцу, раздул малиновые ноздри, отряхнулся. От мельчайших брызг радуга вспыхнула вокруг него!..

И весь он, от венчиков рогов до копыт, до последней шерстинки, в этой огненной радуге показался мне таким чудесным, что я чуть не закричала от восторга. Смотрю на него, а он ноздрями ловит, ловит запахи. «Должно быть, меня учуял»,— думаю. И все-таки стоит еще. Только напрягся весь, как струна, каждая жилка у него дрожит, переливается под шкурой...

И все это в какое-то малое мгновенье. А потом как порскнул — и словно бы растаял... Да за одну эту картину!.. Не говорю о твоей работе, о здоровье Гордюши... Я благословляю небо, что мы живем тут!..

По той горячности всегда спокойно-уравновешенной Веры, с какой она говорила мужу о письме подруги, Алексей понимал, что она глубоко взволнована и обижена и за него и за себя насмешкой Ольги: для нее то, что делает ее муж, как живет ее семья, свято и не подлежит осуждению.

Чтоб успокоить жену, Алексей решил обратить все в шутку.

— Не осуждай ее, Веруша!.. Ольге и подобным ей, с утра до вечера бегающим по косметичкам, перезванивающимся по телефону о городских сплетиях, трудно представить молодую женщину, которая добровольно бы согласилась замуровать себя в лесной глуши. Им нужен шум, блеск, а ведь таких, как ты, должно быть, одна в республике,— засмеялся Алексей и крепко обнял ее.

Чего не переделает до вечера дружная семья Рокотовых в маленьком своем хозяйстве и в большом, наполненном ягодами и грибами лесу!

А увлекательные рыбные ловли в глубокой омутистой Дубравнике!..

А уход за вновь посаженными «младенцами» — кедренышами и саженцами скорорастущих деревьев!

Во время этих работ Алексей не раз вспоминал слова Аксакова, прочитанные в школе незабвенной учительницей Елизаветой Петровной и запечатлевшиеся ему на всю жизнь: «Я никогда не могу равнодушно видеть не только вырубленной рощи, но даже падения одного большого подрубленного дерева. В этом падении есть что-то невыносимо грустное: сначала звонкие удары топора производят только легкое сотрясение в древесном стволе, оно становится сильнее с каждым ударом и переходит в общее содрогание каждой ветки и каждого листа. По мере того как топор прохватывает до сердцевины, звуки становятся глуше и больнее... Еще удар, последний: дерево осядет, надломится, затрещит, зашумит вершиной, начнет склоняться в одну сторону, сначала медленно, а потом с нарастающей быстротой и шумом, подобным шуму сильного ветра, рухнет на землю! Многие десятки лет дости-

гало оно полной силы и красоты, и в несколько минут гибнет, нередко от пустой прихоти человека».

— Эти слова, Веруша, мне говорят только о том, что он в наших лесах видел лишь декоративную сторону, смотрел на них, как поэт-созерцатель.

Любя лес, нельзя не рубить его. Дерево дряхлеет и умирает стоя. Перезрелый лес — прибежище паразитов, вредителей, глушитель молоди. Рубки ухода — благодетельная необходимость. Мы имеем четыреста пятьдесят миллионов гектаров спелых, годных к рубке лесов.

Особенно на востоке Сибири, при наличии лесов, занимающих более девяноста процентов всей площади, и где в ближайшие же десятилетия развернутся величайшие стройки.

И как же можно не приветствовать труд лесорубов, поставляющих нам жилища, крепежный лес шахтам, сырье лесозаводам!

— Другое дело — хищнические рубки незрелого леса, в уже и без того достаточно опустошенных массивах среднерусской полосы. Преступное вырубание водоохранных зон, сплошное — как говорится, «в пень» — опустошение уникальных урочищ, что вопреки здравому смыслу делается у нас... О, тут и суровое, как во времена умницы Петра, наказание, и просвещение, главное — просвещение...

Алексей делился с женой и сыном мыслями о сохранении леса, его восстановлении, о роли школ в охране природы.

Работая, рассказывая о лесе, о зверях, птицах, он мыслил вслух, проверял на внимательных своих слушателях, о чем думал, что будет писать ночью.

Вера и Гордюша любили работать и слушать Алексея: они невольно считали себя как бы соавторами его книги.

А веселая заготовка сушняка на долгую зиму! Здесь уже Гордюша и Дымок и вовсе были незаменимы. Чурки колол отец. От его топора они раскалывались, как сахар...

Вера любила смотреть, как муж разделывал дрова. Прочно расставив ноги, он взмахивал колуном, и огромная, в обхват толщиною, «аршинница» разваливалась пополам. Еще, еще удар, и гора сверкающей смолистой древесины, излучающей острый скипидарный дух розо-

ватых поленьев — «солнечных консервов», как называл дрова Алексей,— лежали перед ним.

Дымок таскал в зубах поленья в дровяник и бросал в кучу. Гордюша складывал дрова: ровная, красиво выложенная поленница росла на глазах.

Покой и радость были в душе Веры. Она понимала, что та же полнота чувств, тот же безмятежный покой и радость сейчас и в душе ее мужа. «Вот это и есть то счастье, о котором поют в песнях»,— думала она.

Так текла жизнь в лесном домике до середины памятного лета.

...На семейном совете решили выпустить Белогрудого.

— Он перелинял, крыло срослось. В тесном садике не разучился бы летать,— сказала Вера. При каждом удобном случае она воспитывала в сыне доброту, жалость. Отец прививал Гордюше жажду к разгадыванию лесных тайн, стремился заронить в его сознание драгоценное, беспокойное слово «почему». Оба они были глубоко убеждены, что воспитывать все хорошее в человеке надо с самого раннего возраста.

— Мама права,— сказал Гордюше Алексей.— В загородке, на легких-то хлебах он может утратить природные свои качества в борьбе за жизнь. Да потом, если твой Белогрудый благодарный и умный, то он от здешних мест далеко не улетит,— интересно проверить. Отпустим его, сынок!..— Мальчик внимательно посмотрел на родителей и согласился.

Алексей ушел в обход.

— Мама, я его отпущу, только дай нам попрощаться с Терешей по-настоящему!

Вера улыбнулась:

— Да прощайтесь сколько вам угодно.— Гордюша и Дымок побежали к садику.

Белогрудый выставил из кустов голову: он ждал Гордюшу с гусеницами и ягодами костяники, но, увидев собаку, побоялся выйти. Черные, блестящие глаза тетерева смотрели на Дымка.

— Иди, глупыш! Он тебя не обидит. Дымок мой друг.

Но Белогрудый не вылезал из малинника. Гордюша раздвинул кусты и взял тяжелую птицу на руки. Тетерев давно уже привык к мальчику. Гордюша вынес черны-

ша и сел с ним на дворе. Дымок, скосив голову, не спускал глаз с птицы.

— Ну, Белогрудый, прощай! — Мальчик взял тетерева за лапку и осторожно потряс ее.— Прощай, пичужечка моя!

Дымок переступал с ноги на ногу и взвизгивал от волнения. Мать смотрела в окно.

— Долгие проводы — лишние слезы,— сказала она.— Отпускай его.

Мальчик бережно опустил тетерева на землю. Дымок, нервно вздрагивая, принялся лаять на Белогрудого. «Улетай! Скорей улетай, а то схвачу!» — слышалось Гордюше в лае собаки. И тетерев, оттолкнувшись от земли, взлетел, но, перелетев через загородку садика, шмыгнул в малинник.

— Мамочка! Сам! Сам не хочет! — обрадованно кричал Гордюша.

— Лови его, и отнесем подальше,— сказала Вера, смеясь.— Поглупел, ожирел на даровых-то кормах!

Гордюша поймал Белогрудого, и они понесли его в лес. На поляне, заросшей рубиново-красной костяникой, отпустили тетерева. Дымок нервничал еще больше, глядя на сидящую рядом с ним птицу. Вера взяла собаку за ошейник.

— Пойдемте поскорее! — и, не оглядываясь, направилась к домику.

Весь день они вспоминали о Белогрудом.

— Что-то он теперь поделывает? — не раз спрашивал мальчик.

Они сидели на пороге и поджидали запоздавшего из обхода Алексея. Вечер был тихий. Кроны сосен из темнозеленых стали пунцовыми. Пели птицы. Покойно было в лесу.

— Мамочка! — вдруг закричал Гордюша.— Он прилетел! Прилетел! — Мальчик и Дымок бросились в садик, Вера тоже подошла к ним. Появился вышедший из лесу Алексей.

Белогрудый снова устроился в мягком гнезде, сделанном руками Гордюши. Птица смотрела на своих друзей спокойными и, как показалось мальчику, благодарными глазами.

— Не глуп, видать, твой питомец: тут его ни лиса, ни хорь не обидит.

Огорчения начались с письма из Москвы от друга, сообщившего Алексею, что в издательстве детской литературы не только не приняли предложенные им главы поэмы, но, оказывается, даже расторгли договор на одобренную ранее к переизданию по школьной серии и уже отыллюстрированную повесть Алексея для юношества «Клыки».

Васенька Кудашов в своем письме сообщил: «Из всей нашей охотничьей Чаиской бригады остались только мы с тобой...»

Алексей ушел в комнату и захлопнул за собою дверь. Точно в портретной группе, перед его глазами во всей своей неповторимости очертились дорогие лица друзей.

Вся, вся жизнь в быстрые дни молодого времени промелькнула перед Алексеем с пронзительной отчетливостью.

Как никогда, до осязаемости зримо предстала перед ним канувшая уже в лету и оттого казавшаяся теперь романтически прекрасной целая эпоха его жизни.

В неурочный час Алексей ушел в обход.

...Какое это благо — уйти в лес!

Даже и в знойный полдень в Междуречье — особенно на Гулком холме, с опоясавшими его Черженью и Дубравинкой, с бесчисленными ручьями и родниками,— блаженная прохолодь.

Шорохи ветра в кронах сосен, голоса птиц, писк зверушечьей мелкоты, звон ручьев, невнятный лепет родников наплывают со всех сторон. Кажется, и земля, и вода, и лес, и все сущее в нем и в звуках пытается выразить себя: «Слушай, смотри. Изощряй ухо и глаз, учись различать, понимать извечный, величественный круговорот жизни, который не всякий и не сразу увидит, поймет. И который даже иному может показаться пугающе диким...»

Алексею же кажется, что он слышит, видит, ощущает всем существом, как, впиваясь в недра земли, широко разветвленные тонкие корни сосен жадно сосут неоскудевающую грудь могучей кормилицы. И как сосны, вбирая в себя эти первородно-чистые соки земли, несут их до последней иголки...

Все, все горькое, обидное отошло, растворилось в каком-то сладостно-раздумчивом забытьи. Окружающий его мир породил в душе такую волну нежности, такое

блаженное ощущение слитности с жизнью природы, такой бесконечно малой песчинкой ощутил он себя рядом с бескрайностью вселенной, что Алексей, сам не отдавая себе отчета в своем поступке, прижался щекой к сосне и рукой огладил ее литой ствол.

«Живой смолистый гейзер!..» Не закрывая глаз, он представил себя окруженным зелеными ароматными фонтанами, бьющими из земли и рождающими радость.

Почему-то припомнился ему давний разговор с Валерианом Правдухиным о поэзии, образующей душу человека.

Как-то после охоты на тетеревов они отдыхали на лесной вырубке. Еще год назад шумевшая кронами сосновая роща была превращена в ряды длинных поленниц, стоявших среди неубранных, сухих, как порох, рыжих веток и сучьев.

Правдухин сидел задумавшись, казалось, даже задремал, но он вдруг поднял свою большую лобастую голову и заговорил: «Живой лес — и вот эти поленницы... Можно восхищаться выходной древесиной: какое количество целлюлозы, шпал, крепежного материала получилось бы из срубленного гектара! Но можно восхищаться лесом и без мысли о полезности для наших печей, железных дорог, шахт... Поэзия подобна лесу. Посредственная — сложена в строфы, как древесина в кубометры. Но она может быть и божественной: «Роняет лес багряный свой убор»,— которая с детства живет в нас и образует нашу душу...»

Это был длинный, горячий разговор, но сейчас Алексею припомнилось лишь это образное уподобление леса поэзии.

Какими путями рождается образ, какая сложная кривая душевного состояния предшествует ему?..

Мечта о лесе как о воплощенной красоте земли с детства жила в душе Алексея.

«Мы научились рубить лес... Нет, и этому не научились! Научились лишь варварски губить его: «Валим вековое дерево, чтоб вытесать из него ось», как писал еще Мельников-Печерский. Но об этом столько уже написано. Буду писать о лесе как о нашем национальном богатстве не столько со стороны деловой древесины, но и как о могучей силе, выковывающей русский характер...»

Алексею все чаще вспоминались слова Фритьофа Нансена из его речи перед студентами: «Созерцание и размышление не в ладу с суетливыми, шумными центрами цивилизации. Они придут к вам в пустынных пространствах».

Точно отгоняя все непрошеное, чуждое душевному его настрою, Алексей громко, уверенно сказал: «Все минется. Необычайную силу духа хранит наш великий бессмертный народ!»

Да, лучшим лекарством от всех душевных тревог для Алексея был лес.

И какое же блаженство после целого дня ходьбы по мягкой, пружинящей под ногами хвойной подстилке, когда в глазах начинает рябить от золотистых стволов сосен Гулкого холма, светлых омутов Черженп и Дубравинки, вернуться обновленным, успокоенным в родную семью!..

Цельные натуры из народа всегда привлекали пристальное внимание Алексея: народ — главное действующее лицо истории. Все подлинно великое в литературе создано на раскрытии и глубоком исследовании человеческих душ.

Алексею казалось, что еще в первом своем романе и повести об алтайском крестьянстве он начал учиться проникать в души простых людей, среди которых прошли его детство и юность.

Встретив в Междуречье колоритного по внешности, умного, много повидавшего на своем веку лесника Мартьяныча, Алексей стал частенько наведываться к нему. Сосед, обходчик дальнего, пограничного с Междуреченским заповедником участка, Мартьяныч, так же как и лес, действовал успокаивающе на смятенную душу Алексея.

Казалось, не только библейски величественная внешность пустынника с прекрасными родниково-прозрачными голубыми глазами, с крутолобой лысой головой в венчике белых волос и такой же бородою, но и хвойный запах, исходящий от широких в запястьях сильных рук, от всегда опрятной одежды из неизносимой домотканой холстины, успокаивали Алексея подобно настою из валерианового корня,

Чем-то извечио простым и мудрым, как проста и вечна сама природа, веяло от Мартьяныча. Старик был завидно здоров и духом и телом. С весиы и до поздией осеии он ходил босым, с непокрытой головою. Ему нельзя было дать более семидесяти лет, хотя Мартьяиыч утверждал, что он давно уже разменивает девятый десяток.

— И дед и отец мои родились, выросли, состарились, померли и похороиены в лесу. «Босая нога и матушку-землю, и всякую живую тварь на ией чувствует»,— говорили оии. И ходили по ией с великой бережиью: не иаступить иа птичье гиездо, иа зверушечью мелюзгу — живое ведь оио: в сапоге разве обережешься...

С такой же босой душой оии и к людям были — обоюдиые, тихие до крайности. И иаулишиая фамилия у всего нашего корня — Босоноговы... Не рассказать, что это были за крепкие люди, Миколаич. Дубы! А я — что?! Я и вполовииу супротив их. А уж о моих детках и говорить иечего: в мать пошли. Она, покойиица, в лесу меня нашла, да так и осталась здесь, ио все об городе тошиовала... Одиим словом, детки у меия — пресиая трава. Оии и в валеиках мерзиут.

По обыкиовению, Мартьяиыч говорил с двойным смыслом — с «подтекстом»,— иаписал о нем в своей поэме Алексей.

— Одиим словом — потомствеииые лесовики мы. И иеправда, Миколаич, что русский человек не любит, ие бережет лес, что топор мужика безжалостен. Ой, неправда! В те поры разве такие леса стояли — море! И что ни сосиа, ни ель — на лошади ее объезжай!..

И не народный — царский, казеииый был лес, а берегли его оии, как правый глаз. Рубить дозволяли только перестой, горелый, хваченный короедом. В этом отказа и бедиому — безбилетному мужику у моего родителя не было. Даже сам поможет и срубить, и иа саии иавалить. А иа месте срублеииого обязательио иоровит дерево, а то и два посадить. Тому же приучил и меия.

А теперь!.. Все спешат, все спешат: лесу, лесу! Руби! Руби!.. Но ведь и рубить надобио со смыслом. Допустимое ли дело — у меия в верховьях Чержеии подряд покосили мотопилами неоглядную округу! А катища неудобиы — через хребет. Трелевых тракторов не оказалось, свалили в бунты и бросили на захламлениой лесосеке. Хлысты по десять — двенадцать вершков в от-

рубе лежат год, другой, пятый, десятый — иструхли. Навалился короед. Приказ: «Жги!» Жгу. Плачу, да жгу...

Да разве у одного меня? А в леспромхозах, на лесозаводах — в отходы, в щепу — третью часть древесины гонят и тоже жгут. Круглый год без передыху трескучие костры полыхают. Особые, многоэтажные печи для пожога отходов придумали. Большие миллионы кубов в небо пущают. И никого за это не судят, а словно бы и не видит никто!

Какую заскорублую душу надо иметь, чтобы закрыть глаза на подобное разбойство!..

На повал — техника, на поджог — техника, а на посадку — лопата... Вот я и сажу. Знаю, и ты садишь. А много ли с лопатой посадишь? Вот ежели бы твердо обзаконили леспромхозы: сколько срубили, столько и посади!..

Высекут, сожгут, испохабят, оголят земельку, повыгубят рыбу в реках, зверя и птицу в лесах, а что дальше? Можно ли не думать об этом? Ведь земля мне что мать родная. На ней я рожен, ею живу, а умру — в ней же и положат меня. Нет у простого русского человека большей заботы, как о земле.

Ты вот говоришь — просвещать с школьных годов надо. Слов нет, правильно, Миколаич, надо просвещать. Но ведь пока эти школьники до начальников вырастут да по-умному в лесу хозяйствовать начнут — от лесу одни пни останутся. Это как здоровье у человека: есть оно — не думаем, ушло — хватились, да уже поздно.

Должно, шибко молоды еще наши лесные управители, Миколаич, вот я все и жду, когда к ним прощальная — задумчивая пора старости приспеет, когда опамятуются они, да, похоже, не доживу...

«Умница, какая умница!» — низко наклонив голову, думал Алексей о старике. Почему-то ему вспомнился давний разговор с Бахеевым-Бажовым — знаменитым теперь писателем-уральцем. Как и Мартьяныч, еще на заре организации охотников-промысловиков в кооперацию он сказал ему: «Это хорошо и с точки зрения экономики и не менее — со стороны охраны многострадальной матушки-природы. Прав Ленин: только народ, сам кооперированный промысловик охотник сможет разумно хозяйствовать в тайге, беречь и охранять ее от безрассудного грабежа. Надо лишь суметь хорошо организо-

вать н просветить его — тогда он не будет валнть кедр, чтоб обобрать с него шншкн...»

Алексей поднял голову н как-то потерянно-грустно, все так же молча уставнлся на раскрасневшегося от волнения старнка. Мартьяныч перехватил его взгляд н, очевидно поняв своего соседа, изменил разговор:

— Но не буду, не буду, Мнколанч, н без того вижу, что у тебя сумерешно на душе сегодня. Пойдем, я тебе покажу моих кедренышей-второгодков: поднялись, ощетнннлнсь, как ежнкн. Закончнл прополку, прорыхлнл. Оно ведь как дите малое: не подмогнн ему — заглушнт трава...

У Мартьяныча, так же как и у Алексея, все блнжние к сторожке, пригодные для посадок полянкн, прнболотины засажены молодью и тщательно прополоты. Густые осиннннкн — прорежены. Срубленные — сложены в бунты, зайцам на подкормку.

Мартьяныч водил Алексея по своему хозяйству, в котором старик отлично знал, кажется, даже все муравьнные кучн, где у какой глухарки гнездо, барсучьн, лнсьи норы. И за жизнью своих подопечных следил, и всех жалел:

— Барсук — нспреполезная жнвотная. Сколько он за лето зловредной жучевнн н подобной насекомины уничтожнт! То же н лнса. Про нее худая слава пущена: «хичннца»! Ан нет. И лнса свое доброе дело справляет: разную больную, худосочную калечь уннчтожает, чтоб хнлое потомство не велось, под метелку метет. А уж о мышевне и говорить нечего. Она нх, как орехн, щелкает. Как и ее не пожалеть...

Безжалостен Мартьяныч только к браконьерам. И преследует он их нещадно, несмотря ни на какне угрозы. Они дважды стрелялн в него, но оба раза, раненый, он все же обезоружнл нх. И, оформнв протоколом, представил в суд.

Упорство Мартьяныча, его подвижнническая одержнмость н бесстрашне укротнлн браконьеров в его обходе.

— Но однн лн деревенскне бухалы-браконьеры? Городскне шаталы-лоботрясы — турнстамн они величают себя. Не все, конечно, но многне из них, пожалуй, еще почище браконьеров озоруют в лесу. У этнх ровно бы н вовсе ннкакого закона, никакой жалостн, никакого рассудства. И главное, почитай, все с оружней: бьют,

кто под выстрел подвернется, рубят, что под топор. Костры на самых корнях раскладывают, уходят — не заливают.

Пойдем, я покажу тебе, какой дубище погубили они. Один такой на все урочище был. Его еще прапрадед моего деда посадил...

Старик шагал словно бы и не быстро, но считавший себя отличным ходоком Алексей с трудом поспевал за ним. Они пришли на живописный обрывистый берег Чержени, где на самом крутике, точно на постаменте, как олицетворение человеческой жестокости высился обугленный от корня до вершины вековой дуб.

— Вот он, упокойник,— с тяжелым вздохом сказал Мартьяныч, и прекрасные голубые глаза старика увлажнились.— Словно отца родного, жалко мне его. Не меньше трехсот лет стоял. Сколько зверья выкормил своими желудями...

Алексей представил себе этого великана живым. У него не нашлось ни одного слова в утешение старика, ни возмущения — так он был потрясен бессмысленной гибелью державного великана. Постояв, они молча пошли дальше.

— А геологи,— как бы вспомнив о чем-то, снова заговорил Мартьяныч,— эти бьют даже суягных косуль в заповеднике, толом в омутах рыбу глушат. Соберут на уху, а загубленную молодь целый день по реке несет... Теперь капалух на гнездах губят. Да ведь это же, Миколаич, все равно что беременную женщину ногой в живот или грудного ребенка ударить...

Прихватишь такого — огрызается: «Мы большие дела делаем — нам все дозволено...» Полезное дело делаешь — хорошо. А коли преступство?! Ну можно ли щадить таких, раз они без совести, без закону живут?

Нет хуже, как лесник нетвердый — за поллитры в дугу сгибается... Конечно, они тоже оборужены, но в таком разе и себя жалеть грешно...

Никогда еще Алексей не видел старика столь взволнованным. С первых встреч он полюбил Мартьяныча и подолгу задерживался в его обходе. Алексей знал, что лесников, подобных Мартьянычу, не так уж много. В своей поэме ему хотелось показать именно такого действенного лесника с просветленной народной душой, живущего любовью к лесу и всему живому в нем.

— Лес — это, говорил мой родитель, божье чудо, и все в нем для пользы, для радости человеку.— Эти слова Алексей записал в свой блокнот.

— А не скучно вам одному здесь? — как-то спросил старика Алексей.

— Что ты, что ты, Миколаич! Когда же скучать — столько нашему брату в лесу дела! Вон оно какое хозяйство: успевай только управляться. Особенно зимой, когда за ночь в полубок снегу навалит. Скольких голодающих спасти от смерти надобно. Тому тропу пробить к кормным местам, охапку-другую тальнику косулькам подбросить, осинку повалить для зайчишек, проверить волчьи следы, лосиные пробреди к отстойникам. Нет, скучать нам ни зимой, ни летом не приходится. А уж о весне, об осени и говорить нечего. Тут — глаза да глаза!..

Как-то недоглядел: в кромке заповедника до пяти глухарей пело — остался один. Что за диво? Дай покараулю. И застал на преступном месте дубравинских... Беда мне теперь с ними. Был у них охотницкий коллектив — снабжением оружием, порохом ведал, тупоголовых просвещал, один за одним следили. А чтоб в заповедник кто сунулся — никогда! Такого они за холку и вон: от людского глазу в деревне разве укроешься? А дело-то их кровное было. Теперь коллектив прикрыли, и какой-то там агент из потребилки оружию, порох, дробь кому надо не надо продает, от любого даже и несезонную пушнину принимает: ему лишь бы план. Развозжалось, ожило бандитье: лезут и в заповедник — отбою нет. И ну-ка я их ловить, оружию отбирать и в суд. Не просто это, конечно,— грозятся. Все же отвадил: близко к моей грани не подходят. А через два годика на том же току снова уже шесть петухов пело. Наглядность! Где тут скучать...

Старик замолчал, задумался. И все смотрел и смотрел на доверенное ему богатство, словно впервые любовался им.

Пограничный с заповедником обход Мартьяныча на северных склонах Гулкого холма, протянувшийся вдоль порожистой Чержени, был на редкость красив, богат зверем и птицей.

Темные гривы прямых сосновых колонн круто обры-

вались в трущобио-иепроходимые лога оливково-сииих, почти чериых ельииков.

Стоявшие вразброс сосны иа гривах были столь огромны, а кроиы их так обширны, что издали лес выглядел сплошиой стеиой. Под их кроиами темио и тихо. Тут было что любить и беречь!

Только у себя иа южиом склоие Гулкого холма да здесь — в обходе Мартьяиыча Алексей особеиио остро чувствовал лес.

И, словио отвечая его чувствам, Мартьяиыч продолжал:

— Работа в лесу затяжиая, завлекательиая — лето коротким кажется. А как весиой оттает земелька, как попрет из иее трава! Как запоют, засвищут иичуги разные, заплещется рыба в омутах! Не заглядывал бы и в избу... И то, и другое, и третье иадо успеть...

И библейский облик могучего старика, и убеждеииые речи, ие речи, а ликующие гимиы работе лесиика в лесу наполияли Алексея ощущеиием радости — жить той же жизиью, которой жил и ои рядом с удивительиым Мартьяиычем: «Не перевелись еще подобные люди иа Руси, возможио, потому, что ие перевелись еще, ие могут, ие должны перевестись благословеииые леса, воспитывающие таких богатырей-лесолюбов, как Босоиоговы».

И вспомиились Алексею слова о роли русского леса в духовной жизии иашего иарода, иаписаииые одиим из корифеев русского театра — Шаляпииым, вспомииавшим родииу художииков Васиецовых и своего отца: «Поразительно, каких людей рождают иа сухом песке растущие леса Вятки! Выходят из вятских лесов и появляются иа удивлеиие изиежеииых столиц люди, как бы из самой этой древией скифской почвы выделаииые. Массивиые духом, крепкие телом богатыри. Такими были братья Васиецовы».

С каждым посещеиием Мартьяиыча в душе Алексея зрела и все ясией и ясией вырисовывалась иовая глава его поэмы.

— Но кого и как просвещать? — вериувшись одиажды из лесиичества, с иегодованием спросил Алексей Веру.— Леспромхозцев, госплаиовских работииков, райоиных руководителей, оттяпывающих урочище за урочищем?

Сегодня у меня был убийственный разговор с Антоном Антоновичем...

— О чем? На тебе лица нет...

Алексей устало опустился на стул. Ему не терпелось во всех подробностях передать жене чудовищную новость, которую он узнал от обычно замкнутого, внешне сурового, в действительности же доброго, даже мечтательного синеглазого человека, уже тридцать лет работающего в Междуречье,— лесничего Рясенцева.

Алексей больше недели не был в дальнем углу обхода, а сегодня сходил туда и схватился за голову. Прибежал в лесничество — и сразу же напролом:

«Что вы сделали с кварталами на самой границе заповедника? Ведь там уже и охранять нечего: сплошные вырубки, а они все валят и валят. Каково там зверью и птице?»

«Спросите в министерстве,— ответил Рясенцев.— Во всем повинны леспромхозы, плюющие на нормы прироста даже в запретных водоохранных зонах...»

«Но ведь не безумцы же они? Есть же и в лесхозах толковые люди!»

«Конечно, есть,— сказал Рясенцев,— но они поставлены в такие условия, что им впору только «давать план»...»

«А как остановить это преступление? Кому жаловаться?»

«Неко-о-му!»

«Выходит, лес без хозяина?»

«В том-то и беда, что хозяев слишком много...— Рясенцев помолчал и в явном смущенье продолжил свою мысль: — Оказывается, не всегда хороша и материальная заинтересованность: в погоне за перевыполнением планов, за премиями леспромхозовцы всеми правдами и неправдами добиваются отвода удобных участков для вывозки леса с делянок... Еще пяток годков, и от Междуречья ничего не останется: лес косят, как траву. Все, все летит к чертям, Алексей Николаевич».

«А лесовозобновление?»

«Возобновляем... В южных районах кое-чего добились. Но у нас, и особенно в Сибири, лесовозобновление частенько еще лишь на бумаге — для отчетов. Вырубаем ворохами, возобновляем — крохами,— с горькой улыбкой ответил Рясенцев.— Да и можно ли сделать больше,

когда на лесопосадках рабочий зарабатывает грош? Ему выгоднее вязать метлы, березовые веники, собирать и сушить грибы. А саженцы губит вейник да иван-чай. И их приходится списывать...»

«Так что же вы молчите?!»

— И ты бы видела, как взвился наш тихий, милый Антон Антонович: «Попробуйте — протестуйте против спущенных планов! Какая-то дьявольская карусель получается! Поваленного и невывезенного леса даже на берегах Дубравинкн и Чержени сгнило столько, что и в отчете показать страшно. А планы на вырубку все спускают и спускают... Убежден, ни на одном участке хозяйства не наломано столько дров, сколько на нашем — лесном...»

— И это говорит отличный лесничий! — Алексей невесело усмехнулся: — И знаешь, какую убийственную новость открыл мне Рясенцев в конце разговора?

«Дохозяйствовались,— говорит,— до синь-пороха в нашем районе». И опять замолчал надолго. Потом, безнадежно махнув рукой, открылся: «Прощай,— говорит,— Междуречье!»

«Как прощай?» — спрашиваю.

«Ликвидируют,— говорит,— Междуреченский заповедник, как ликвидировали уже ряд заповедников, организованных еще при Ленине. Сейчас нам не до заповедников — рассуждают эти мертвые души. Как будто человек должен жить на загаженных, заваленных топляками реках, без лесов, на обезображенной земле! Охотоведы протестовали, я протестовал, но что мы могли сделать!

Наша беда: близко к рукам мы, а раз близко, значит, под корень и весь водоохранный массив Гулкого холма...»

«И его на сруб?! — крикнул он.— Но ведь его южный склон еще в росте!.. Да ведь тогда ливни смоют оставшийся беззащитным весь слой почвы и обнажат мертвые скалы! Да ведь тогда все его родники и ручьи иссякнут».

«Иссякнут!» — подтвердил Антон Антонович.

За обедом Алексей так отодвинул от себя тарелку с супом, что все содержимое ее выплеснулось на скатерть.

— Опять пересолила! Сколько раз говорил — посо-

лить можно и на столе! Я неприхотлив, не требую многого, но можно же не пересаливать.

Вера сидела, не поднимая головы. Гордюша сжался в комочек. Даже Дымок, виновато поджав хвост, отошел от стола и лег у порога...

От второго Алексей тоже отказался: все не нравилось ему сегодня.

— Ходишь, ходишь, придешь голодный домой, и обеда нет приличного,— ворчал он.

Вера знала, что в такие минуты Алексею лучше не перечить. Гордюша выскочил из-за стола и убежал в свой зоосад. Вера убрала посуду и тоже вышла вслед за Гордюшей.

— Пойдемте-ка, молодежь, за грибами,— сказала она умышленно громко Гордюше и Дымку.— Я такое местечко присмотрела!..

Алексей расшвырял подвернувшиеся ему под руку вещи. Все раздражало его сейчас. Попробовал взяться за рукопись, но первая же страница новой главы показалась совершенно ненужной. Он скомкал ее и бросил на пол.

— Гулкий холм на шпалы, на крепеж в шахты! Междуреченский заповедник со всей его редчайшей флорой, богатством и красотой в прах, в пыль, а ты как одержимый — о выдрятах!

В такие минуты Алексей был невыносим не только для близких ему людей, но, как не раз потом признавался он Вере, даже самому себе. Все в нем словно бы вставало на дыбы, покуда не перекипит, не уляжется. Алексей сознавал, что напрасно обидел жену: его терзала совесть.

И сегодня он прибег к испытанному спасительному средству: прихватив фотоаппарат, направился к Гулкому холму, чтоб заснять его с разных сторон и при разном освещении: «Срубят, и следа не останется».

Домой он вернулся, когда Гордюша уже был в постели, а Вера с Дымком на крыльце поджидали его.

— Ну пошли, Веруша, покорми меня! Проголодался, как волк...

Это была беспокойная ночь в домике Рокотовых. Даже мальчик долго не мог уснуть, а уснув, несколько раз просыпался и, затаившись, прислушивался к взволнованному шепоту родителей.

Утром Алексей пошел к Гулкому холму.

Гулкий холм — центр ареала знаменитой междуреченской мачтовой сосны, славной на всю округу свечевой прямизною, высотой и крепостью пахучей нежнорозовой древесины.

Гулким его прозвали за несмолкаемый гул множества ручьев и родников у его подошвы, в кристальной воде которых виден не только каждый камушек, но и каждая песчинка. За ломкое эхо, дробящееся между звонких, точно натянутые струны, сосен в золотистой коре, как в броне.

Многоверстно протянувшийся над Дубравинкой и Черженью Гулкий холм — водораздельная, водорегулирующая зона междуреченского лесного урочища, где по южным крутым его склонам сползали к воде молодые сосновые леса, будущие корабельные исполины.

Оба его склона (северный и южный), а особенно западный — центральный массив Междуречья с его смешанным лесом, благодаря вмешательству Владимира Ильича отведенный под заповедник государственного значения,— действительно представляли собой живой музей.

На довольно ограниченном этом урочище счастливо сконцентрировались древнейшие свидетели конца третичного периода — эпохи доисторического человека — реликты, представляющие чуть ли не всю историю растительного покрова Восточной Европы в целом.

Лесные поляны заповедника и пограничных с ним обходов Мартьяныча и Алексея с ранней весны и до глубокой осени радовали глаз пышным цветеньем разнообразных диких растений: благоухающие бледно-сиреневые гвоздики, сине-фиолетовые шалфеи, кроваво-красные «свечки» степной румяники. Но что более всего поражало Алексея — это выходцы с родного его Алтая и Сибири, далекой Якутии и высокогорного Кавказа.

Алексей любил «свой» Гулкий холм и за его богатырскую красоту, словно целиком вобравшую в себя все самое прекрасное со всего Междуречья, и за те ощущения какой-то полной радостной свободы, сознания своей нужности и значимости на земле, никогда так остро не испытываемые им в подавляющем его городском, толкучем многолюдстве.

Всякнй раз уже на подходе к нему он жадно вдыхал густую, целебную струю выкнпающей нз могучнх грудей сосен янтарной смолы, благостную прохладу светлых его ручьев и роднннков, окантованных густой темно-зеленой осокой, с выметнувшимнся на цветущне поляны, влекущнми под свою сень кудрявымн березамн.

Как музыку, улавлнвал тонкнй сухой звон крыльев проносящнхся в воздухе нзвечных предвестннц воды — голубых стрекоз...

«И всему этому — бестрепетный смертный прнговор!»

Готовясь к своей поэме, Алексей отлнчно запомннл выпнсанные им из «Дналектнкн прнроды» Энгельса вещне его слова: «Не будем, однако, слишком обольщаться нашнмн победамн над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствня, на которые мы рассчитывалн, но во вторую н третью очередь совсем другне, непредвнденные последствня, которые очень часто уннчтожают значенне первых».

«Какой бездушной ведомственной рукой подпнсан прнказ? Подобное равносильно убою на мясозаготовкн всего молодого высокопородного поголовья знаменнтой на весь край молочной фермы! И за это ннкого не судят!»

Мог ли безмятежно спать, спокойно жнть н пнсать свою поэму Алексей?..

Вера, стараясь отвлечь его от невеселых мыслей, рассказывала какую-ннбудь смешную нсторню про Дымка, про сорочонка Варьку нлн про Белогрудого. Вот н теперь она прнбегла к этому нспытанному прнему:

— Слушайте, какую штуку выкннул Белогрудый: сегодня он не улетел в лес. Только я проводнла вас в обход и стала звать кур, гляжу — вылетел Белогрудый.

Сел на загородку — снзый, как вороново крыло, с медалью, что твой герой. Сел н по-хозяйскн смотрит нз-под красных бровей. Броснла я корм курам, а он шасть к ним в середнну. Куры в разные стороны. Только петух остался, отскочнл шага на трн н заругался: «Что за черная образнна?! Откуда взялся? Кто звал?!» И пошел, н пошел... Белогрудый склоннл голову набок, будто спрашивая: «Этто еще что за фигура?» Но петух так разошелся, что н стоять на месте не может: лезет в драку. Слушал, слушал Белогрудый, да, вндно, надоел ему наш горлан, как налетел!.. Видела я, дорогне мои, как бьются петухи,

но такого убийства не видывала. Он его, нашего-то Петьку, в землю втоптал. Я думала, что у того ни перьев, ни глаз, ни гребня не останется — так терзал его Белогрудый. С ног сшиб, за гребень клювом к земле, а сам его и крыльями и лапами бьет, так, что пух из петуха, как из подушки, летит. Выкрутился кое-как из-под него наш Петька да как бросится наутек...

— Вера, перестань! Перестань, прошу тебя!..

Алексея раздражали попытки жены развеселить его...

Нередко события, вторгаясь в нашу жизнь, воздействуют потом на нее уже независимо от нашей воли. За несколько дней до законного открытия летнего охотничьего сезона в ликвидируемый Междуреченский заповедник на трех вездеходах по лесной, «вымощенной матом», как говорили междуреченцы, дороге из района нагрянула ватага беспардонных «воскресных охотников»: «снять пенки».

Охота началась, как обычно начинаются все подобные «охоты», с выпивки, похвальбы оружием, стрельбы по бутылкам и фуражкам. Напоив шоферов и сторожей заповедника, приказали им пойти в загон. И открыли пальбу по всему бегущему и летящему.

Алексей встретился в браконьерами во время обхода дальнего своего квартала, когда они, закончив «охоту», победно пировали «на крови».

Хвастовство, пьяные выкрики этих горе-охотников — как их всегда ненавидел Алексей, как беден, убог был их духовный мир, как они позорили подлинных охотников! — доносились издалека.

— Слышу, трещит, прет прямо на меня. Думаю — медведь! Вложил волчью картечь... Вижу — лосиха, а за ней телок... Сажениях в полста. Думаю — стопчут... Не выдержало ретивое: ка-а-ак я ее пужану!..

— А я дуплетом, понимаешь, дуплетом, подсвинка и косулю!.. Не поверишь!..

— А я!..

Алексей вышел на середину поляны. Связки убитых глухарей, тетеревов, барсуки и зайцы висели на сучках. Несколько косуль и подсвинков лежали у ног пьяных браконьеров,

Увидев подходившего к ним лесника, они пригласили его выпить с ними.

Браконьеры, приехавшие на казенных машинах, расположились по-охотничьи на траве, вокруг скатерти, уставленной бутылками и баклагами, заваленной витками колбас, копчеными селедками, батонами белого хлеба. Водку пили из стаканов, закуски брали прямо руками с не смытой еще птичьей и звериной кровью.

В одном из пирующих «охотников» Алексей узнал румяноликого москвича с круглыми неподвижными глазами, с которым встретился в московском учреждении, когда приходил по поводу своей статьи. Он, очевидно, приехал в отпуск в свой родной район.

— А ты, оказывается, вон уж где, Рокотов! И бороду запустил...— обращаясь к Алексею на «ты», как к доброму старому знакомому, заговорил он и, наполнив стакан водки, приказал: — Пей!

Алексей отстранил протянутую к нему руку со стаканом и вспыхнул, как береста: все клокотало в нем.

Разговор получился громкий, со множеством восклицательных знаков:

— Подумаешь, закон! С нами, вот он — сам закон!..

— Подумаешь, до срока!.. Подумаешь, зайцы, косули!.. И не на косуль — на оленей круглый год охотятся...

И все же шумный пир их был явно испорчен. Алексей составил протокол, переписал номера машин, фамилии некоторых браконьеров и пошел в лесничество, не обращая внимания на угрозы и площадную брань пьяных браконьеров.

...Это было последней каплей, переполнившей чашу. Осознание действительности сквозь путаницу мыслей и чувств, измучивших Алексея, привело к твердому решению: «В Москву!»

— Не могу я, Вера, быть спокойным наблюдателем, когда здесь губят такую водоохранную зону, как Гулкий холм и уникальный Междуреченский заповедник. Надо их спасать. К товарищу Сталину! Он — высшая правда! Только к Сталину! Сталин, конечно, ничего этого не знает. До товарища Сталина дойду, а добьюсь правды.

Мысль «добиться правды» захватила Алексея с огромной силой.

Мир природы, радостное волнение в часы работы над

каждой новой главой, еще иедавио казавшиеся ему такими целительными и нужными, сейчас вдруг отодвинулись от него.

Так неожидаино решился вопрос о возвращеиии семьи Рокотовых в Москву.

— А как же мое обручальное кольцо, Алеша? — огорчеиио сказала Вера.

— А мой зоосад, папа?!

Алексей не ответил ни жеие, ни сыну: то, о чем ои думал в этот момеит, было для него слишком значительным. Отойти и с унылым видом стоять в стороне Алексей ие мог.

И весь вечер он был сдержаино-молчалив. Молча собирал листки рукописи незаконченной своей книги. Молча упаковывал самые иеобходимые вещи, решив все громоздкое времеиио оставить иовому лесиику, чтоб через полгода, через год вернуться сюда и завершить иезавершениое.

Ночью, когда все, поужинав, легли спать и Алексей, изменив своему правилу, не сел к столу, а лежал в постели с открытыми глазами, думая о предстоящем ему в Москве, Дымок, подняв голову к звездам, завыл с такой тоской в голосе, как воют собаки по мертвому.

Полураздетая Вера выскочила на крыльцо, обияла собаку за шею.

— Дымушка, ие иадо, не иадо! — уговаривала, ласкала оиа собаку.

Пес неиадолго замолк, но, лишь только Вера ушла, сиова завыл. Алексей не выдержал, оделся, вышел иа крыльцо: спать ои все равио ие мог.

— Перестаиь! — Он так крикнул иа Дымка, что тот метиулся в будку и затих.

Большая круглая луна подиималась из-за зубчатой кромки Гулкого холма, заливая всю окрестиость колеблющимся мертвым светом. Алексею казалось, что зыбкий этот свет холодит его сердце, как первый зазимок. И все, все колышется в нем, все плывет куда-то через «Чибисову поляику», в березняк и дальше, дальше, к Гулкому холму, укачивая, покоя в безмолвиом сонном обмороке.

Словио заворожеиный лунным светом, Алексей пошел через «Чибисову полянку» к белеющим березнякам, к посадкам кедреньшей.

Идтн прохладной росной ночью было легко: будто он плыл по воздуху. И по-прежнему все колыхалось перед глазамн Алексея, преображалась каждая мелочь: березовый пенек казался вставшнм на дыбки зайцем. Казалось, что заяц стрижет ушами...

Но что это там, среди берез, большое и темное? Не то лошадь, не то медведь?..

Алексей остановнлся: он был убежден, что обманчивый лунный свет исказнл так выворотень нли колодину. Но, прнсмотревшнсь, увндел, что и впрямь что-то большое, темно-бурое двнгалось в его сторону. Прнжавшись к березе, он замер. Вскоре до слуха его долетел тяжелый утробный вздох. «Лошадь? Но откуда ей взяться?..» Блнже, блнже. И только у кромки «Чнбнсовой полянкн», меж редкнх берез, Алексей рассмотрел раненую лоснху и плетущегося сзадн нее теленка...

Лоснха шла, еле передвнгая ногн, шатаясь и отфыркнваясь кровью: очевндно, у нее было пробнто легкое, на левом боку ее чернела н словно бы даже дымнлась горячей кровью рана. Длннноногнй большеголовый теленок, настнгая мать, пытался сосать ее на ходу, но она, все так же шатаясь, натыкаясь на деревья, шла с нνзко опущенной головой. Шла, исходя кровью.

Вот она, точно споткнувшнсь о что-то, упала. Голодный теленок, опустив большеухую голову, попытался сосать, но, очевндно, вымя лосихн было уже давно пустое, н он покорно лег рядом с матерью. Вскоре лоснха с какнм-то тяжелым, почти человеческим стоном все же поднялась сначала на передние, потом на задние ноги — такая снла жнзнн была в этом могучем жнвотном! — и снова пошла между березамн. Теленок тоже поднялся н заковылял следом за матерью. Еще немного — н они скрылнсь из глаз.

В каком-то странном оцепененнн Алексей опустнлся на пень н проснде л до рассвета. Перед его глазами вновь и вновь вставала смертельно раненная браконьерамн лосиха н тычущнйся в пустое ее вымя теленок, выжженная Пупком Крутая речка, речка милого его детства... А вслед за погубленной Пупком Крутой речкой, точно на кннопленке, возник еще вчера расплеснувшнйся на многне километры, зеленокудрый красавец Гулкнй холм, сверху донизу в ступенчатых пнях.

Умерли роднпки, умолклн ручьн, обмелели и занли-

лись, заваленные топляками, подобные «слоеному пирогу», отравленные ядовитыми стоками Дубравинка и Чержень, безвозвратно погублены реликты заповедника. Обрубленная, опустошенная земля! Пустыня! Мертвая пустыня, не пригодная ни для земледелия, ни для скотоводства!..

Вспомнилась фраза Шатобриана: «Леса предшествовали человеку, пустыни следовали за ним...»

Возможно, так и заснул, привалившись спиной к стволу березы, Алексей, потому что, когда очнулся от душившего его бреда, он с трудом поднялся. Спина и бедра его были налиты свинцовой усталостью.

И смертельно раненная лосиха с обреченным теленком, и пригрезившиеся ему сожженная Крутая речка, и исчахнувший водоохранный Гулкий холм, и кладбищенская тишина омертвелого Междуречья, где на жалких, захламленных вырубках стучат лишь гробовщики-дятлы, заколачивая последние гвозди в трухлявую домовину еще недавно зеленошумного заповедного леса, пронзили сердце острейшей жалостью: «Неужели все так и будет?!»

— Неправда! — на всю «Чибисову полянку» со злобой, с болью выкрикнул Алексей.— Я обязательно добьюсь,— уже тише, неуверенней сказал он: какая-то часть сознания помимо воли Алексея подминала даже и его, казалось, непоколебимый ни в каких случаях жизни оптимизм.

Кто-то все настойчивей и настойчивей нашептывал ему, что из этой его поездки не будет прока, даже и с попыткою спасти Гулкий холм и Междуреченский заповедник, что вновь ввязываться в ведомственную грызню за восстановление охотничьей кооперации как могучей силы в деле охраны природы и мудрого хозяйствования в ней — бессмысленно.

И все же наперекор всему, Алексей не мог смириться с этим, не мог занять «позицию невмешательства» — отменить свое решение. Это было бы равносильно измене самому себе, высокому назначению Человека, великому чувству справедливости.

«Бороться! Только бороться!» — Губы Алексея так сжались, что на обтянувшихся скулах проступили белые пятна.

«Но это борьба и за твое личное счастье,— словно

кто-то со стороны вновь подсказал ему.— Ведь охранять родную природу, писать книгу в защиту ее — это же и твое счастье. Ты нашел удивительный способ быть счастливым, а его разрушают районные головотяпы — борись и за него. Бросился в атаку — не оглядывайся назад!

В Москву, в Москву, к товарищу Сталину!..»

Москва в представлении Алексея была кузницей великой правды мира.

За эти годы он полюбил ее и думал о ней с сыновней нежностью. Почему-то родной Усть-Утесовск теперь ему представлялся школой первой ступени, Новосибирск — средним учебным заведением, Москва — мировым университетом: в Москве ЦК и товарищ Сталин.

В Алексее было достаточно сил неискоренимого оптимизма, чтоб решиться на борьбу за справедливое дело.

ЭПИЛОГ

Жизнь как дорога: то поднимается вверх, то опускается под гору, независимо от желания человека.

Житейски мудрый отец Алексея, словно предвидя судьбу сына, еще в начале его пути сказал: «И через не могу моги, когда грянет даже и неподсильное испытание,— а в жизни, сынок, и такое может быть! — чтобы ты его встретил и одолел, как настоящий мужчина».

Алексею всегда казалось, что он хорошо знает себя, но со временем убедился, что это не так. Да и как можно знать себя до конца, когда ты меняешься каждый день! Когда стрелки весов, на которых взвешивалась судьба Алексея, все время колебались.

Утлая его ладья долго плавала по бурному житейскому морю, покуда не выбросило ее на берег родного Иртыша — сначала в захолустный в то время полурусский, полуказахский пыльный областной город Павлодар, а потом в еще более дремучее районное село — Иртышское.

И столько было увидено, пережито, перечувствовано Алексеем, что не просто трудно, но и невозможно в эпилоге, с его обязательным требованием предельной краткости, рассказать и тысячную часть событий и переживаний, выпавших на его долю. Да и в них ли суть и для Алексея, да, пожалуй, и для умного читателя: ведь прош-

лое глядится в грядущее. И чтобы смело, с надеждой глядеть в грядущее, нужна великая человеческая цель. Без цели нет подвига жизни.

У Алексея была цель — борьба за торжество справедливости, за счастье. Он всегда жил ожиданием счастья. И оно пришло. Не без борьбы, конечно. Ни при каких обстоятельствах он не позволял себе впасть в безнадежное уныние, уподобиться трупу, влекомому по течению.

Алексей написал новую повесть «Товарищи» — о первых комсомольцах в гражданской войне на Алтае, один из главных героев которой, юноша, прошедший через горнило испытаний партизанских боев, говорит: «Сколько битв еще впереди за тебя, любимая моя страна! Но сколько бы ни было их, сердце мое на всю жизнь безраздельно принадлежит тебе...»

Это были ночи творческих радостей.

А трудности? А огорчения? Но стоит ли вспоминать о них? Алексей хорошо запомнил слова Жореса: «Воспоминания о прошлом должны высекать огонь, а не пепел».

Читатели нередко ждут от авторов счастливых концов в повестях и романах. Но жизненный путь героев не всегда усыпан розами. Да и трескучие финальные фейерверки иной раз не только не будят мыслей, но не трогают и сердца людей, тем самым успокаивая, усыпляя их совесть...

Важно, что Алексей Рокотов и «через не могу — смог», что он выстоял, не утратил веры в светлое начало жизни.

Москва-Десна
1950-1958 гг.

Содержание

Пермитин Е.

П 27 Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 3. Жизнь Алексея Рокотова: Трилогия. Кн. 3. «Поэма о лесах».— М.: Худож. лит., 1980.— 309 с.

Третий том составляет роман «Поэма о лесах» — заключительная часть автобиографической трилогии «Жизнь Алексея Рокотова», рассказывающая о пути становления ее главного героя как писателя.

П $\frac{70302\text{-}145}{028(01)\text{-}80}$ подписное Р 2

Ефим Николаевич
Пермитин

Собрание сочинений

Том 3

Редактор
З. Кондратьева

Художественный редактор
С. Гераскевич

Технический редактор
Т. Таржанова

Корректоры
М. Муромцева и И. Филатова

ИБ № 1631

Сдано в набор 02.02.79. Подписано в печать 13.11.79. А11721. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 16,38 усл. печ. л. 16,519 уч.-изд. л. Заказ 1947. Тираж 100 000 экз. Цена 90 коп.

Издательство «Художественная литература», 107078, Москва, Ново-Басманная, 19.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Белорусской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 220005, Минск, Красная, 23.